

КИСЛОРОД

ШОРТ-ЛИСТ ПРЕМИИ БУКЕРА

ЭНДРЮ МИЛЛЕР

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР ЧИТАЕТ ВЕСЬ МИР

Кислород
Эндрю Миллер

Аннотация
Эндрю Миллер. Кислород
Ночной дозор
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Зачем нам дни?
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Аннотация

Англия, конец 90-х. Два брата, Алек и Ларри, встречаются в доме матери, в котором не были много лет. Первый — литератор и переводчик, второй — спортсмен и киноактер. Тень былого омрачает их сложные отношения. Действие романа перемещается из страны в страну, из эпохи в эпоху, от человека к человеку.

Один из тончайших стилистов нашего времени, Эндрю Миллер мастерски совмещает в своем романе пласты истории, просвечивая рентгеном прошлого темные стороны настоящего.

Роман заслуженно вошел в шорт-лист премии Букера 2001 года.

Эндрю Миллер
Кислород

Эта книга посвящается
памяти моих учителей —
Малькольма Бредбери и Лорны Сейдж

Я должен выразить глубокую признательность следующим людям, каждый из которых внес вклад в написание этой книги. Кэти Коллинз, которая стала моим первым вдохновителем. Дебби Моггач, которая познакомила меня со своими венгерскими друзьями, в особенности с Шандором и Бетти Райшнер. Рэчел Джерретт, а также Элисон и Сэму Гуглани, чей опыт в уходе за больными раком оказался просто неоценим. Адаму Бохру, который был моим гидом в Будапеште. Мише Гленни (благодаря любезности Кирсти Ланг), который отвечал на мои вопросы о ситуации на Балканах. Али (Коту) Миллеру и Марси Кац в Париже. Спаркл Хейтер в Нью-Йорке. Раине Чемберлен в Сан-Франциско. Лоранс Лалуйо в Лондоне. Моим родителям и сводным родителям, которые по моей просьбе делились воспоминаниями о Британии пятидесятых. Моей сестре Эмме, которая была снисходительна к моим ошибкам. Моему редактору, Кароль Уэлч, благодаря которой эта книга стала лучше, чем была бы без ее участия. И Саймону Труину, моему агенту, хорошему человеку, на которого всегда можно положиться. Ответственность за любые фактические неточности целиком и полностью лежит на авторе этих строк.

Эндрю Миллер, Лондон, 2001 год

«Ловушка для снов», штуковина из тех, что делают в резервациях американских индейцев и продают за гроши в сувенирных лавках, представляла собой кольцо величиной с ладонь взрослого человека, вырезанное из мягкого дерева и обмотанное кожаным ремнем. По центру кольца, напоминая паутину, шло переплетение синтетических нитей, а в его сердцевине — вот вам и паук — одиноко блестела зеленая бусина. Ларри Валентайн купил ее для своей дочери Эллы в городке под названием Берлога Индейского Медведя, когда был в Северной Каролине на съемках того, что потом оказалось одной из последних его серий в «Генерале Солнечной долины». Теперь она висела на окне у нее в спальне, где, согласно руководству по эксплуатации, должна была ловить в паутину плохие сны, а хорошие — грезы о солнечном утре, прогулках по пляжам Муира, добрых докторах и любящих папочках — беспрепятственно пропускать к ее кроватке.

Он смотрел на нее с высоты своего роста и чувствовал себя великаном: в комнате все было таким маленьким. Она спала под одной простыней, разгоряченно раскинувшись, приоткрыв рот, с придыханием втягивая летний ночной

воздух. Спутанные волосы буйной порослью разметались вокруг лица, глаза были плотно закрыты, будто сон требовал от нее пристального внимания, как раскраски — только бы не залезть за черный контур, — или задачки, которые она решала, неуклюже водя карандашом в учебнике.

Он начал поиски без большой надежды на успех, хотя список его находок был по-прежнему длиннее списка Кирсти, что смутно ее раздражало, будто это означало, что он знает дочь лучше, что у него есть интуиция, которой сама она лишена. Он начал с джинсов, которые Элла надевала в тот день: вывернул все карманы, но нашел только ошметки бумажного носового платка, серебряный пятицентовик и мишку Гамми. Потом отвернул голову кукле-толстушке — если нажать, такие куклы жалуются, что обмочились, или просят есть, или говорят: «Я тебя люблю». Однажды Элла спрятала там старинную серебряную цепочку, которую Кирсти получила в наследство от бабушки Фрибергс, но сейчас в голове не было ничего, кроме пустоты и ядовитого душка от остатков клея, которым череп был промазан изнутри. Потом он обследовал коллекцию ракушек, беря их одну за другой и встряхивая, в надежде, что хоть одна загремит. Тишина. Музыкальная

шкатулка, которую он привез ей из Лондона, была еще одним давним тайником, тем более хитроумным, что его нельзя было обыскать, не выдав себя. Он быстро откинул крышку, перевернул шкатулку и тряхнул — она раз пять сладкоголосо тренькнула, но в его подставленную руку ничего не упало. Он выдвинул ящики шкафа и прощупал аккуратно сложенные трусики и маечки, свернутые носочки и колготки, потом приподнял переднюю стенку кукольного домика и, взяв фонарик с кольца для ключей, посветил под кроватками размером с карточку «Американ экспресс» и шатким столиком-паучком, где он однажды обнаружил свои запонки с эмблемой Международной теннисной федерации, но сейчас там было только деревянное кукольное семейство в одежках из фетра: мама, папа и двое неуклюжих детишек сидели, как заколдованные, перед фарфоровой ветчиной.

Он отошел к окну, растер затекшую шею и посмотрел сквозь паутину «ловушки для снов» туда, где роились огни залива, особенно яркие на фоне ночной черноты. Она, несомненно, делает успехи. Поначалу она еще не знала уловок и хитростей, нужных для того, чтобы хорошенько что-нибудь спрятать, но постепенно всему на-

училась. Ее тайники становились все мудренее, в этом был даже некий вызов, что подкрепляло теорию профессора Хоффмана о том, что «позаимствованные» предметы только и ждут, чтобы их нашли. Это было не воровство, не простая детская клептомания. Хоффман еще не придумал этому названия. Он пока только собирал факты.

Он услышал, как она заворочалась под простыней, и прошептал:

— Эл, ты спишь?

Мягко ступая, он подошел к кровати и посмотрел на нее, будто ее физический облик мог дать ему ключ — как теплый, смазанный иероглиф. Теперь она спала на левом боку, правая рука свешивалась с кровати, вдоль которой Роза — до невозможного добродушная горничная из Чихуахуа — расставила детскую обувь, пару за парой, по сезону. Секунду помедлив, он перевел взгляд с девочки на обувь и с хрустом в коленях присел на корточки — старые проблемы с хрящами, заработанные за годы беготни по кортам. Оставив сандалии без внимания, он начал с кроссовок, потом перешел к школьным туфелькам, а потом — к красным резиновым сапожкам, которые он называл «веллингтонами», а Кирсти — «галошами». Последними стояли зимние ботики на овечьем

меху, которые Алиса, с оглядкой на английские зимы, прислала Элле ко дню рождения, когда той исполнилось шесть лет и которые к осени уже станут ей малы. Он перевернул их, тряхнул и погрузил пальцы в мех. В носке левого ботика он нащупал что-то гладкое, размером с капсулу дероксата и действуя пальцами как пинцетом, вытащил найденный предмет из ворса и поднял повыше, чтобы рассмотреть при лунном свете, хотя уже и так понял, что это была пропавшая сережка, пару которых Кирсти оставила на часок без присмотра на краю умывальника в ванной.

Конечно, это означало, что предстоит очередной разговор — мягким укоризненным тоном, уже в который раз с тех пор, как полтора года назад пропало первое кольцо; Элла сидела на стуле, болтая ногами над ковром, и в ее глазах поблескивал дерзкий огонек, словно неспособность родителей понять тайный смысл этой игры заставляла ее по-детски их презирать. Хоффман, за сто пятьдесят долларов в час, предупредил Ларри и Кирсти, чтобы их увещевания ни в коем случае не травмировали девочку.

— Здесь нужна большая деликатность, — говорил он, улыбаясь из-за необъятного, отполированного до блеска стола. — Это все равно что

выращивать бонсай. — И он указал на коллекцию крошечных ивовых деревьев с густой блестящей листвой, которым, судя по всему, у него в кабинете — в тени и отфильтрованном воздухе — жилось припеваючи.

На часах у кровати лапка Микки-Мауса в белой перчатке подобралась к назначенному времени. Два ночи. В Англии сейчас десять утра. Но несмотря на свое обещание, он слишком устал, чтобы звонить Алеку, слишком устал, чтобы переварить то, что может услышать. Лучше позвонить завтра, может быть, из Лос-Анджелеса. Завтра уже скоро. Он взял ингалятор Эллы и тряхнул его, чтобы проверить, достаточно ли в баллончике сальбутамола. Он слышал, что в продаже появился новый, улучшенный ингалятор, под названием «Смарт мист», с микропроцессором, чтобы отмерять точнейшую дозу лекарства, и кое-какими другими новшествами, позволяющими регулировать силу воздушной струи. Его разработали ученые из Калифорнийского университета. Кирсти хочет купить Элле такой ингалятор — у некоторых девочек в ее классе он уже был.

Он посмотрел на нее в последний раз, прежде чем отправиться в спальню для гостей, где ему предстояло провести остаток ночи. Выражение ее

личика смягчилось. Если прежде — пусть и очень смутно — она чувствовала его присутствие, то теперь она была далеко, в закоулках лабиринта снов, ее душа вырвалась на свободу, лицо удивительным образом расслабилось и обрело такое совершенство, что на секунду он ощутил неодолимое стремление разбудить ее, чтобы вернуть в реальный мир. Он наклонился низко-низко, так, что почти коснулся ее. И словно какой-нибудь нежный великан-людоед из сказки, которую детям давно уже не читают, тихонько вдохнул ее дыхание.

Ночной дозор

Но ты не можешь себе представить,
какая тяжесть здесь у меня на сердце...

Гамлет (Акт V, сцена 2)
Перевод М. Лозинского

1

Отцовские часы в доме пробили назначенное время. Бой часов еле доносился до того места в саду, где он стоял — худой молодой человек в легком свитере и бесформенных синих брюках, — протирая стекла очков уголком скомканного носового платка. Последний час он провел со шлангом в руках, поливая клумбы и давая молодым деревцам хорошенько напиться, как ему и было велено. Теперь, аккуратно свернув шланг, он направился обратно в дом, в сопровождении кошки, тенью скользившей в зарослях дельфиниума, пионов и пышных восточных маков. Из окна Алисы, под самой крышей, сквозь неплотно задернутые шторы лился тусклый свет.

Наступал рассвет третьего дня с тех пор, как он вернулся в «Бруклендз» — дом в одном из графств к юго-западу от Лондона со стенами из серого камня, коричневой черепичной крышей и ветхой беседкой, — в этом доме он провел первые восемнадцать лет своей жизни. Собственную квартирку в Лондоне он запер, и его сосед, мистер Беква, чья одежда навсегда пропиталась крепким табачным духом и запахом подгоревшей еды, со-

гласился пересылать ему почту (вряд ли ее будет много). Беква даже вышел на улицу, чтобы проводить его, и, зная, зачем и куда он едет, состроил нарочито скорбную гримасу.

— Прощай, друг Алек! Ты славный парень! Прощай!

Уондсворт-Бридж, Парсонз-Грин, Хаммерсмит. И дальше на запад по Четвертой автостраде мимо загородных супермаркетов и засеянных рапсом полей. Он так часто ездил по этой дороге с тех пор, как Алисе поставили страшный диагноз, что зачастую совершал свое путешествие машинально, не замечая ничего вокруг, и вдруг с удивлением обнаруживал, что проезжает последний поворот за птицеферму, а небо все разворачивает перед ним свое сияющее полотно, которое тянется к устью реки и еще дальше — к Уэльсу. Но на этот раз, по мере того как знакомые вехи одна за другой всплывали в зеркале заднего вида и уносились прочь, на него все больше накатывало чувство утраты, и, внося чемодан в коридор «Бруклендза», он отчетливо понял, что приехал домой действительно в последний раз и что половина прожитой жизни вот-вот стечет под откос, как многотонный оползень. Он простоял там пятнадцать минут, среди охапок пальто и шляп,

старых ботинок, старых теннисных туфель, вглядываясь в преувеличенно яркий снимок на стене рядом с дверью в комнаты: он сам, Ларри и Алиса. Снимал, скорее всего, Стивен — вот они стоят, держа друг друга под руки, в засыпанном снегом саду — двадцать лет прошло. Сверху из комнаты матери доносился шелест радио и резкий кашель — он опустил голову и сам себе задал вопрос: есть ли на свете то, что могло бы ему помочь?

Чтобы попасть из сада в дом, нужно было спуститься по трем замшелым ступеням — с газона на террасу, где была стеклянная дверь в кухню. Здесь, у вытертого коврика, Алек сбросил туфли и пошел через дом к лестнице на второй этаж, надеясь, что Алиса уже спит и он ей больше не нужен. Ей предлагали перебраться в комнату на первом этаже, но она отказалась, несмотря на то, что все — доктор Брандо, приходящая медсестра Уна О'Коннелл и даже миссис Сэмсон, которая, сколько Алек себя помнил, приходила раз в неделю утром, чтобы сделать уборку, — убеждали ее согласиться, говоря, насколько ей будет удобней и проще в погожие дни выбираться в сад. Разве нет внизу прекрасной комнаты, которая вот уже несколько лет как пустует, если не считать солнечных зайчиков, что днем выпрыгивают из

зеркала? Но Алиса лишь улыбалась им улыбкой ребенка, чью беззащитность болезнь только умножила, и говорила, что слишком любит вид из своего окна: картофельное поле, церковь, бегущие вдалеке холмы (которые, как она однажды сказала, напоминали мальчика, который улегся в траву на живот). И потом, ее спальня всегда была на втором этаже. Слишком поздно, чтобы «переделывать весь дом». Так что вопрос был закрыт, хотя порой в сердцах Алеку хотелось рассказать ей, каково это — быть свидетелем ее двадцатиминутной пытки, видеть, с каким трудом она карабкается вверх по лестнице, ступенька за ступенькой, впиваясь в перила пальцами, словно когтями.

Кое на что она согласилась. Сидя принимала душ, вместо того чтобы мыться в ванне, на унитазе пользовалась приподнятым пластиковым сиденьем, а в свой последний приезд Алек соорудил ей звонок, спустив провод по лестнице и прикрутив коробку звонка к балке над кухонной дверью. Они даже посмеялись немного, когда его испытывали: Алиса нажимала на большую белую кнопку рядом с кроватью (жалуясь, что она гудит, как пароходная сирена), а Алек ходил по дому, проверяя уровень звука, после чего вышел

в сад и жестом показал Уне, которая нетерпеливо выглядывала из окна спальни, мол, отлично. Но уже к вечеру Алиса решила, что звонок — «это глупость», к тому же «совершенно бесполезная», и смотрела на Алека так, будто, установив его, он проявил бестактность: лишний раз подчеркнул, насколько она больна. Еще раз неоспоримо доказал, насколько ее состояние неоспоримо безнадежно.

Она не спала, когда он вошел. Полулежала на подушках в ночной рубашке и стеганом халате и читала книгу. В комнате было очень тепло. За день солнце накалило черепицу, к тому же на полную мощность работал обогреватель, и каждый предмет задыхался в испарине, добавляя к общему букету свой собственный запах, и этот дух, полуинтимный, полумедицинский, висел в воздухе, словно взвесь. Цветы в вазах, одни из сада, другие от друзей, вносили ноту оранжерейной сладости, кроме того, были еще духи, которыми она опрыскивала комнату, используя в качестве роскошного освежителя: в спальне они не очень чувствовались но, когда Алек выходил, их привкус оставался у него во рту целый час.

Чистота — или ее иллюзия — стала для нее наваждением, будто болезнь была чем-то проти-

воречащим гигиене и ее можно было скрыть под вуалью запахов. С кошачьей тщательностью она мылась по часу утром и вечером в совмещенной с туалетом ванной, и это было единственной физической работой, с которой она еще могла справиться. Но ни мыло, ни ночные кремы, ни лавандовый гель для душа не могли до конца истребить то, что источали ее пораженные болезнью внутренности, хотя вряд ли можно было придумать что-нибудь более невыносимое, чем первый курс химиотерапии, проведенный два года назад, когда она сидела, закутанная в пледы, на диване в гостиной — чужая и жалкая, и пахла, как набор юного химика. Отросшие потом волосы оказались сверкающе белыми и постепенно превратились в копну снежных локонов до самого пояса. Она говорила, что это единственное, чем она еще может гордиться, — и отказалась от повторного курса лечения, когда ремиссия закончилась; теперь самое большое удовольствие и утешение ей доставляли визиты ее парикмахерши Тони Каскик, чьей клиенткой она была с незапамятных времен. Они приспособились к обстоятельствам: поскольку и речи быть не могло о том, чтобы Алиса ездила в Нейлси — это двадцатиминутное путешествие стало ей не по

силам, — раз в неделю Тони приезжала сама и укладывала волосы Алисы тяжелой щеткой, пока та сидела, повернув лицо к свету и закрыв глаза, и улыбалась, слушая салонные сплетни. Иногда Тони брала с собой своего пуделя, Мисс Сисси, красавицу сучку в тугих черных кудряшках, и Алиса гладила ее узкую голову, позволяя лизать себе запястья, но вскоре собаке это надоедало, и она убегала обнюхивать покрывало, складки которого пестрели пахучими пятнами.

— Мам, ты как?

Он стоял на пороге, руки в карманах, едва заметно перекатываясь с носков на пятки.

— Хорошо, милый.

— Нужно что-нибудь?

Она покачала головой.

— Точно?

— Спасибо, милый.

— Может, принести чаю?

— Спасибо, не стоит.

— Я кое-что поделал в саду.

— Хорошо.

— А может, горячего молока?

— Нет.

— Ты не забыла выпить зопиклон?

— Нет, милый, не забыла. Да не волнуйся ты

так.

Она нахмурилась — строгая пожилая директриса, которой досаждает неугомонный ученик. Ее взгляд приказывал выйти вон.

— Ладно, читай, — сказал он. — Я еще зайду.

Она кивнула, и это движение вызвало у нее приступ кашля; но когда он кинулся к ней (зачем, что он собирался сделать?), она замахала на него, гоня прочь, и он вышел, помедлив на площадке перед дверью, пока ее кашель не успокоился, а потом медленно пошел вниз по лестнице, покраснев от внезапно нахлынувшего непонятного чувства.

Внизу лестницы на стене — не увидеть его было невозможно — в пластиковой рамке висел разворот с очерком о Ларри из американского журнала про знаменитостей. Львиную часть очерка составляли фотографии, а в заглавии было написано: «Любимчик Америки» (с сердечком посередине): на первой странице красовался старый снимок девятнадцатилетнего Ларри, потрясающего ракеткой перед трибунами после победы над седьмым номером мирового рейтинга — Эриком Мобергом — на Открытом чемпионате Франции 1980 года. Ниже — снова Ларри, но уже погрузневший, загорелый до черноты, стоит,

прислонившись спиной к серебристому «ягуару» перед небоскребом «Утюг» на Манхэттене, одетый на манер молодого и удачливого биржевого дельца, собравшегося в гольф-клуб, — снято в те времена, когда он работал на рекламный цирк Натана Слейтера в Нью-Йорке. Потом — неизбежный кадр из «Солнечной долины», где Ларри, в белом халате и с суровым лицом, прижимает дефибрилляторы к грудной клетке сексапильной жертвы сердечного приступа. Но самой большой из фотографий — почти на всю правую страницу — был семейный портрет Ларри, Кирсти и трехлетней Эллы, сидящих на диване в своем «живописном доме в престижном районе Сан-Франциско». Ларри обнимает Кирсти за плечи, и та вся светится от радостного возбуждения — счастливица, заарканила «истинного джентльмена», звезду «Солнечной долины», — а Элла пристроилась между ними, но на ее личике застыло такое скорбное выражение, что нетрудно было представить себе мольбы фотографа (согласно подписи — Боба Медичи): «Не могли бы мы попросить маленькую леди тоже улыбнуться?» Но даже в три года Элла была упряма, как ослик, и на уговоры не поддавалась. С тех самых пор, как очерк занял свое место на стене, миссис Сэмсон

— поправляла ли она рамку или протирала ее желтой тряпкой для пыли — не могла удержаться, чтобы не проворчать себе под нос: «Прости господи…» или «Стыд-то какой…» — и хмурилась, словно недовольство ребенка относилось к ним ко всем.

На кухне Алек вынул из заднего кармана брюк сложенный листок бумаги, на котором убористым почерком Уны было расписано, какие лекарства должна принимать Алиса, когда и в каких дозах. Антидепрессанты, противорвотное, обезболивающее, слабительное, стероиды. На столике у ее кровати стояла пластмассовая коробка, разделенная изнутри на сегменты: синий — для утренних лекарств, оранжевый — для дневных и вечерних, но болезнь, усталость, а может, и сами таблетки стали причиной провалов, пробелов в памяти, и в день приезда Алека Уна, сидя рядом с ним на шаткой скамеечке у беседки, посоветовала ему незаметно для Алисы следить за пополнением и расходом содержимого этой коробки, и он сразу же согласился, довольный: уж с таким-то заданием он справится. Он сделал на листочке отметку, взял с кухонного стола свой кожаный портфель и вышел на террасу.

В голубоватом сумраке висел бледный полу-

месяц, а в одном из квадратов небесной карты комета Хейла — Боппа — известная всему миру громадина изо льда и пыли — неслась обратно к небесному экватору. Ранней весной он часто наблюдал за ней, сидя на утыканной антеннами крыше своего дома, и ему с трудом верилось, что этот гигантский эллипс исчезнет бесследно, не став причиной какого-нибудь несчастья или даже несчастий — бесчисленных роковых случайностей, что проливаются звездным дождем из хвоста кометы, — но, по крайней мере сейчас, небо не готовило никаких сюрпризов, его механизм работал как часы, не предвещая ничего из ряда вон выходящего или опасного.

Он зажег фонарь и повесил его за проволочную ручку на железную скобу рядом с кухонной дверью — пусть особенной темноты в ближайший час не предвиделось, ему нравился резкий запах парафина и шипение фитиля, от которого на душе становилось теплей. Он настроился на работу. Пить ему было нельзя, а курить он так и не научился. Его отдушиной была работа, и, усевшись на один из старых стульев с брезентовыми сиденьями, он вытащил из портфеля рукопись, словари, маркеры и принялся читать, поднося листы близко к очкам, — поначалу сосредото-

читься было трудно: мыслями он все еще был наверху, в комнате матери. Но постепенно работа увлекла его в упорядоченный, с разрядкой в два интервала мир текста, и в ритме своего дыхания он принялся шептать слова на языке, который сделал для себя наполовину родным.

2

На узкой кухоньке в квартире на пятом этаже дома по улице Деламбр Ласло Лазар готовил к званому ужину эскалопы из телятины «en papillote»[1]. Этот рецепт требовал особой аккуратности и точности, поэтому, когда одна из приглашенных, Лоранс Уайли, сообщила, что ее муж, художник Франклин Уайли, принес с собой пистолет и размахивает им посреди гостиной, это больше раздосадовало его, чем встревожило. Эскалопы — нежно-розовые, почти прозрачные — лежали на разделочной доске. Он только что собирался отбить их деревянным молотком.

— Пистолет? Какого черта, где он его взял?

— У какого-то копа, с которым пьет в «Лё Робине». Бога ради, Ласло, скажи ему, чтобы он убрал его, пока чего-нибудь не случилось. Тебя он послушает.

Она стояла на пороге с широко открытыми глазами, прямая, как танцовщица, волосы убраны с лица серебряной заколкой. В руках — сигарета, одна из тех, что продаются в белых или почти бе-

---

[1] Примечания: 1
В обертках (фр.). (Здесь и далее — прим. ред.)

лых пачках и которые Ласло считал совершенно бессмысленными.

— Франклин никого не слушает, — ответил он.

— А вдруг пистолет выстрелит?

— Не выстрелит. — Он принялся отбивать первый эскалоп. — Он не настоящий. Или просто старье, из которого вынимают начинку и продают коллекционерам или психам вроде него. Рядом с Биржей есть магазинчик, где на витрине полно такого добра.

— Он выглядит как настоящий, — сказала она. — Он черный.

— Черный? — Он улыбнулся. — Лоранс, он просто выпендривается. Хочет произвести впечатление на Курта. Помочь хочешь? Мне нужно порезать грибы. И четыре луковицы.

Пожав плечами и надув губки, она вошла в кухню, сняла кольца, положила их на кухонный стол и, взяв большой нож фирмы «Сабатье» с черной рукояткой, двумя точными ударами обрезала макушку и хвостик у первой луковицы.

— Он стал просто невозможен. — Она завела старую пластинку. — Целыми днями сидит в студии. Ничего не делает. Глотает таблетки, а какие — не показывает. Лжет. Я даже не знаю, любит ли он меня еще.

— Конечно любит. Да ему без тебя и дня не прожить. И почему ты говоришь, что он «стал» просто невозможен? Он и раньше таким был.

Она покачала головой, со щеки слетела слеза и разбилась о колечки лука.

— Я не могу избавиться от мысли, что должно произойти что-то ужасное. Правда ужасное.

Ласло оторвался от работы и обнял ее: у него в руке молоток, у нее — нож.

— Я так устала, — сказала она, уткнувшись ему в шею. — Я всегда думала, что когда мы станем старше, все будет проще. Яснее, Но все еще больше запутывается.

— Матерь Божья! — заорал Франклин, вваливаясь на кухню, — его фигура заняла все свободное пространство. — Венгерский педераст лапает мою жену! Отпусти ее, ублюдок!

Ласло взглянул на руки американца:

— Что ты сделал со своей штуковиной?

— С револьвером? Отдал его твоему прекрасному арийцу. Как насчет приличной выпивки, а, скупердяй?

— Приличная выпивка будет на кое-каких условиях, — ответил Ласло как можно более суровым тоном. — Ты же знаешь, что сегодня придет Кароль. Давай проведем этот вечер в тишине и

покое.

— Я нравлюсь Каролю, — заявил Франклин. Он открыл морозильник и вытащил бутылку «Житной». От теплого кухонного воздуха ее стекло тут же запотело. — Русский самогон!

— Польский, — возразил Ласло, — Русские пьют бензин. Солярку.

— Ничего не имею против солярки, — сказал Франклин, засовывая бутылку в карман пиджака. — Можешь продолжать обжиматься с моей женой. Я тебя пристрелю потом.

— Ты промажешь, — ответил Ласло, отворачиваясь обратно к разделочной доске. — Обязательно промажешь.

Давний житель шестого округа, автор пьес «Скажи „нет“, скажи „да“» (1962), «Вспышка» (1966), «Король Сизиф» (1969, его первая пьеса на французском) и еще тринадцати произведений, хорошо принятых всеми, кроме критиков крайних левых или крайних правых, которые считали его работы удручающе независимыми, бывший художественный директор «Театра Арто» в Сан-Франциско, читающий лекции по драматургии и восточноевропейской литературе в Сорбонне (понедельник и вторник после обеда), Ласло Лазар отбивал телятину и вспоминал, как

познакомился с четой Уайли однажды вечером шестьдесят первого в джаз-погребке на улице Сен-Бенуа, когда та женщина, что стояла рядом с ним и резала овощи, жалуясь на бессонницу и прочие нелады со здоровьем, возникла из облака табачного дыма — волосы коротко подстрижены, как у Джин Себерг в фильме «На последнем дыхании»[2], — и улыбнулась ему, садившемуся за столик вместе с полудюжиной других эмигрантов, бледных молодых людей с плохими зубами, которые крутили сигареты из рисовой бумаги и потягивали выпивку как можно медленнее, отчаянно пытаясь сэкономить. Ее улыбка рассказала ему самое главное, что он хотел о ней знать: что она добра и не более таинственна, чем любой из его прежних знакомых. Иштван пригласил ее к ним за столик и нашел для нее стул, но говорила она именно с Ласло, склонившись к нему под визг саксофонов, и смеялась вместе с ним, и слушала его густо окрашенный акцентом французский. Судьба, конечно, если верить в подобные вещи — в фатум. А потом, тогда же вечером, произошла еще одна встреча: она представила ему коротко стриженного американца — высокого,

[2] Примечания: 2
Фильм Жана-Люка Годара (1959).

длиннорукого, атлетически сложенного типа, с пристальным голубым взглядом фермера из голливудских фильмов. Франклин Шерман Уайли был всего лет на пять старше Ласло, но, стоя позади Лоранс — рука на бретельке ее платья, в старой военной рубашке, заляпанной пятнами краски, которыми он гордился, словно медалями, — он излучал полную обаяния, мужественную уверенность в себе, которая была у Петера, но которой, как с прискорбием замечал Ласло, отчаянно не хватало в его собственной жизни.

Когда они вышли на сверкающий звездами кислород Сен-Жермен и распрощались, стоя посреди узкой улицы, сердце Ласло, всегда легко воспламеняемое, вспыхнуло; но, хотя он желал их обоих, в мечтах он целовал именно Франклина, который это скоро понял и с тех самых пор добродушно с этим мирился. На следующей неделе они вместе пошли на «Последнюю запись Крэппа»[3] в исполнении Майкла Дули в театре Сары Бернар, а потом скрепили свою дружбу — всегда очень хрупкую конструкцию, если она опирается на три ноги, — грандиозным походом к Сакре-Кёр, встретив рассвет в баре рядом с Лё Галль и позав-

---

[3] Примечания: 3
Пьеса С. Беккета (1906–1989), написанная в 1958 г.

тракав свиными ножками с эльзасским пивом.

Такой вот сценарий. Он и понятия не имел, сколько еще вечеров и ночей они провели вместе. Сто? Пятьсот? Но из всего, что случилось с Ласло за следующие годы — а в его жизни действительно много чего случилось: любовники обоего пола, поездки в Италию, Испанию и Америку, зимы в студиях с небезопасным отоплением в виде керосинки, бесконечные черновики и наброски пьес, — именно эти шатания по Парижу с Франклином и Лоранс, их настроение, замешенное на крайней серьезности и отвязном дурачестве, стали причиной того, что время с шестьдесят первого по шестьдесят девятый, от Алжирского кризиса до прилунения «Аполлона», сейчас, когда он оглядывался назад с высоты своего пятьдесят девятого лета, вызывало у него почти невыносимые приступы ностальгии. Прежние годы принадлежали к совершенно другому миру. Холодные классы. Молодежные демонстрации. Речи по радио. Рассказы бабушки и дедушки про адмирала Хорти на белом коне. Покрытые морщинами, изнуренные лица родителей — и мать и отец были врачами в больнице имени Шандора Петефи. И конечно же, революция. Поющий Будапешт.

Потом, словно заплыв дальше, чем они сами предполагали, трое друзей попали в неумолимые жернова успеха. Огромные, написанные красками из аэрозольных баллончиков полотна Франклина раскупались заботящимися о собственном имидже банкирами и дельцами из Нью-Йорка вроде семейства Вильденштайн, а пьесы Ласло, в которых тот настойчиво твердил о тщетности любых действий, показались кому-то пророческими, и с тех пор их премьеры собирали толпы шикарной и знаменитой публики. Лоранс стала желанной гостьей глянцевых журналов по обе стороны Атлантики («Дома у миссис Франклин Уайли», «LA BELLE MUSE FRANÇAISE DE FRANCLIN WYLIE»[4]), но она разменяла четвертый десяток без детей и со множеством морщинок, которыми беспокойство расчертило ее лицо. Тот шарм, что заставлял мужчин любого возраста искать ее дружбы и бороться с искушением положить руку ей на бедро, давал сбой с каждой новой интрижкой мужа, которых он почти не пытался скрывать. Франклин стал специалистом по части бешенства. В свой сороковой день рождения, влекомый демонами, о чьих именах Ласло мог

[4] Примечания: 4
Очаровательная французская муза Франклина Уайли (фр.).

только догадываться, он на полной скорости направил машину в бок туристического автобуса на улице Эколь, полного до смерти перепуганных, но чудесным образом не пострадавших пожилых американцев, и от последствий его спас только американский посол, который убедил полицию счесть эту выходку в высшей степени артистичной, а не в высшей степени преступной. Два года спустя он избил — без всякой видимой причины — хозяина ливанского ресторанчика в Бельвилле, с которым вот уже много лет поддерживал дружеские отношения. А совсем недавно его оштрафовали на пять тысяч франков за то, что он швырнул стул в официанта в закусочной «Липп» (у парня были гусарские усы).

Но самым пугающим, самым печальным и непонятным из этого списка был день, когда он зашел на улицу Дегерри и увидел, как Лоранс скоблит стену студии, счищая засохшую еду, а пол сверкает осколками битых стаканов и чашек. С той минуты он больше не пытался их понять, ведь если ты не жил с кем-нибудь с детства, не дышал с ним одним и тем же воздухом, в вашей жизни всегда останется много такого, чего вы никогда не сможете объяснить. Тебе придется любить, если любишь, — из верности, не задавая

никаких вопросов.

Он посыпал эскалопы солью и перцем и сбрызнул лимонным соком. Большая сковородка «Крёзе» уже раскалилась. Масло — сливочное demi-sel[5] из того же магазина, что и мясо, — пузырилось и потрескивало. Он слегка обжарил эскалопы с обеих сторон и выложил их на массивное фарфоровое блюдо с тонкими голубыми прожилками — венами под кожей-глазурью. Потом коснулся волос Лоранс легким поцелуем, взял у нее разделочную доску, спассеровал лук с грибами и добавил к ним пригоршню мелко нарезанной петрушки. И наконец завернул телятину, грибы, петрушку и лук вместе с кусочками ветчины и тонко нарезанным пармезаном в вырезанные сердечком листы пергаментной бумаги, которую тщательно смазал маслом. Когда он открыл духовку, ему в лицо мягко пыхнуло жаром. Он разложил сверточки на среднем противне и закрыл дверцу, оставив на металлической ручке жирные отпечатки.

— Двадцать минут, — сказал он.

— Мне уже лучше, — сказала Лоранс, ладонью отводя прядь волос, упавшую ей на бровь.

---

[5] Примечания: 5
Слабосоленое (фр.).

— Вот и хорошо, — ответил Ласло. — Мы слишком стары, чтобы быть несчастными.

И в ту же секунду прозвучал выстрел.

3

Алиса лежала, утопая головой в подушках, и промокала глаза розовым комочком бумажного носового платка. Она не знала, почему плачет, почему она расплакалась именно сейчас, хотя у нее и было тяжело на душе после разговора с Алеком. Конечно же, он докучал ей, стоя в ногах кровати и пялясь сквозь свои очки, «стекла», как он их называл, — наверное, воображал себя доктором. Но она была груба с ним, и теперь ей было стыдно. Остается лишь свалить все на лекарства. Как узнать, кто виноват? Как ей узнать, где она, прежняя Алиса, а где вступает в свои права какой-нибудь вредный побочный эффект? «Неужели это я? — думалось ей. — В кого я превратилась?»

Она затолкала бумажный комок в рукав ночной рубашки и ощупала рукой стеганое, на гагачьем пуху одеяло в поисках книги, старого издания «Черного тюльпана» из «Библиотеки классики». Было трудно подыскать что-нибудь такое, что не сразу ее изнуряло или, по крайней мере, достаточно легко читалось. Livre: quel qu'il

soit, toujours trop long[6]. И все вокруг совали ей книги, будто рак был чем-то вроде скучного круиза, во время которого ей было нужно отвлечься. Приятно провести время. Она выбирала те книги, что покороче, или книги, которые она уже читала когда-то, и они немного помогали, скорее всего, потому, что утомляли ее более интересным способом, чем все остальное.

Уна как-то предложила ей слушать «говорящие книги». Например, «Большие надежды» в исполнении Дерека Джекоби. Но слушать — не то же самое, что читать. Не так интимно. К тому же глаза у нее были в порядке. Ее глаза относились к тому немногому в ее организме, что работало просто отлично, как раньше. Как и волосы, которые все росли и росли, словно не имели ни малейшего представления о том, что происходит в остальных частях тела…

Нужно будет поговорить с Уной насчет лекарств. Анаболики больше не убивали боль, вся эта химия лишь вызывала у нее запор, и это жутко ее раздражало. Она хотела перейти на следующую ступень. Непенте? Или ороморф — он, как ей говорили, по вкусу похож на виски. Мо-

---

[6] Примечания: 6
Книга: какая бы ни была, всегда слишком длинна (фр.).

жет, и получится. Или лучше поговорить прямо с Брандо? Он — царь и бог, последнее слово всегда за ним. Он ведь обещал заехать к концу недели. Присядет на край кровати и будет болтать. Потом придется пару минут разглядывать потолок, пока он ощупывает ее грудь и шею, извиняясь за свои холодные руки, которые вовсе не были холодными. Секретные переговоры с Уной на первом этаже. Миллиграммы того, миллилитры этого. Выдаст новый прогноз. И уйдет.

Как люди справлялись с этим раньше? Во времена Дюма? Служанка, снующая на цыпочках с ночным горшком. Ароматические шарики, чтобы заглушить зловоние. Доктора и аптекари с их никчемными снадобьями. Теперь превращение людей в бесчувственных кукол стало целым искусством. Боль изучают в специальных лабораториях, а во Всемирной организации здравоохранения даже разработали «лестницу» — анальгетики назначают в соответствии со ступенью, на которой вы находитесь, но. Ей приходилось делать пометки для Уны в маленьком красном ежедневнике «Сильверстоун». Резкая. Тупая. Толчки. Волны. Один раз она поставила боли оценку «семь». «Десять» должно было обозначать такую боль, какую просто невозмож-

но себе представить. Она оставила эту оценку на крайний случай. А потом, если повезет, как кузине Розе из Брансгора, у которой в желудке выросла опухоль размером с футбольный мяч, вам пропишут сироп под названием «коктейль Бромптона» и позволят умереть смертью семнадцатилетнего наркомана — бог знает, что ей мерещилось в обступивших ее тенях. Но это было давно. Сейчас все наверняка намного пристойней. Безобидная с виду таблетка, которую можно запить глотком чая. Та, что лежит в особой коробочке, похожей на дароносицу, в шкафу, ключ от которого хранится у Брандо.

Или ее заставят жить дальше? Жить до тех пор, пока она не перестанет узнавать самое себя? Она посмотрела на коробочку с таблетками на тумбочке у кровати — ее отделения напоминали барабан пистолета. Если она примет недельную дозу таблеток сразу, запив, скажем, большой порцией скотча, это подействует? Можно ли знать наверняка? Конечно, хуже всего были ночи. Дни она еще кое-как выносила, несмотря на случавшиеся иногда минутные срывы, когда она спрашивала себя, к чему все эти усилия, зачем продолжать жить, если впереди только такое. Она знала теперь, что значит отвернуться лицом

к стене, и испытывала постоянное искушение сказать «нет» остатку жизни и «да» — забвению. Если оно было тем, чем казалось. Забвением. Но не сейчас, чуть погодя. Ей еще иногда выпадало немного счастья. Нечаянные маленькие радости. Открытка от старой подруги. Зазеленевшая трава. Чепуха по радио, от которой ее разбирал смех. Даже пение миссис Сэмсон на кухне — в пятьдесят лет та распевала, как девчонка. Такие вещи трудно объяснять — как ни старайся, все равно выйдет глупо. Но каждый раз, когда опускались сумерки, каким бы прекрасным ни был вечер, она не находила себе места. Задернутые шторы не помогали. Ночь за ними сгущалась и давила на стекла, как вода.

Она открыла книгу — если прочитать еще страницу-другую, поможет ли это уснуть? Книга была очень маленькая и топкая, чуть больше ладони. Корешок темно-синего переплета затрепался. Очень тонкая бумага, такую делали во время войны: перевернешь страницу слишком быстро — и она порвется. Эту книгу подарил ей отец. Десмонд Уилкокс. Капитан. Он не сделал дарственной надписи, и она написала ее сама — черными чернилами, на странице рядом с иллюстрацией, где Роза показывала Корнелиусу драгоценный

тюльпан, стоя в дверях его тюремной камеры.

«Алисе от папы. 29 апреля 1953 года».

Он купил ее в одной из своих деловых поездок. Где-нибудь в Бате, Вэллсе или Солсбери. Когда-то туда можно было ездить по делам. Гравий. Насосы для оросительных сооружений. Даже что-то вроде выращивания грибов в заброшенной казарме рядом с городком Чард. Но еще ребенком она поняла, что слово «дела» зачастую лишь служило прикрытием для бесцельных разъездов на мотоцикле — драндулете, похожем на скелет гончей, черном, как смоль, оглушительно тарахтевшем и пускающем фейерверки дыма, когда его заводили. Она помнила отца — хотя на самом деле она помнила его фотографию — верхом на мчащемся мотоцикле, в кожаной куртке, старых десантных ботинках и защитных очках, как у барона фон Рихтхофена[7]. Он не говорил, когда вернется. Через несколько часов. Через несколько дней. Они с матерью сидели дома вдвоем и прислушивались. Если день был тихий, шум двигателя был слышен до самого Вест-Лавингтона.

Было ли хоть раз, чтобы он вернулся домой без подарка? Из кармана его куртки всегда выгля-

---

[7] Примечания: 7

Имеется в виду летчик Манфред фон Рихтхофен, участник Первой мировой войны.

дывал то сверточек, то бумажный пакетик, то петелька белой упаковочной ленты. И он отдавал ей это как нечто совсем пустяковое, подобранное на дороге. И никогда не ждал благодарности. Он терпеть не мог «шума по пустякам». Просто отдавал ей подарок и шел полоть сорняки, или чинить ящики для рассады, или обмазывать креозотом забор, или делать что-нибудь еще, и эта круговерть бесчисленных трудоемких домашних дел все не кончалась, год за годом, пока вдруг однажды не остановилась.

«И вот 20 августа 1672 года, как мы уже упоминали в начале этой главы, весь город толпой направился в Битенхоф, чтобы поглазеть на то, как Корнелиуса де Витте выпустят из тюрьмы и отправят в изгнание…»

Ей было четыре года, когда он ушел на войну, и до того как война закончилась, она видела его дважды. Человека в хаки, который дарил ей шоколадки «Кэдбери» в обертках из вощеной бумаги. Когда он вернулся домой насовсем, он стал героем. Тунис, Сицилия, Арнем. Особенно Арнем[8].

---

[8] Примечания: 8

Имеется в виду эпизод Второй мировой войны: высадка англоамериканского воздушного десанта возле нидерландского города Арнем. Во время операции союзники понесли большие потери.

Прежде всего Арнем. Второй батальон десантного полка. Один из шестнадцати, кто выжил. Получил орден «За боевые заслуги» за спасение сержанта. Десмонд Уилкокс, капитан. Кавалер ордена. Тот, кто делал шаг вперед, когда других одолевали страх, или усталость, или сомнения. Разве этого было мало? Знать, что это сделал ты? Помнить? Но когда отшумели праздничные гулянья и флаги вернулись на чердаки, оказалось, что он не верит ни во что. Ни в Бога, ни в короля Георга, ни в государство всеобщего процветания. Что-то ушло. Может быть, утонуло в Рейне. Геройски погибло на поле боя. Она изо всех сил пыталась понять, но разве маленькой девчушке такое под силу? Сейчас, когда она стала старше, намного старше, чем был он тогда, ей думалось, что она поняла. Пустоту. Поняла, что можно прочувствовать нечто настолько глубоко, что уже не избавишься до конца от этих чувств. Каким словом называют ощущение, когда ничто уже не имеет смысла? Единственный раз, когда она спросила его про войну, он поморщился, будто съел что-то гадкое, и произнес: «Ах, про это…» У него не было слов для такого рассказа, не больше, чем у нее сейчас, — для рассказа о том, каково это: каждую ночь переходить через реку по мосту

из плавучих бревен и гадать, удастся ли ей на нем удержаться или следующий шаг ввергнет ее в пучину.

Последнее лето своей жизни он часами просиживал на старой, крытой ситцем кровати-качалке под ивой, смоля одну сигарету «Вудбайн» за другой и наблюдая, как лужайка тонет в наползающих сумерках, пока не тонул в них сам и от него не оставался лишь красный пульсирующий огонек сигареты. Как же ей хотелось вернуть его назад, спасти его, так же, как он спас того сержанта. Ее мать не была на это способна — она целыми днями сидела на кухне, слушая по радио Альму Коган и Ронни Хилтона[9], до крови обкусывая себе ногти. Поэтому пошла она: перешла в полумраке лужайку и встала перед ним, в надежде, что нужные слова сами собой придут ей в голову, что небеса даруют ей красноречие. Но этого не случилось; он поднял взгляд и пристально посмотрел на нее сквозь сигаретный дым, словно из-за оконной рамы с толстым стеклом. Может, ему было ее жаль — ведь он знал, зачем она пришла, и знал, что напрасно. Но он не сказал ей: «Присядь, Алиса, присядь, дочка, давай-ка

---

[9] Примечания: 9
Популярные в Великобритании 1950-х годов певцы-исполнители.

попробуем вместе понять эту горькую правду: любовь — это еще не все, люди не всегда могут вернуться обратно», — а сказал как бы между прочим, словно возвращаясь к недавнему разговору: «Знаешь, у них были огнеметы». И она кивнула: «Да, папочка», — и ушла, убежала в свою комнату и зарыдала в подушку. Потому что она должна была сделать это, должна, но не сумела.

Лето закончилось, нагрянули доктора, первые заморозки. Суэц. В день, когда он умер, они с Сэмюэлем сидели в гостиной и слышали, как наверху, в спальне, что-то стукнуло, словно упал небольшой предмет — ваза или что-нибудь в этом роде, и ее мать закричала: «Десмонд! Десмонд! Десмонд!»

Когда стемнело, пришла мисс Бернар — обрядить покойного. БерНАР, моя дорогая, а не БЕРнар. Поставила зонтик в слоновью ногу у входа. По-мужски пожала всем руку. Перепутала причину папиной смерти. Она внушала пожилым людям страх, потому что, казалось, знала, где ее услуги потребуются в следующий раз. У нее было особое чутье. Сэмюэль заплатил ей — гинею? — и в ту ночь они так и не легли спать, слушая, как вода льется через край водосточного желоба, потому что никто не выгреб из него опавшие листья. В ка-

ком же они были смятении! Шорох дождя. Отец, до странного неподвижный. Дыхание Сэмюэля на ее щеке, словно легкое касание пера.

Дзинь!

Пузатые часы в футляре красного дерева в гостиной пробили половину первого; они всегда спешили на пять минут (так же, как бабушкины часы в холле всегда на пять минут отставали) и издавали мелодичный звон в две ноты, и висевшая на цепи маленькая серебряная луна с задумчивым ликом, над которой Стивен трудился несколько дней, поднималась на четверть дюйма. Тик-так, тик-так, тик-так. Словно капли воды сквозь сито ее костей.

В Америке сейчас обед. Ларри с Кирсти и Эллой наверняка сидят за столом и едят какое-нибудь приготовленное Кирсти причудливое «здоровое» блюдо, хотя никто из них не жаловался на здоровье, если не считать Эллиной астмы, а из этой мухи не стоило делать слона. Кирсти вроде увлеклась буддизмом? Раньше был веганизм, сайентология и еще бог знает что. Беспокойные люди эти американцы. Каждый мечтает стать Питером Пэном или феей Колокольчик. Глупо это выглядит, когда целая страна бежит куда-то в погоне за счастьем. А если его не находят, то просто

впадают в панику. Но люди там добрые. Щедрые. К тому же Ларри был там очень счастлив, хотя она всегда надеялась, что он вернется домой. У нее на видеокассетах были все серии «Генерала Солнечной долины». Она так и не поняла, почему его перестали снимать. Он говорил про художественные разногласия. Но что это значило? Особенно художественным этот сериал назвать было нельзя. А когда на прошлое Рождество она ездила в Сан-Франциско, то увидела, что он часами лежит на большом диване перед телевизором и пьет («Это всего лишь пиво, мама. Не волнуйся!»), и тут же с ужасом вспомнила Стивена.

Она закрыла книгу, вложив перо вместо закладки, и выключила ночник. Комната на мгновение исчезла, потом медленно проступила снова — знакомыми серыми контурами. Ощущение, будто ты ребенок, которого отправили спать, когда еще не совсем стемнело, и вот теперь лежишь и гадаешь, чем занимаются взрослые, немного удивляясь, что мир и без тебя продолжает вертеться, что ты вроде как ему и не нужен.

Она слышала, как за окном на террасе Алек двигает стулья. Она знала, что ему нравится там работать, он растворяется в работе, будто затыкает уши ватой. Бедный мальчик. Теперь, когда

у него есть эта пьеса — какого-то мрачного русского, который пишет по-французски, — у него появилось прекрасное оправдание. Она не просила его приезжать! Бродит по дому словно живой упрек. Это выводило ее из себя. Что ему от нее нужно? И почему он не оденется по-человечески? Тридцать четыре года, а выглядит как студент. Нет чтобы купить пару приличных рубашек…

В груди, высоко слева, лениво царапнула когтем боль, и она закрыла глаза. Дощатые стены, старые балки и перекрытия, остывая, потрескивали и перешептывались. Воздух словно заговорил. Ожил. Наполнился чьим-то неявным присутствием.

4

Поздним утром в Сан-Франциско поток машин со скоростью пешехода тек на юг, в сторону Маркет-стрит. Ларри Валентайн барабанил пальцами по рулевому колесу своего темно-зеленого «тендерберда» «Таун Ландау» и сквозь затонированные зеленым стекла наблюдал, как в парке кучка пожилых китайцев играет в маджонг, приспособив скамейку вместо стола. Вечером на следующий день ему предстояло везти Эллу в Чайнатаун на урок фортепиано к мистеру Йипу. Эти занятия предложил профессор Хоффман — они должны были помочь девочке выразить себя, выбраться из своей раковины-ракушки. Он-то и порекомендовал Йипа, который обходился им не дешевле самого Хоффмана; однако, прозанимавшись восемь месяцев и разучив пятнадцать тактов «Лунной сонаты» и пьесу под названием «Волшебный сад господина Ксао», Элла осталась все таким же упрямо замкнутым ребенком, каким она была всегда. При мысли о том, что им придется вместе лететь в Англию, ему было неуютно. Кто знает, какие штучки она выкинет за те десять часов, что они просидят в

металлическом цилиндре, да и потом тоже.

На Четвертой автостраде поток транспорта немного рассосался, и на Сто первой он уже мчался на юг, ровно выжимая шестьдесят миль в час (неплохая скорость для его старенькой машины), а слева от него о воды бухты разбивались солнечные лучи. Он нащупал сигарету в пачке на пассажирском сиденье, закурил и переключил радио с одной коммерческой радиостанции на другую в поисках чего-нибудь в стиле кантри: когда-то такая музыка казалась ему смешной, но теперь он находил ее успокаивающей и честной. До аэропорта оставалось еще двадцать минут — достаточно, чтобы прокрутить в уме предстоящий день и решить, не стоит ли развернуть машину и поехать назад. В конце Бродвея был отличный бар с прохладными деревянными панелями изнутри и парой столиков на улице для курильщиков. Или «У Марио», где можно съесть focaccia[10] и вскользь похвалиться шапочным знакомством с Фрэнсисом Копполой. Он мог бы даже поехать домой. Как-никак вся кухня была в его распоряжении (в холодильнике стояли две упаковки пива «Ред Тейл», по шесть банок в

[10] Примечания: 10
Итальянский пирог.

каждой), ведь Кирсти уехала на курсы дзендо в японский квартал и сидит там себе, скрестив ноги на мате, отгадывает загадки и учится дышать.

По радио Чарли Рич[11] затянул «The Most Beautiful Girl». Ларри прибавил звук и стал подпевать во весь голос, с таким пылом, что женщина, сидевшая за рулем обгонявшего «тендерберд» купе цвета «металлик», бросила на него неодобрительный взгляд — этот крупный мужчина определенно был с собой не в ладах, — прежде чем оставить его за кормой, выкинуть из головы, как любого другого представителя кочующего племени, этих пяти, или десяти, или пятидесяти процентов, которые в любой момент времени не в состоянии, фигурально выражаясь, свести концы с концами. Он раздавил сигарету в полной окурков пепельнице. Ему тридцать шесть, и, несмотря на сентиментальный призыв гитарных переборов, плакать он не собирается. Все утро, проснувшись в одиночестве, задыхаясь, словно последние пять часов он плыл под водой, скованной толстой коркой льда, он чувствовал неизбежность очередной серии отвратительного чувства падения в никуда, какое он частенько

[11] Примечания: 11
Исполнитель американской музыки в стиле кантри-вестерн.

испытывал с тех пор, как дни в «Солнечной долине» стали для него сочтены, — каждый раз о его приближении возвещали особые симптомы. Например, он стал, как неврастеник, придирчиво следить за своим сердцебиением, прислушиваясь к глухому тиканью часов своей жизни, и за самим органом, за это тиканье отвечающим, мышцей, в которой в перепутавшихся цепочках дезоксирибонуклеиновой кислоты были зашифрованы тот час, минута и секунда, когда дразнящая пауза между двумя ударами растянется до бесконечности. В надежде определить, что же с ним происходит, он отправился в «Барнс энд Ноубл» полистать домашние медицинские справочники (эта секция в магазине была самой оживленной) и так долго вчитывался в вопросы для самопроверки на цветных плашках: «Сопровождается ли кашель кровотечением? Не изменился ли цвет стула?» — что в конце концов обнаружил у себя целый букет новых болячек, и ему показалось, что он вряд ли сможет выйти из магазина без посторонней помощи. За что ему выпало такое наказание, Ларри не знал; разве что он слишком долго испытывал судьбу, считая, что раз ему однажды повезло, то будет везти и дальше, без каких-либо усилий с его стороны. Что-то пошло

не так, и сейчас было уже не важно почему. Важно было не сдаться, не пасть духом, как в игре, где он продул два сета подряд и только-только начал сравнивать счет, — и на последнем повороте перед аэропортом он задержал дыхание, сильнее сжал руль и немного наклонился вперед, словно следя, как противник на другом конце корта подбрасывает мяч для роковой первой подачи.

В международном аэропорту Сан-Франциско он остановился у стойки Британских авиалиний, чтобы забрать билеты в Лондон. Два билета на третье июня и еще один — для Кирсти — на десятое. День рождения Алисы был восемнадцатого.

Девушка за стойкой, медовая блондинка с легким персиковым пушком на лице, который на свету отливал золотом, поинтересовалась, не будет ли у него каких-нибудь особых пожеланий насчет еды.

— Моя жена, — сказал Ларри, — сейчас увлекается буддизмом, поэтому ей подойдет что-нибудь с высоким содержанием клетчатки, вроде суси. Дочь не станет есть ничего, хоть немного похожего на еду. Я же съем все, что в два часа ночи вы сможете мне предложить.

Она расцвела улыбкой. Все, что подается в полете, разрабатывается группой диетологов. В меню

входят вегетарианские блюда и блюда для детей. Учитываются любые пристрастия. Ларри улыбнулся в ответ и сказал, что очень этому рад. Ему было интересно, узнала ли она его: американцы обычно не стесняются говорить о таких вещах. «Эй, а вы не…?» Мелькать на телеэкране означало причаститься истинных благ демократии, но за те полтора года, что прошли после его «расставания» с сериалом (он тогда одурел от ярости и низкопробного кокаина, а Л. Ливервиц-младший, новый режиссер, уже четырнадцатый, одурел от ярости и чересчур большой дозы экзотических витаминов), он стал меньше походить на доктора Барри — обходительного, импозантного мужчину, который привносил в хай-тековские коридоры «Солнечной долины» толику английского лоска, и больше — на его дядюшку, более грузного, скорее румяного, чем загорелого.

— Вам понравилось в Калифорнии? — спросила она.

— Я здесь живу, — ответил он.

— Тогда вам точно здесь нравится.

Она вручила ему конверт из плотной глянцевой бумаги, в котором лежали билеты, и, поскольку на этом ее обязанности закончились, ее порыв профессионального восторга угас. Ларри попро-

щался и положил билеты в карман. До рейса оставалось пятнадцать минут. Он проглотил без воды розовую таблетку занакса и поспешил к своему выходу мимо выстроившихся в аккуратные очереди пожилых туристов (тайваньцы? корейцы?), спрашивая себя, как отреагировала бы девушка у стойки, если бы в порыве откровенности он выложил ей всю правду о том, куда он летит и зачем. Он представил, как она нажимает секретную кнопку тревоги у себя под столом и его уводит служба охраны аэропорта, и, впихнув в кабинет с зеркальными стеклами, совладав с его бешенством, надевает на него наручники. А может, он недооценил ее. Кто знает, какова ее личная жизнь, какие драмы переживает она, когда вечером возвращается с работы домой? В ее возрасте по лицу мало что угадаешь. А как еще?

Рейс был точно по расписанию — забит под завязку, как всегда в середине дня. Деловитые пассажиры гуськом входили в салон и усаживались на свои места, выключая мобильные телефоны. Некоторые тут же начинали брифинги с коллегами — для Ларри их разговоры были просто бессвязным бормотанием, странной смесью конторского сленга и эвфемизмов. Особи помоложе восхищали превосходной физической

формой, как будто все, как один, были членами дорогих спортклубов — так оно, скорее всего, и было. На некоторых были элегантные очки; многие захватили с собой портативные компьютеры. Но больше всего их объединяло сознание цели: они принимали решения, двигали горы и потрясали основы основ, и по сравнению с ними он — бывший спортсмен и бывшая звезда мыльной оперы — был чем-то вроде безделушки на книжной полке, барочной завитушки.

Рядом с ним — а он-то надеялся, что это место никто не займет! — в последний момент села женщина с маленькой девочкой. На женщине было длинное мешковатое черное платье с этническими узорами и похожая на клобук шапочка, из-под которой на лоб выбивалась пара густых каштановых кудряшек. Искоса посматривая на нее, пока самолет выруливал на взлетную полосу, Ларри определил, что она намного моложе, чем казалась на первый взгляд: лет двадцать пять — двадцать шесть, хотя словно нарочно одета так, чтобы выглядеть старше и менее привлекательно, — вся в загадочных напусках и складочках, возможно придуманных, чтобы оградить себя от излишнего контакта с внешним миром. Девочке у нее на коленях было годика три-четыре, она

была худенькая, вялая, болезненная на вид, с самыми темными и грустными глазами на свете.

Он приветливо улыбнулся женщине, которая, вместо того чтобы улыбнуться в ответ, сказала:

— Ну вот, рвота, — с таким густым нью-йоркско-еврейским акцентом, что Ларри сначала решил, что это, должно быть, имя девочки, и начал перебирать в уме отважных героинь Ветхого Завета, пока женщина вытаскивала из кармана на спинке переднего сиденья гигиенический пакет.

— Надеюсь, ее не вырвет на вас, — сказала она таким тоном, будто, случись такое, виноват был бы он сам.

Девочка у нее на коленях заерзала.

— Хочешь вырвать? — спросила мать и, решительно положив руку ей на затылок, ткнула личиком в пакет — прошла не одна минута, прежде чем девочка оттуда вынырнула, до смешного несчастная, скорчившись от отвращения, и на обеспокоенный взгляд Ларри ее глаза ответили смесью враждебности, усталости и робкой мольбы. Он сочувствовал ей, думая, что понимает ее разочарование во всех и вся, и когда они летели над потертой Калифорнийской пустыней, а кромка побережья справа по борту сверкала лазурью и перламутром, он изо всех сил старался

заставить девочку улыбнуться — игра, в которую он часто играл с Эллой, отличавшейся такой же серьезностью и раздражавшим его мистическим знанием сути вещей, что и эта бледненькая еврейская девочка.

На всех детских фотографиях, большая часть которых так и осталась в «Бруклендзе», был ли он запечатлен на фоне сада, переливающегося радужными цветами пленки «Кодак», или на фоне яркой зелени спортивной площадки, или плечом к плечу с Алеком на море в Бретани или в Ирландии, везде на его лице сияла неизменная широкая улыбка. Даже когда он стал подростком, готовым по любому пустяку громко хлопнуть дверью, а кожа у него вокруг рта целый год саднила от неумелых попыток бриться, его лицо никогда не переставало выражать добродушный оптимизм паренька, который отлично ладит со всем миром. Несчастные дети и даже дети, только казавшиеся несчастными, будили в его очень легко поддающемся внушению сознании призрак тьмы, от которого даже невинность не могла защитить и с которым он продолжал упорно, даже немного отчаянно вести борьбу.

Девочка наблюдала за ним, выглядывая из-за черных складок на материнской груди, — сна-

чала украдкой, а потом посмелее, когда мать отвлеклась, требуя у стюардессы отыскать на тележке с закусками пакет чипсов с буквой «К» — «кошерный». Ларри сморщил нос, поморгал, скосил глаза, нахмурился, подражая девочке, но все это не произвело никакого впечатления. Она еще больше насупилась в ответ на его гримасы, выказывая поистине царственное неодобрение, и он начал сначала, на этот раз осторожно добавив номер с отрыванием большого пальца — один из любимых фокусов Эллы, — но только когда самолет заложил вираж над побережьем, разворачиваясь в сторону Лос-Анджелеса, а внизу потянулись акры аккуратных домиков, автострады и сверкающие на солнце потоки машин, она соизволила наконец развеселиться, и ее лицо засияло такой лучезарной улыбкой, что ему пришлось отвернуться. Он посмотрел на свои руки (на левой — обручальное кольцо, правая, которой он когда-то держал ракетку, до сих пор в буграх мускулов) и заговорил сам с собой, заговорил, спрятавшись за маской собственного лица, освобождаясь от страха, что он вот-вот совершит — в этом чрезвычайно общественном месте — что-нибудь совершенно неподобающее. Расхохочется, как гиена, или скрючится в прохо-

де, или погладит один из каштановых завитков над бровями у матери девочки — что-нибудь такое, что наверняка будет иметь потрясающие последствия. Конечно, это было частью нового напряжения, новой дерзости, которую он готовился совершить, и это вынуждало его постоянно следить за собой и себя одергивать. Но особенно сильно его тревожило все более настойчивое чувство протеста, стремление к разоблачению, импульс, чей истинный смысл оставался для него неясным, но который, как в свое время для его отца, мог стать для него разрушительным.

Одна из стюардесс с лицом, одеревеневшим от избытка косметики и усталости, сидевшая на откидном сиденье у аварийного выхода, наблюдала за ним без тени сочувствия и, казалось, собиралась что-то сделать, но они резко пошли на снижение, самолет уже летел вровень с крышами зданий аэропорта, и времени оставалось только на то, чтобы наскоро помолиться («Боже, не дай нам разбиться и умереть…»).

Деловые люди напряженно выпрямились, держа пальцы на кнопках мобильников, готовые их включить. На кухне что-то упало; кто-то натужно засмеялся. Когда они коснулись земли, девочка снова нырнула личиком в пакет.

5

Над некоторыми словами и на полях Алек острым карандашом делал пометки. При свете ветроустойчивого фонаря (в самую безветренную из ночей) он нота за нотой познавал музыку новой пьесы, и, теперь, когда в его голове наконец-то улеглись посторонние мысли, слагал близкую к тексту, подражательную песнь перевода.

Он не был знаком с Ласло Лазаром и знал, как тот выглядит, по фотографии, вырезанной из журнала «Санди телеграф», на которой был изображен хрупкого сложения человек с коротко подстриженными седыми волосами и большими глазами — их зрачки поражали яркостью и глубиной. Была зима, и Лазар стоял на берегу пруда в Люксембургском саду — Алек частенько забредал туда во время своих одиноких прогулок в тот год, который провел за границей в Cite Universitaire[12]. Но особый флер снимку придавал сверток, который Лазар держал в руках, прижимая к серому пальто. Может, книга или что-нибудь из ближайшей кондитерской,

---

[12] Примечания: 12
Университетский городок (фр.).

воскресный торт например, но из-за этого свертка вид у него был немного конспираторский, как у анархиста девятнадцатого века, который направляется подложить бомбу в редакцию реакционной газеты. Это вместе с глуповатым заголовком: «В молодости Лазар умел держать в руках автомат», — утвердило Алека во мнении, что драматург был романтическим героем с таинственным, полным опасностей Прошлым, какого у него самого никогда не было и не будет.

Миллионы людей отдали жизни за то, чтобы мир стал таким, каким его знал Алек. Это ему повторяли в школе каждое Поминальное воскресенье перед тем, как протрубит горн и шеренги мальчишек замрут в молчании — их уже не попросят сыграть свою роль, потому что это сделали за них другие, другие положили свою жизнь, как покровы из парчи и шелка на алтарь свободы, чтобы, по крайней мере в Англии, диссидентов не увозили по ночам в камеры пыток и старушка демократия могла и дальше мирно дремать после обеда. И в этом было великое достижение, триумф, потому что не было человека, который не знал бы, потому что видел сам или по рассказам, что война — это ад. Он дважды — один раз по телевизору, другой раз по видео

— смотрел документальный сериал «Воюющий мир», в котором Лоуренс Оливье рассказывал об ужасах русского фронта, Хиросимы, концлагерей. В более современных примерах тоже не было недостатка. Иран и Ирак. Афганистан. Чечня. Бесконечные войны в Восточной и Центральной Африке. Войны, подобные «Буре в пустыне», которые велись с хрестоматийной жестокостью, сопровождаемые пресс-конференциями и выступлениями генералов из Центрального штаба. Войны, полные неописуемого кровопролития, в которых сосед убивал соседа, как те, что с таким трудом прекратились в Хорватии и Боснии. Война так и осталась основополагающим занятием для огромной части земного шара. Но Алек жил в Англии и наблюдал эти бросающие в дрожь бесконечные картины насилия, от которых жителям всей Британии хотелось блевать, с безопасного расстояния, в воскресных выпусках новостей. И он понимал, что должен быть за это благодарен. Его расстраивало, что люди гибнут в дорожных авариях. Когда торговец рыбой при нем начинал чистить свой товар, к горлу у него подкатывала тошнота. Он был изнежен и постоянно простужался. Его линией фронта стали те четыре года, что он проработал учителем французского в го-

сударственной школе в южной части Лондона, в конце срока (в один особенно черный вторник вскоре после рождественских каникул) он просто сбежал. Но он так и не освободился полностью от наивной мечты, в которой сражался на баррикадах плечом к плечу с таким человеком, как Ласло Лазар, или бежал под огнедышащим небом вместе с дедушкой Уилкоксом, вынося с поля боя истекающего кровью товарища. Было до смешного обидно сознавать, что у него никогда не будет фотографии, на которой он стоял бы, исполненный достоинства, на Тутинг-Коммон, с подписью: «В молодости Валентайн умел держать в руках автомат». Он не был создан для такой жизни.

С тех пор как он стал переводить Лазара, между Парижем и его квартиркой в Лондоне пролетели тучи электронных сообщений: вопросы по тексту и ответы — скупые и точные, — которые подписывал не сам Лазар, а некая «К. Энгельбрехт», надо полагать, его секретарша (Катрин? Катя?). Алек должен был встретиться с Лаза-ром в сентябре на официальном приеме в Лондоне, где будут присутствовать директор Королевского попечительского совета и всякие актеры, дизайнеры, технический персонал, менеджеры, участвующие в постановке. Если не случится

ничего непредвиденного, премьера состоится в конце января.

Для Алека это, несомненно, самая важная работа, за какую он когда-либо брался. Марси Штольц, литературный менеджер Совета, видела его новый перевод «Le Medecin malgre lui»[13] для театра «Рат-хаус» в Хэкни, — она как раз искала, кем заменить Криса Элиарда, постоянного переводчика Лазара, который пропал с борта своей яхты при загадочных обстоятельствах, когда в одиночку пересекал Генуэзский залив. Штольц позвонила Алеку и пригласила его на обед в «Орсос» в Ковент-Гардене — он никогда прежде не бывал в ресторане такого класса — и после спаржи и равиоли с омаром предложила ему этот контракт, пояснив, что эта новая пьеса для Лазара — что-то вроде авторской интерлюдии, пусть не вполне оптимистической, но уж точно не мрачной. «О неких событиях, исполненных неявной красоты, и все такое прочее» — так она выразилась, держа в одной руке вилку, а в другой «Мальборо лайт», вперив в Алека заинтересованно-задушевный взгляд. Платили, как обычно, мало — «с огромной радостью предложила бы значительно

[13] Примечания: 13
«Лекарь поневоле», пьеса Ж.-Б. Мольера.

больше», — но достаточно, чтобы, при разумном подходе, бросить ненавистную ему «техническую» работу (в последний раз он переводил документ о тормозных системах для Национальной французской железной дороги). Осушив два больших бокала белого вина и распрощавшись со Штольц — он чуть ли не кланялся, когда она втискивалась в такси на Веллингтон-стрит, — он до вечера гулял по Риджентс-парку: улыбался владельцам собак, выгуливающим своих питомцев, туристам и даже полицейским, которые в ответ осторожно кивали — такая непривычная приветливость казалась им подозрительной. Наконец-то он стал человеком с будущим! И хотя он уже давно бросил тягаться с братом — тщетность этого занятия открылась ему еще в начальной школе, — сейчас, когда на его стороне Лазар, он сможет выбраться из его чересчур густой тени. Он позвонил Алисе из автомата где-то возле Марилбона, спотыкаясь на каждом слове, смущаясь того, как много значит для него ее одобрение, и с неописуемым облегчением услышал энергичное: «Молодец, Алек!» Но по пути домой, когда ноги его загудели от долгой ходьбы, а голова — от выпивки, эйфория сменилась беспокойством и разочарованием, словно кто-то отдернул шторы

и впустил свет в комнату, которая была пригодна для жизни, только когда в ней царил мрак.

Пьеса называлась «Oxygène»[14]: в картонной папке — шестьдесят семь страниц машинописного текста, на которых лаконично, сжатыми фразами рассказывалось о трагедии на шахте в Восточной Европе. Для постановки была предусмотрена крутящаяся сцена с двумя декорациями: «надземной» и «подземной», поворачивающимися к зрителю поочередно. Действие начинается взрывом, в результате которого шахтеры оказываются заперты в узкой штольне. Наверху команда спасателей и родственники пытаются разобрать завал. Надежда остается до конца первого акта, но к началу следующего становится очевидно, что спасательные работы могут иметь только один исход. Под землей шахтеры изо всех сил пытаются смириться со своей участью. Для одного из них это всего лишь Его величество факт: камня слишком много, сил слишком мало. Второй находит успокоение в религии, вверяя себя воле Создателя. Третий клянет владельцев шахты, которые заставили их продолжать добычу, несмотря на предупреждения о том, что

---

[14] Примечания: 14
Кислород (фр.).

туннель небезопасен. В середине акта между двумя шахтерами вспыхивает драка, но из-за нехватки воздуха они могут только обхватить друг друга в медленном танце, как пьяные любовники. Отчаяние заполняет пространство, словно газ. Даже те, кто наверху, становятся его жертвой, жадно ловя воздух, будто им тоже нечем дышать. Но когда все усилия уже кажутся тщетными, один из запертых в штольне, Георгий, ветеран шахты, поднимается, собирает последние силы и снова начинает долбить скату, а наверху молодая женщина, возможно обезумев от горя, поднимает брошенную кирку и неумело вонзает ее в землю. Огни рампы меркнут, и зрители остаются в темноте, наполненной размеренным стуком металла о камень, который, как подчеркивается в тексте, должен быть «звуком торжествующим, но в то же время насмешливым».

Для Алека сила пьесы стала очевидной, стоило ему раз бегло прочитать рукопись сразу после того, как курьер на мотоцикле — чье появление произвело глубокое впечатление на мистера Бекву — в начале апреля доставил ее к нему в квартиру. На следующий день он привез ее в «Бруклендз», куда Алиса, формально еще в состоянии ремиссии, пригласила его подышать свежим

воздухом, и там прочитал во второй и в третий раз, сидя в саду под пологом из яблоневого цвета.

Штольц была права. В пьесе совсем не было уныния и скептицизма предыдущих работ Лазара, в основном благодаря одному из персонажей — Георгию, который в молодости мог бы послужить моделью для статуи советского рабочего-ударника и взирать на самого себя, отлитого в монументальной бронзе посреди городского парка, а сорок лет спустя, растеряв все иллюзии и освободившись от догмы, стал просто порядочным человеком с первозданным мужеством и первозданной моралью — качества, которые так превозносил Камю. Раз наверху в него верила та молодая женщина, кто осмелится сказать, что их спасение невозможно? Конечно, поверить в это было трудно, очень трудно, но ничто в тексте не возбраняло в это верить.

В разгар весеннего цветения сад в «Бруклендзе» был неукротим, беспорядочен, почти буен; земля гудела, как разогретый мотор. Алиса отказалась от последних ограничений своей мудреной диеты, и они съездили в магазин деликатесов в Ковертоне и купили ее любимые лакомства: пармскую ветчину, яблочный струдель, мороженое «Венетта», печенье с коньячной пропиткой

— то, что она ела в золотые годы, когда и речи не было о биопсиях и прочих анализах.

Работая, Алек чувствовал, что мать посматривает на него поверх книги, которую она читала, и ему было приятно ощущать на себе ее взгляд, его теплоту и тяжесть, и пусть в нем всегда была доля критики, он был уверен, что с таким чувством на него никто никогда не смотрел и не посмотрит. Три дня, три теплых апрельских дня — теперь, уйдя в прошлое, они казались ему целой весной, и больше всего его поражало то, что он тогда совсем не сознавал своего счастья, что оно не оставило на нем никакой отметины, даже самой крохотной, — он никак не мог подобрать антоним к слову «шрам».

На следующей неделе она позвонила ему домой рано утром, он был еще в постели. Ее голос звучал сбивчиво, подавленно и даже раздраженно, и он ехал к ней, полный дурных предчувствий. Даже погода испортилась, и за анализами в больницу они ехали сквозь пелену мороси, по дороге, блестящей, как растаявшее серебро. Он ждал ее на больничной стоянке, слушая радио и разглядывая местный пейзаж из сборных домиков, запыленных деревьев и похожих на казармы зданий, откуда суетливо выбегали люди, натянув на го-

ловы пальто и куртки или сражаясь с зонтиками, которые упрямо отказывались поворачиваться против ветра. Ей сделали сканирование и анализы крови, а потом пришлось десять дней ждать результатов. Даже за такое короткое время перемена в Алисе стала очевидной, измеримой. Платье цвета морской волны, которое она надела на прием к Брандо, выглядело на два размера больше, а макияж, наложенный гуще обычного, казался неумелой попыткой скрыть происшедшие с ее лицом изменения: поблекшие черты, круга под глазами — словно синяки, оставленные бессонницей. Он припарковал «рено» как можно ближе к дверям онкологического отделения, но, когда он поспешил открыть дверцу с ее стороны и взял было ее под руку, она оттолкнула его и пошла к дверям сама, с наигранной бодростью бросив «здравствуйте!» медсестре, которую, как ей показалось, она узнала. Ее не было сорок минут. Когда она вышла, задержавшись на ступеньках, чтобы перевести дух, было такое впечатление, что где-то в недрах этого уродливого здания ее разобрали на части, а потом собрали снова — наспех и неудачно. Даже сесть в машину стало неимоверно трудно — целая пантомима немощи. Он увидел, что ее глаза налились кровью, а щека

покраснела, будто она что-то прижимала к лицу.

Она сообщила ему новости по дороге, обращаясь к ветровому стеклу и пересыпая речь медицинскими терминами, которых нахваталась от докторов за последние годы. Когда она замолчала, Алек внезапно почувствовал себя ребенком, который в каком-то диком страшном сне оказался за рулем отцовской машины. Как им вписаться в следующий поворот? Как остановиться? Потеряв голову, он пытался найти нужные слова (ведь может же быть, что ситуация не так безнадежна?), но когда пришел момент их высказать, когда от него потребовалась всего лишь искренность сродни той, что демонстрируется в американских мыльных операх по пять вечеров в неделю, он не смог выдавить из себя ни звука. И хотя он уже представил, как притормаживает у обочины, чтобы обнять ее, выставляя напоказ свою боль, он не сделал этого из страха, что любые его слова или жесты окажутся до вульгарности неуместными. Еще, возможно, из страха перед тем, что могло бы случиться, сумей он выразить свои чувства.

В «Бруклендзе» она вежливо поблагодарила его за то, что подвез. Дождь перестал, тучи рассеялись, и вечер оказался неожиданно тихим и лазорево-ясным. Он вошел в дом, чтобы приго-

товить чай (на следующий день он обнаружил, что чашки так и остались нетронутыми), потом понаблюдал за Алисой из окна на втором этаже — как она ходит по саду, от клумбы к клумбе, и с екнувшим сердцем усмотрел в этом обряд прощания.

К восьми она легла в постель. Он сел за кухонный стол и написал Ларри жесткое, натянутое, яростное, жалостливое письмо («Помнишь нас? Свою семью?»), которое тут же порвал, спрятал клочки в стаканчик из-под йогурта, а стаканчик засунул поглубже в мусорное ведро. Позже он поговорил с Ларри по телефону и, поняв по голосу, что тот потрясен, почувствовал, что гнев испарился, сменился желанием всецело поручить себя заботам брата, положиться на него. Они проговорили почти полчаса, когда Ларри сказал с такой нежностью, что Алек не отважился ответить: «Я приеду, братишка. Продержишься?»

Опустив страницы на колени, Алек закрыл глаза, снял очки и потер переносицу. Он уже долго работал при неверном свете одинокой лампы, и от напряжения у него разболелась голова. Когда он открыл глаза, его взгляд упал на остатки кирпичной стены, сплошь увитые кремовыми и розовыми розами, — когда-то эта стена полно-

стью отделяла террасу от сада, но при жизни отца ее разобрали, оставив только небольшой участок для цветов. Это были розы Алисы, и, взглянув на них, он увидел ее — образ, видение, уже начавшее тускнеть: быстрыми, точными движениями она обрывала увядшие бутоны. Насекомые прятались во влажной сердцевине цветов и, возможно, разрушали их. Иногда они заползали под манжеты ее блузки, и она вытряхивала их оттуда, не то чтобы с безразличием, но и без лишней брезгливости. Она была не из тех женщин, которые визжат при виде паука или мыши. Не раз он видел, как она усмиряла внезапно выскочивших из-за поворота огромных псов. А история о том, как она дала отпор пьянчуге, который размахивал перед ней разбитой бутылкой на многоэтажной автостоянке в Бате, давно стала их любимым семейным преданием. Как же еще было вести себя дочери героя Арнема, который — вылитый Ларри в версии сороковых годов — гордо взирал из серебряной рамки, стоящей вместе с фотографиями других предков на ореховом серванте в столовой.

До сих пор мужество ей не изменяло. С самого начала она говорила о том, что «надо жить с этим», что означало вести себя достойно и не впадать в истерику. Но кому по силам сопротивляться бо-

лезни, которая, казалось, обладает собственным коварным разумом? Которая ненавидит жизнь, но с упоением ею питается? Однажды наступит день или ночь, такая ночь, как сейчас, и она не сможет больше «жить с этим», и кому-то другому придется держать удар. Что тогда? Он посмотрел на рукопись. «Удары молотков, стук металла о камень, звук торжествующий, но в то же время насмешливый».

6

Ласло Лазар стоял на лестничной клетке и, перегнувшись через перила, смотрел вниз — его сосед, месье Гарбар, тоже вышел из квартиры и смотрел вверх. В руке Гарбар держал красно-белую клетчатую салфетку — знамя прерванного обеда. У него за спиной в дверях стоял Гарбар-старший, он был слеп, и его лицо, как всегда, выражало осторожное удивление.

— Что-то с духовкой, месье, — бодро сообщил Ласло. — Небольшой взрыв.

Он пожал плечами, всем своим видом показывая, что подобные происшествия, конечно, неприятны, но и в них можно найти что-то забавное. Гарбар-младший кивнул, хотя и не ответив на улыбку Ласло. Они были соседями вот уже пятнадцать лет, и, не зная никаких существенных фактов, — так, Ласло не знал, чем занимается Гарбар-младший, — они узнали друг друга довольно неплохо, свыклись друг с другом. Как только Ласло услышал выстрел, такой невероятно громкий и как ничто в мире похожий именно на пистолетный выстрел, он уже знал, что Гарбар выйдет из-за стола и направится к двери за объяснени-

ями. Ласло подозревал, что его соседи питали стойкую неприязнь к эмигрантам, даже к тем, кто прожил в их стране сорок лет, знает ее и любит, и говорит на их родном языке не хуже них самих, а иногда и лучше. Конечно, у Гарбаров могли быть и другие причины его недолюбливать. Трудно было сказать, насколько его жизнь была для них открыта.

— Прошу прощения, месье, за то, что нарушил ваш обед. Bon appétit!

Соседи вернулись в свои благопристойные апартаменты. Ласло осторожно закрыл дверь, стараясь не наделать еще шуму, который прозвучал бы как стук, взрыв, выстрел, и по выложенному паркетом коридору — спинному мозгу своей квартиры — поспешил в гостиную, которая находилась в дальнем его конце. Перед тем как выйти успокоить Гарбаров, он удостоверился, что там никто не пострадал. Теперь же, не зная, считать это забавным недоразумением или чем-то ужасным, он вошел в комнату, как детектив из рассказа о таинственном убийстве в загородном доме, — такие рассказы в невзрачных венгерских изданиях он иногда почитывал в детстве.

Его секретарь Курт Энгельбрехт, с коротко подбритыми пшеничными волосами, что под-

черкивало изящную форму черепа, расстегивал воротник Франклину Уайли, а Лоранс стояла по другую сторону стола, с глазами, полными слез, и роняла пепел сигареты на ковер. Франклин, посеревший от ужаса, но уже начинающий гордиться собой, распластался на диване. На льняной скатерти, возле пиалы со свежими финиками, словно дорогой столовый прибор, лежал пистолет.

— Во что ты попал? — спросил Ласло. Франклин дрожащим пальцем указал на книжную полку в конце комнаты, и Ласло направился оценить нанесенный ущерб. Пуля застряла в корешке томика стихов, лежащего на самом верху. Он вытащил томик и показал его гостям.

— Ты застрелил Рильке. Фашист.

— Я не знал, что эта хреновина заряжена, — запинаясь, сказал Франклин.

Курт опустился на колени и обмахивал американца программкой к «Мадам Баттерфляй».

— Да он просто игрушечный! — съязвила Лоранс. Ласло пожал плечами и осторожно наполнил четыре рюмки «Житной».

— Идиот, — спокойно сказал он, подавая Франклину рюмку.

Когда все выпили и вытерли губы тыльной стороной ладони — совершенно неизбежный жест,

когда пьешь водку, — Ласло спросил:

— Кто-нибудь сумеет его разрядить?

Но судя по всему, ни у кого не было желания прикасаться к пистолету, хотя он просто лежал на столе, свернувшись калачиком рядом с финиками, — предмет, способный причинить увечье. В конце концов, бормоча про себя, что он — единственный взрослый в комнате с трудными подростками, и именно так себя и чувствуя, Ласло набросил на пистолет салфетку, осторожно завернул и понес по коридору в свой кабинет — комнату площадью в двадцать квадратных метров, окна которой выходили на юг, на бульвар Эдгара Кинэ и кладбище, где упокоились Сартр, де Бовуар и славный Беккет. В комнате было два письменных стола: тот, что ближе к окну, был завален бумагами, исписанными каталожными карточками и десятком черных капиллярных ручек «Пентелс», которыми Ласло обычно писал. Второй стол, побольше, купленный на распродаже, был оснащен компьютером, телефоном-факсом и лампой с зеленым абажуром на массивной бронзовой подставке. Бумаги на нем были сложены в аккуратные стопки, а на углу стояла ваза с пахучими желтыми фрезиями. Здесь работал Курт: набирал письма, вел бухгал-

терию, отвечал на звонки — словом, заботился о том, чтобы драматург тратил больше времени на творчество, чем на жизнь.

Ласло включил лампу и развернул пистолет. Это была маленькая «беретта» тридцать второго калибра с коротким стволом, не предназначенная для боевой стрельбы, пистолет для шпионов, полицейских, выполняющих секретные задания, и нервных домохозяек. Он вынул его из белого дамаста. Много лет прошло с тех пор, как он в последний раз держал в руках оружие — целая жизнь, — и его заворожила исходящая от этого предмета таинственная энергия. Пистолет весил не больше старинного серебряного портсигара или увесистой книги карманного формата — «Отверженных» например, — но при этом не оставлял никаких сомнений ни в предназначении своем, ни во власти, которую даровал, стоило сомкнуть пальцы вокруг его рифленой рукоятки. Он мог бы сейчас пойти и пристрелить Гарбаров, приставить пистолет им к затылку и нажать на курок — пиф-паф! — чтобы они ткнулись лицом прямо в тарелки с супом. Или, если вдруг его званый ужин не будет иметь успеха — телятина подгорит или беседа окажется скучной, — он за минуту пустит в расход всех гостей. Или, если

уж мир нанесет ему такую обиду, возможно, будет проще пустить в расход самого себя, как несколько лет назад сделал друг его отца, тоже врач, свесившись за окно, чтобы не забрызгать мозгами ковер, и не оставив никакой записки, никакого объяснения, кроме собственного тела, лежащего на подоконнике. Возможно ли прожить жизнь, ни разу не испытав — пусть на час или два — искушения переступить роковую черту самоубийства? Se donner la mort. Подарить себе смерть. Какое расстояние нужно пройти от замысла до воплощения? Возможно, не очень большое, даже совсем небольшое, если у вас есть приспособление вроде «беретты», и все, что требуется, — это просто нажать на курок. Когда он был молод и, по очевидным причинам, мысль об этом не раз приходила ему в голову — являясь в самом соблазнительном обличье, представляясь завершением изнурительной и безысходной борьбы с самим собой, он знал, что никогда не пойдет на это, пока жива его мать. Но она умерла в восемьдесят девятом и была похоронена в Вене, где прожила последние годы жизни вместе с дядей Эрно; он помнил, как мысль эта вновь пришла к нему в поезде, когда он направлялся в Вену в последний раз, остаточная жажда смерти,

которую он вдруг стал волен утолить, потому что не было никого, кроме матери, кто бы оказался не в силах пережить это, не оправился бы от потери. Он поднял пистолет и коснулся виска шелковистой поверхностью дула, представляя (не без удовольствия) разговоры после похорон, как друзья смотрят друг на друга и качают головами: «Ему же было для чего жить! Ты-то понимаешь, почему он это сделал?»

Дважды прозвонил телефон, смолк, запищал, и из пасти факса пополз лист бумаги. Ласло снова завернул «беретту» в салфетку, торопливо, будто его застали позирующим перед зеркалом. Показались напечатанные жирным черным шрифтом слова: «Правосудие по-сербски», а потом — не совсем четко, но разборчиво — фотографии, смотреть на которые он не хотел, но от которых не смог отвести взгляд. Спина женщины, почерневшая и распухшая от ударов. Тело мужчины, лежащее ничком в канаве. И неизбежная концовка: женщина в платке, потерянная, напуганная, протянувшая руки в отчаянной мольбе, — образ, который мог бы послужить эмблемой всему двадцатому веку. Он не в первый раз получал подобные материалы. С начала марта к нему приходили карты, фотографии, статистические

сводки, свидетельства кошмаров. Он так или иначе знал их источник и снова почувствовал прилив негодования, оттого что к нему обращаются с подобными просьбами. Политическая макулатура! Курт мог бы разобраться с ней утром, сунуть в какую-нибудь папку. Если бы он умел, то отключил бы факс, сломал бы его, потянув за жгуты проводов, что тянулись к розетке, но он совершенно ничего не смыслил в том, что до сих пор называл «новыми» технологиями, и не хотел, чтобы Курт полдня на него дулся. На полке у него над столом на табло радиобудильника цифры 8.59 сменились на 9.00. Кароль должен был прийти с минуты на минуту, а на кухне нужно еще много чего сделать, прежде чем можно будет сесть за стол. Но когда он выходил из кабинета, ему представилось, что факс все ползет и ползет, всю ночь напролет, бумага заполняет стол, падает на пол, ее шуршащие рулоны поднимаются к потолку. Нескончаемый протест. Прорицание. Неустанный призыв к оружию.

7

Закинув пиджак на плечо, Ларри пробирался к выходу из Лос-Анджелесского аэропорта. Впереди него шла та самая молодая еврейка с девочкой на руках — их встречала группа еврейских мужчин с пейсами и в ермолках, один из которых, великолепно сложенный молодой человек с бородой мягкой и блестящей, словно волосы на девичьем лобке, судя по всему, был отцом девочки, и та вскарабкалась к нему на руки, позабыв про тошноту, гордая и смешливая, воссоединившаяся со своим героем, спасенная.

Ларри понаблюдал за ними немного, украдкой, из-за спин столпившихся под информационными экранами людей. Как было бы здорово, если бы он вдруг стал частью той маленькой группы и разделил их счастье! Он представил себя в накрахмаленной белой рубашке, и что зовут его, к примеру, дядюшкой Рубеном, и что у него превосходная бледная кожа, какая дается в обмен на определенного рода праведность. Он — владелец магазина тканей в центре города или кошерной гастрономической лавки, и его пальцы слегка

пахнут пикулями. Vi gay'st du[15], Рубен? Присоединяйся к нам!

Он пошел дальше, зашел в один из баров тут же, в зале аэропорта, заказал порцию «Будвайзера» и уселся с ним на высокий табурет рядом с деревянным индейцем. Это была всего лишь третья порция пива за день — первые две он выпил дома на кухне перед дорогой, — и он полагал, что не выходит за разумные рамки. Правда, некоторые из его калифорнийских знакомых считали его алкоголиком, потому что ему ничего не стоило выпить в один присест бутылку, или даже полторы, вина «Напа велли» или шесть банок пива за то время, пока по телевизору идет сериал, но они не видели, как пьет настоящий алкоголик, а он видел и поэтому знал, в чем разница.

Его отец, Стивен Валентайн, последние полгода своей жизни прожил как законченный пьяница, не заботясь больше о том, чтобы разбавить утреннюю стопку водки апельсиновым соком или запить предобеденный виски глотком кофе. Он потреблял эти напитки в чистом виде с какой-то отчаянной бравадой, не скрывая больше истинной силы и жестокости томившей его жаж-

---

[15] Примечания: 15
Как поживаешь? (искаж. нем.)

ды. И в этом была своего рода гордость наоборот, упрощавшая положение, освобождавшая их от утомительного и постыдного притворства, жалких отговорок, что, мол, «папочка просто немного устал». Хотя в каком-то смысле так оно и было; он действительно устал, устал безумно от попыток построить жизнь так, как, по его мнению, следовало, устал жить, словно агент под прикрытием, нести в одиночку бремя, которым он не мог поделиться ни с женой, ни с психоаналитиком: бремя законченного неудачника.

Братья быстро научились мириться с его приступами ярости, когда вечерами он кружил вокруг дома, словно смерч, выкрикивая обвинения и пытаясь найти затерявшуюся в прошлом первопричину того, что с ним произошло, неверный поворот, который привел его к краху. Но еще труднее, чем ярость, было выносить приступы грубой сентиментальности, когда он вваливался в детскую, полный желания побыть со своими сыновьями, поиграть с ними, как это делали другие отцы. Но от него несло выпивкой, и они не хотели с ним играть — громогласным, неистовым, отвратительным в своем пьяном восторге. Если Алиса видела, что ситуация выходит из-под контроля, она набрасывалась на него — необузданный ма-

теринский инстинкт, подчинявший себе их всех, грозный и непорочный, — и Стивен закрывался у себя в мастерской или в старой беседке, где Ларри однажды днем увидел его, его спину, поникшие плечи — он сидел среди мешков с прошлогодними яблоками, сосредоточившись на бутылке, работая над ней, а потом вдруг, потревоженный тенью, повернулся к окну и увидел сына, долгим взглядом посмотрел сквозь затянутое паутиной стекло, и этот взгляд открыл Ларри истину — подобные уроки усваиваешь раз и навсегда: не алкоголь убивает пьяницу, а неразделенное бремя душевных мук.

Алек надеялся на Ларри. Ларри надеялся на Алису. Но на кого было надеяться ей? К чьей силе или примеру взывала она в ту ночь, когда на пороге их дома стоял полицейский в сбрызнутой дождем флуоресцентной куртке и спрашивал, не ее ли муж ездил на голубом «ровере». Мальчики, проснувшись от боя часов, выскочили на лестиицу — дверь в коридор была открыта. Они поняли, что случилась авария, — иначе зачем полицейскому заходить к ним в полночь, — но подробности (скользкая дорога, скорость, неосвещенный поворот, машина, вылетевшая за заграждение) они узнавали постепенно, из

разных источников, в течение месяцев и даже лет. Некоторых вещей Ларри так никогда и не узнал: какие именно раны получил отец, умер ли он сразу или какое-то время лежал, лицом прижатый к рулевому колесу, и слушал, как дождь глухо барабанит по крыше машины. Какие мысли приходят в голову человеку в такую минуту, пока нейроны еще не начали беспорядочно взрываться? Почувствовал ли он, что спасен, когда Смерть наконец-то добрела до него по мокрой земле и увела с собой? Ушел ли он простить себя? Хоть чуть-чуть порадоваться?

Ему потребовалась минута, чтобы прийти в себя, вернуться к реальности, — он посмотрел на суетящуюся толпу и с восторгом отметил, что несколько человек практически вляпались друг в друга. Ему отчаянно хотелось курить, но на большей части штата Калифорния в барах курить запрещено, и зажечь здесь сигарету было бы все равно что для Кирсти пройтись по центру Тегерана в бикини. Он допил пиво и направился к стоянке такси, где служитель усадил его в огромный раздолбанный «форд» со стикером на бампере, гласившим: «Если я подрежу тебя, не стреляй!» Ему в нос ударил сильный запах экзотической еды. Ларри спросил, можно ли ему

закурить.

— Ни в коем случае! — заявил водитель, толстый коротышка с безупречными манерами, который, как выяснилось, был родом из города Огбомошо, что в Нигерии, и, судя по тону его голоса, явно разрывался между сочувствием к Ларри и гордостью за экстравагантные запреты своей второй родины.

Ларри кивнул и попытался устроиться поудобнее на пухлом блестящем сиденье, разглядывая проплывающие за окном пустыри, утыканные мотелями, рекламными щитами, мини-маркетами и вагончиками закусочных. Он бывал в этом городе много раз. «Генерал Солнечной долины» в основном снимался на студии где-то в районе улицы Лас-Пальмас, и когда доктор Б. был неотъемлемой частью сценария, его доставляли на съемки в длинном белом лимузине. Но место, где он оказался на этот раз, когда такси свернуло с автострады на Санта-Монику, мегаполис, багровеющий под пологом смога, так и остался для него полной тайной. Слишком яркий, слишком большой, слишком грязный, слишком чужой — возможно, Лос-Анджелес всегда был конечным пунктом его американской одиссеи, фронтиром, которого он так и не смог толком достичь.

Уже десять лет с тех самых пор, как он снялся в своих первых рекламных роликах, когда его теннисная карьера забуксовала, и номер в мировом рейтинге упал до трехзначного, продолжался его роман с этой страной. Он впервые увидел Нью-Йорк, Манхэттен из окна «линкольна» Натана Слейтера, когда в октябрьских сумерках тот вез его в свой офис на семнадцатом этаже, прямо над Медисон-сквер. Тем же вечером в компании двух-трех таких же, как и он, «открытий» Слейтера они отправились в «Палм» в Ист-Сайде поесть омаров. Ларри было двадцать шесть, его заворожили предупредительность Слейтера, сводка бейсбольных новостей по радио (как раз тогда проходил ежегодный чемпионат США по бейсболу), струйки пара, поднимавшиеся из трещин в дорожном полотне, и больше всего — у него даже дух захватило — филигранная красота увенчанных коронами небоскребов (он специально вытягивал шею, чтобы их увидеть).

Для Алисы — и для Алека, наверное, тоже — Культура, Красота и Стиль были понятиями европейскими, или, еще точнее, французскими. Америка ассоциировалась у них с Голливудом, Вегасом и невежеством. С постоянной суматохой и плохой едой. Она была безнадежно вульгарна.

Но для Ларри и его друзей Америка была чем-то вроде последнего оставшегося на земле места, где происходили настоящие события, страной, где человек все еще волен был вписать свою жизнь в историю. После уроков они, шестеро подростков, болтались в закусочных «Уимпи» или «Литл шеф», садились друг напротив друга за стол, посреди которого красовался пластмассовый помидор с кетчупом, и попыхивали «Кравен эз» или «Лаки страйком», выкуривая по полсигареты на раз, потом аккуратно вытряхивали пепел и оставляли вторую половину на завтра. Они зачитывались Луи Ламуром, Жаком Керуаком и Хемингуэем. Некоторые, не Ларри, доросли до Мейлера, Апдайка и Рота. По субботам они собирались у кинотеатров «Гоумонт» или «Одеон», одетые в футбольные куртки с эмблемами американских колледжей из бристольских секонд-хендов, торгующих импортом, и добавляли себе лет, чтобы посмотреть, как Клинт Иствуд или Чарльз Бронсон выходят из самых больших на свете машин и вынимают из плащей самые большие на свете пистолеты. На родительских музыкальных центрах с хромированными панелями они слушали Дилана и Хендрикса, Моутаун, Лу Рида, Тома Петти, Заппу, Патти Смит. Пере-

сыпали свою речь американизмами: «круто», «блеск», «супер», вездесущим «мэн». И между ними само собой разумелось, что рано или поздно они поедут туда, поедут на Запад, оседлают «мустангов» и перемигнутся с девушкой в забегаловке, заказывая яичницу; хотя, насколько Ларри знал, он был единственным из своих друзей, кто действительно туда поехал, единственным, кто воплотил в жизнь то, о чем они бредили, будучи подростками.

Он еще не допил свой первый бокал мартини в «Палм» — первый бокал мартини в жизни, — как Англия показалась ему далеким, сумрачным островом, куда ему было незачем возвращаться, ну разве что съездить иногда в «Бруклендз». Прилетел, улетел. Он оказался лицом к лицу с будущим и почти оцепенел от благодарности и обуявшего его оптимизма. На следующий вечер в апартаментах Слейтера в Гринвидж-Виллидж для него началась вечеринка с рослыми красотками и кокаином, которая продолжалась все то время, пока шла рекламная кампания роскошных автомобилей — вроде британских, — и последовала с ним по всей стране, до самой Калифорнии; жемчужное ожерелье поздних и еще более поздних тусовок становилось все длиннее

с каждой новой маленькой ролью, и наконец, его карьера достигла своей вершины в роли доктора Барри Кечпоула, сделав его почти известным и почти богатым, хотя, что любопытно, все меньше и меньше удовлетворенным, словно в какой-то роковой час, вспомнить который ему было не суждено, он нарушил закон причины и следствия, и с тех пор чем больше он пил, тем меньше пьянел, и чем больше бывал на тусовках, тем меньше удовольствия получал, и вот однажды утром, выйдя в туман Сан-Франциско, он наткнулся на самого себя — беспечного, как мотылек, женатого на женщине, которая плачет во сне, и отца маленькой девочки, которая за свой недолгий век повидала больше докторов, чем иные нормальные и здоровые люди видят за всю жизнь.

Требовались усилия, чтобы разобраться во всем этом. Его жизнь стойко сопротивлялась попыткам ее понять. Похоже, ему не хватало верного языка или чего там еще нужно в таких случаях — книг, времени, лекарств. Он потерял счет людям, которые предлагали ему пройти курс лечения, называли ему имена своих врачей со словами: «Лечит по Юнгу» или: «Гарантирует здоровый сон». Иногда ему казалось, что лучше

всего было бы вернуться в сериал, но Кечпоула в нем больше не было (по жестокой иронии, волею сценариста он отправился в Англию ухаживать за больной матерью), а ссора с Ливервицем была слишком громкой для того, чтобы через неделю вернуться и снова хлебать унижение. Их разрыв был яростным и окончательным, и, по правде сказать, он был рад освободиться от гнетущей бессмысленности, от беспрестанной погони за призраками. Почему, кричал он Ливервицу, почему единственными пациентами клиники всегда оказываются друзья и родственники тех, кто там работает? Это нормально? Но вот уже восемь месяцев у его семьи не было серьезного источника дохода. Его последней оплачиваемой работой стал ноябрьский рекламный ролик «Чудо-хлеба». С тех пор было много обещаний, много разговоров за мятным джулепом и соком пырея, но никаких конкретных предложений. У него на счету в Калифорнийском банке лежало чуть больше десяти тысяч долларов плюс несколько тысяч фунтов стерлингов в Лондоне в акциях и облигациях. Еще были машины — Кирсти ездила на «чероки» девяносто третьего года — и дом, за который он почти расплатился. Кирсти вносила в семейный бюджет свой скромный вклад, работая

на полставки в дневном интернате для людей с трудностями в обучении, но ее заработка едва хватало на оплату телефонных счетов, которые утроились с тех пор, как заболела Алиса. Кокаин тоже не дешевел. А еще были расходы на лекарства от астмы для Эллы, большая часть которых не покрывалась страховкой. Взносы за обучение в ШКДБ[16] и гонорары за фортепианные уроки Йипа. Поездки в Англию. Девочки. Налоги. Выпивка. Хоффман. Продукты. Этому не было ни конца ни края.

Он давно высчитал, сколько сможет унаследовать после смерти Алисы, высчитал, терзаясь от отвращения к самому себе, сразу после того, как у нее обнаружили рак легких, тогда еще в начальной стадии, зимой девяносто пятого. Небольшое будет наследство. Дом выставят на торги, но за старое здание, расположенное на краю топкой вересковой пустоши и требующее основательного ремонта, вряд ли удастся выручить кучу денег, к тому же половина, разумеется, отойдет к Алеку. Стоящие предметы обстановки, то есть обеденный стол, серебряные подсвечники, пара достойных картин, тоже из столовой, и кое-что

[16] Примечания: 16

Школа Кэтрин Дельмар Берк (Katherine Delmar Burke School) — элитная школа для девочек в Калифорнии.

из коллекции старинных часов, которую собрал Стивен, добавят еще три-четыре тысячи. Всего, по его подсчетам, — когда он их делал, то буквально сгорал от стыда — он сможет получить около сорока, ну, пятидесяти тысяч баксов. Но когда? Он уже начал занимать (Кирсти ничего об этом не знала) у людей с бойцовыми собаками в качестве домашних питомцев, у людей, которые говорили: «Мы ведь понимаем друг друга?» или: «Ты классный парень», но которые определенно сумели бы разобраться с нерадивыми должниками.

Ларри и бывший житель Огбомошо въехали в «Город века», на Звездный бульвар, царство небоскребов и подземных торговых комплексов между Кантри-клубом и Ранчо-парком. Несколько секунд спустя они свернули на полукружие подъездной аллеи «Парк-отеля», где швейцар, одетый в красную с золотом ливрею королевского телохранителя, распахнул дверцу такси и оценивающе оглядел Ларри сквозь зеркальные солнечные очки. Ларри расплатился с водителем, отвалив щедрые чаевые. У бедняги было только одно ухо, второе было небрежно откромсано чем-то тупым, возможно, даже откушено. Отрываясь от глянцевой поверхности заднего сиденья, Ларри решил про себя, что этот человек

познал самые темные стороны жизни и мог бы, сумей Ларри подобрать к нему ключ, дать ему немало мудрых советов на этот счет. Помощь, как и неприятности, может прийти откуда угодно. Жаль только, что он упустил свой шанс.

Выйдя из такси, он закурил сигарету, которую сжимал в кулаке с самого аэропорта, и кивнул бифитеру[17].

— Далеко от дома забрались, — сказал он.

— Я из Пасадены, — ответил бифитер. — Вы дантист?

— Нет, — сказал Ларри, слегка задетый подобным предположением.

— Сейчас их в городе пятьдесят тысяч. Конференция.

Ларри слегка присвистнул и попытался представить, как многотысячная армия дантистов в белых халатах марширует, по десять в ряд, по великолепным бульварам и улицам Лос-Анджелеса. Потом, вспомнив строку из стихотворения, которое он декламировал когда-то в школе на конкурсе чтецов и за которое получил почетную грамоту, пробормотал: «Не думал я, что смерть

---

[17] Примечания: 17

Ларри называет швейцара бифитером (прозвище дворцовой стражи в Англии).

сгубила столько...»[18]

— О чем это вы? — нахмурившись, спросил швейцар.

Ларри помотал головой:

— Думаете, будет еще жарче?

— Можете не сомневаться, — сказал бифитер. — Пекло будет адово.

Ларри затянулся в последний раз. Он принадлежал к тем, чьи легкие были настолько вместительны, что позволяли прикончить сигарету за четыре-пять больших затяжек — бумага сворачивалась, обнажая длинную колбаску пепла. Бифитер освободил его от окурка, который унес в какое-то тайное местечко. Ларри сверился с часами. Два пятнадцать по тихоокеанскому времени. Около десяти вечера в Англии, в «Бруклендзе». Дома?

— Спокойной ночи, мама, — сказал он и вошел внутрь, к дантистам.

---

[18] Примечания: 18

Из поэмы Т. С. Элиота (1885–1965) «Бесплодная земля».

8

Во сне Алиса видела, как ее старший сын театрально вылез из-под огромной плакучей ивы в родительском саду и направился к ней, говоря по-французски, что собирается ее спасти. «Je te sauverai, maman. Je te sauverai». Но даже во сне, по вине лекарств готовая в любой момент пробудиться, она понимала, что в этом представлении было что-то нескладное, неправдоподобное. Ларри не говорил по-французски: в шестнадцать он, несмотря на то что она занималась с ним дополнительно, решительно провалил экзамен по этому предмету. Способности к языкам были у Алека, но не Алек улыбался ей, стоя на лужайке. Сон смошенничал, и она проснулась в темноте, сбитая с толку, чувствуя себя так, словно над ней подшутили.

Мало-помалу она пришла в себя и через силу улыбнулась воспоминанию, как целый класс восьмилеток под ее терпеливым руководством нараспев зубрит спряжения французских глаголов.

— Je…?

— SUIS!

— Tu…?

— ES!

Среди них попадались медлительные, задумчивые, говорящие, что в голову взбредет, но выезжающие за счет других. Ей не нравилось их принуждать. У некоторых детей в восемь лет нужная часть мозга еще не работает как следует. Это не лень и не глупость. Действительно глупые дети попадались редко, и она не уставала повторять учителям помоложе: «Никогда не ставьте на ребенке крест. Никогда не думайте, что проблема в нем, а не в вас». Ничего особенно загадочного здесь не было. Алек, например, сидевший в первом ряду, похожий на совенка из-за больших круглых очков, волосы вечно всклокочены, никогда не испытывал трудностей с французским. Частично, и этого нельзя отрицать, благодаря тому что поначалу она сама с ним занималась, а он отчаянно хотел угодить ей — стремление, иногда очаровательное, иногда докучливое, из которого он так по-настоящему и не вырос, даже повзрослев. Она поняла это по тону, каким он рассказывал ей про новую пьесу, — такой же голос бывал у него, когда он приносил ей на проверку домашнее задание, как будто его в любую секунду мог раздавить гигантский палец. Молодец, Алек.

Хороший мальчик. Пойди найди Ларри. Je suis, tu es, il est. Ларри был королем спортплощадки. Капитаном крикетной команды. Капитаном футбольной команды. А потом, когда стал постарше, капитаном теннисной команды. Какой отважный мальчуган! Она всегда была рядом, болея за него до хрипоты на краю футбольного поля или корта на соревнованиях, которые становились все крупнее, сердце билось у нее в горле, когда он метнулся к задней линии, и мальчишка на дальнем краю площадки подпрыгнул в воздух, чтобы достать до мяча. В день, когда он побил того шведа, чье имя, по всей видимости, напрочь выскользнуло у нее из памяти, она была горда, как никогда в жизни. Ей хотелось закричать с трибуны, чтобы услышал весь мир: «Я его мать! Я его мать!» Конечно, Алеку приходилось трудно. Сравнения были неизбежны. Его всегда представляли как «брата Ларри», будто собственного имени у него не было. Но она всегда старалась делить материнскую любовь поровну — насколько это было возможно. Любимчика у нее не было.

Как же звали того шведского мальчишку? Она с минуту рылась в памяти, но тщетно: на месте его имени свежим мазком расплылось черное пятно. Пустота. То же самое с именем старшего

сына миссис Сэмсон, а ведь они говорили о нем только вчера утром, пока миссис С. пылесосила кровать и «раскладывала все по полочкам». И с названиями десятка цветов, и… что это было, что она позабыла третьего дня? Что-то еще, название одной из ее любимых опер или имя диктора радионовостей — его-то она прекрасно знала. То, что ей вспоминалось, зачастую оказывалось совершенно случайным, как будто ее жизнь превратилась в старый чулан, по которому память блуждала, подобно пьяному с фонариком в руке; и перед ней то возникал четкий, как фотография, образ мясного прилавка в «Теско», то вспоминался слово в слово разговор с Тони про ее пуделя. Она не хотела хранить это в своем сознании, не хотела, чтобы последним ее воспоминанием оказался пудель Тони, парящий над ней по ту сторону жизни, подобно флоберовскому попугаю.

Динь! Динь! Динь!..

Маленькие сине-белые часы из яшмы в нише внизу лестницы. Только десять вечера! Какими ужасно длинными стали ночи! Как же ей хотелось, чтобы кто-нибудь положил руку ей на лоб, чтобы кто-нибудь сказал: «Все будет хорошо, все будет хорошо…» Она бы обрадовалась даже бедняге Стивену, тому, каким он был в молодости, в

педагогическом колледже в Бристоле, где они познакомились, попыхивающему своей дурацкой трубкой, отпускающему шуточки, разглагольствующему о политике, с густым манчестерским акцентом — он был уроженцем Сталибриджа. Конечно, он уже тогда пил, но они все пили — это тоже было частью молодости, — много спорили и курили до одури. До рождения Алека он держался в пределах разумного. А потом, вместо того чтобы позволять себе лишку по пятницам и субботам, начинал надираться в пабе по дороге из школы домой и продолжал дома перед телевизором или в мастерской. Думал думу, пил, воображал себе новых недругов, выстраивая свой собственный замысловатый ад. Все говорили, что он стал больше пить после того, как упустил вакансию заведующего кафедрой в школе Короля Альфреда. Были и те, кто видел причину в том, что ему не удалось стать преподавателем колледжа — только средней школы, что он по-настоящему не любил детей, но это было не так. В Стивене что-то сломалось еще до того, как они познакомились. Бог знает, в чем было дело. Разговоры по душам он называл «пустой трепотней», и она устала от попыток его расшевелить. Возможно, он и сам этого не знал, не всегда понимал, что с ним

происходит. Есть вещи, которым трудно найти название. Как ее раку. В чем была его причина? В стрессе? В сигаретах? В несчастливой судьбе? Просто был в ней какой-то тайный изъян. Тоненькая трещинка, которая однажды превращает дом в руины. Никто из нас, думала она, никто из нас не в силах пережить самое себя.

Он часто орал на нее — поначалу это было для нее настоящим потрясением, потому что на нее никто еще так не орал, и она никогда прежде не видела, каким неописуемо отвратительным становится человек, когда так орет. Но ударил он ее только раз, хотя и этого было довольно. Ткнул в спину после идиотской ссоры из-за Каллагэна[19] или профсоюзов. Это было на кухне. Она что-то сказала ему и пошла прочь, как вдруг он набросился на нее и толкнул так, что она пошатнулась и схватилась за стену, чтобы не упасть. На секунду ей стало страшно, от неожиданности она оторопела. Потом повернулась к нему лицом, медленно и спокойно, потому что уже знала, как нужно вести себя с пьяными: так же, как с бешеными собаками. Не показывать страха. И когда их глаза снова встретились, когда

[19] Примечания: 19

Джеймс Каллагэн — британский премьер-министр (1976–1979) от лейбористской партии.

он собрался с духом и посмотрел на нее, между ними разверзлась пропасть, которую им уже не суждено было преодолеть, и почти сразу она ощутила нечто вроде ностальгии, но не по нему, а по тому представлению о собственной жизни, из которого вдруг выросла. Он пил беспробудно весь день перед аварией. В основном водку, но может, и что другое. Полицейские сказали, что в машине нашли бутылки. Надо полагать, разбитые вдребезги.

Несколько месяцев спустя позвонила его мать, поздно вечером, и сказала, что другая женщина спасла бы его. «Ты не любила его так, как надо было любить. Ты не любила его как следует, не любила, Алиса. Тебе должно быть стыдно. Стыдно. Сука». Что? Сука — она так и сказала. И обе долго рыдали в трубки, потом всхлипнули и распрощались навсегда, лишь на дни рождения мальчиков приходили открытки с вложенными в них пятифунтовыми банкнотами.

Трое мужчин за всю жизнь. Едва ли ее можно назвать Мессалиной. Руперт Лэнгли, который был ее первым возлюбленным, партнером по теннису и кавалером, парень, которому она подарила свою девственность. Потом Сэмюэль Пинедо. Потом Стивен. Еще те, с которыми она

неловко обжималась на танцах до замужества, или те, кто — в годы после аварии — приглашал ее на ужин или в театр и целовал на прощание, не выходя из машины.

Она до сих пор иногда играла в «если бы…», гадая, какой могла быть ее жизнь, проживи она ее с Сэмюэлем. Если бы он сделал ей предложение. Если бы она согласилась. Если бы. Ей было тринадцать, когда она познакомилась с ним, с тем, кого «папа знал на войне». Мужчина с черными набриллиантиненными волосами, он стоял в прихожей, прислонившись к подоконнику. Худой, бледный, с сильно выступающим кадыком. Красавцем не назовешь. Но что-то шевельнулось в ней от его пристального взгляда. Она не знала, что это было, не могла подобрать названия, но позже, размышляя об этом, решила, что он был первым мужчиной, который увидел в ней женщину, а не ребенка, и в этом была его щедрость, рыцарство, которое даже почти пятьдесят лет спустя по-прежнему ее завораживало.

У его семьи был алмазный бизнес в Амстердаме. Они были евреями из старинного испанского рода. Абсурд? Когда к власти пришли нацисты, его родителей, дядьев, двоюродных братьев и двух сестер отправили в польские концлагеря. Сэмюэлю

удалось спрятаться, как той девочке, Анне Франк, хотя, конечно же, повезло ему больше. Он спасся. Переправился в Англию в рыбацкой лодке. Через полгода вернулся. Помогал организовывать рейсы спасения, пока его не схватили. После освобождения королева Вильгельмина наградила его медалью, которую он носил в кармане пиджака вместе с сигаретами и зажигалкой.

Когда они встретились снова, ей было уже восемнадцать. Девятнадцать — когда они стали любовниками. Тогда он служил в посольстве в Лондоне, в Гайд-Парк-гейтс, и по выходным приезжал к ним, садясь на поезд на Пэддингтонском вокзале, а она ездила с отцом встречать его, дрожа от ужаса при мысли, что он мог сойти на какой-нибудь другой станции, со своим переброшенным через руку плащом и маленьким чемоданчиком, и теперь улыбается какой-нибудь другой девушке. Ее отец называл его «евреем высшего сорта». Должно быть, он догадывался о том, что происходило за его спиной, но никогда ничего не говорил. В те времена люди предпочитали молчать о подобных вещах.

Жив ли сейчас Сэмюэль? Если жив, ему должно быть около восьмидесяти, — трудно такое представить. Как-то раз она видела его имя в «Таймс».

Член делегации ООН где-то в странах третьего мира — значит, добился успеха. Выбился в люди.

Господи! Однажды они занимались этим в садовом сарае, на верстаке. Порванные чулки, синяки на заднице, бензиновая вонь газонокосилки. Его спина была покрыта шрамами. Десяток багровых рубцов — когда она спросила, откуда они, он подмигнул ей и сказал, что это намять об одной девице из Амстердама, у которой были чересчур длинные ногти. Но ногти не оставляют таких следов. Она часто прикасалась к ним, очень нежно, словно его спина была смятым бархатом, который она могла разгладить своими пальцами. Как он жил со своей болью? А если она все же взяла над ним верх? Может, он тоже начал пить? Или у него был кто-то, кто помогал ему, когда становилось особенно тяжко? По его словам, заниматься любовью было все равно что танцевать. Она практически ничего не знала о сексе до Сэмюэля и после него не узнала почти ничего стоящего.

В тот год, когда умер ее отец, его отозвали обратно в Голландию. Он оставил ей кольцо — не бриллиантовый перстень, а обручальное кольцо своей матери, внутри которого завитушками было написано ее имя: «Марго». Оно было ей слишком мало, да и неправильным было бы его

носить. Это был просто подарок на память. Кольцо маленькой еврейской женщины. Маленькой еврейской женщины, превращенной в пепел.

Как чудесно было бы верить, что она вновь встретится с ним «по ту сторону» — на каком-нибудь небесном коктейле, где каждый будет молод и привлекателен, а Нэт Кинг Коул[20] будет петь «Когда придет любовь». Но она в это не верила, не верила даже, что существует эта «другая сторона». Остатки ее веры смыла химиотерапия. Ночь, что она провела, скорчившись в рвотных судорогах над ведром, а над ней — пустота на многие мили. Никакого милосердного Иисуса. Никаких святых или ангелов. Вера оказалась всего-навсего детской сказкой — прав был Стивен. Надувательство. Осборн был безобидным. Старомодным. «Сутана, припорошенная пылью, забрызганная Божьей росой»[21]. Она позволяла себе дразнить его, а он всегда хорошо относился к мальчикам. Наверное, даже имел на нее виды, когда она овдовела. То и дело заглядывал в гости на стаканчик хереса, предлагал подстричь газон,

---

[20] Примечания: 20

Негритянский джаз-певец, был особенно популярен в 1950-е годы.

[21] Примечания: 21

Строка из стихотворения Р. С. Томаса (1913–2000) — уэльского поэта-священника.

отвозил мешки для мусора, набитые вещами Стивена, на благотворительные распродажи. Хотел ли он добиться ее? Затем ли он бежал через луг, держа наготове свои уловки, стоило ему услышать ее шаги? Ей надо было поговорить с ним. «Давайте без недомолвок, Деннис, милый, я сейчас слишком слаба, чтобы дать вам от ворот поворот». А он потом волен сказать что угодно. То, что окружающим будет легче переварить.

Но неужели все кончится? Неужели она, в чьей голове рождаются все эти мысли, — всего лишь мозг, который умрет, когда израсходует остаток кислорода? Конечно, в ее теле есть что-то еще, незримая тень, часть ее существа, которая любит Моцарта и Сэмюэля Пинедо. Может, это «что-то» будет жить и дальше, хоть как-то? Или загробная жизнь продолжается лишь до тех пор, пока тебя помнят, и ты умираешь — по-настоящему, — когда тебя по-настоящему забывают?

Дети в школе будут помнить ее с год или два. Они подарили ей открытку с надписью: «Скорейшего выздоровления!», нарисовав на обложке школу и старательно написав внутри свои имена, некоторые добавили «целую». «ДОРОГАЯ МИССИС ВАЛЕНТАЙН! МЫ НАДЕЕМСЯ, ЧТО ВЫ СКОРО ПОПРАВИТЕСЬ!» Ряды сияющих чистотой

мордашек, что пристально смотрели на нее во время утренних сборов. Удаляющийся грохот шагов мистера Прайса, который всегда держал спину прямо, словно шест проглотил. Талантливые, все до единого. Вот и утро. Невероятно, но сын Брандо был одним из них. Тогда она уже вела уроки только в одном классе, но ей казалось, что она его помнит, симпатичного мальчика примерно того же возраста, что и Алек. Теперь он врач, как и его отец. Еще один врач! Под конец доктора остаются единственными, с кем поддерживаешь знакомство, хотя Брандо, по крайней мере, настоящий человек. Она могла бы в этом поклясться. Какое облегчение она испытала, когда он заменил Плейфейра, того напыщенного коротышку, который смотрел на нее свысока, потому что она была женщиной. Строил из себя великого умника, а сам не знал ничего.

Когда она приходила на прием к Брандо, прежде чем ее состояние снова ухудшилось — регулярных осмотров он не отменял, — они больше говорили о детях или о себе, чем о раке. Его отец был итальянцем-военнопленным — сидел в лагере под Сомерсетом, а после войны женился на местной девушке и открыл ресторанчик в Бристоле — этим ресторанчиком до сих пор управляет

какой-то его племянник. Брандо говорил, что иногда во сне он чувствует запах домашней поленты, а она со смехом признавалась, что ей часто снится чатни ее матери и дни, когда она его готовила: кухня, полная пара, немного сладкого, немного пряного, который не выветривался и за несколько дней.

Конечно, она видела, что он расстроен, когда пришла за результатами анализов. Как он встретил ее в дверях и усадил на стул, как оперся об угол письменного стола, наклонившись к ней. Она сказала что-то о плохих новостях — новости плохие, ведь так? — и он ответил, что да. В легких снова появились очаги опухоли, кроме того, обнаружились метастазы в мозге. Просто в мозге, не у нее в мозге. Не у тебя в мозге, Алиса. В мозге. Он спросил, хочет ли она посмотреть снимки, но она ответила, что верит ему на слово. В конце концов, удивляться было особенно нечему. Она и так прекрасно знала, что с ней что-то не так, что с ней происходит что-то серьезное. Головная боль не отпускала по два-три дня. Перед глазами волнами плыли искорки. Она прочитала много специальных книг, почти выучила их наизусть. Раковые клетки вели себя «агрессивно». Они не остановились на достигнутом. Ей повезло про-

держаться целых два года.

Во всех книгах пациенту советовали заранее составить список вопросов, записать их, чтобы не сбиться с мысли, но у нее такого списка не было, а знать она хотела то же, что и все. Сколько ей осталось? Глупый вопрос, потому что врачи — не гадалки, и рак не подчиняется расписанию, но Брандо кивнул и задумался, как будто прикидывая в уме, делая сложные вычисления, а потом сказал, что ей следует получить от лета как можно больше удовольствия. Выходите почаще на солнце. Ведь у вас прекрасный сад. Ей понадобилась секунда, чтобы понять смысл его слов, осознать, что осени уже не будет, и уж тем более — зимы. На минуту она словно оглохла, у нее появилось странное ощущение, что причиной ее смерти станут эти самые слова, а не опухоль. Когда к ней вернулся слух, она поняла, что он рассказывает о возможном лечении. Об операции речи не шло, но можно попробовать еще один курс химии в сочетании с радиотерапией — это немного задержит болезнь, затормозит развитие опухоли. Подумайте. Торопиться не нужно. Он сказал, что ему очень жаль, и она знала, что это действительно так. Она спросила, как дела у его сына, а он спросил про ее сыновей. Он все знал

про Ларри и его уход из сериала, про художественные разногласия. Она сказала, что Алек ждет ее на автостоянке в машине, в своем старом «рено», у этого недоразумения переключатель скоростей на передней панели, торчит, словно огромный крюк, — она никак не поймет, почему его туда воткнули, ведь у всех остальных машин в мире переключатель на полу, где же ему еще быть — очень по-французски, все не так, как у людей. Она все говорила и говорила, сбивчиво и невнятно, как вдруг у нее из глаз брызнули слезы. Она не могла совладать с ними — к такому повороту событий невозможно подготовиться, и развязка застала ее врасплох. Что есть у вас, кроме жизни? А потом вы вдруг обнаруживаете себя в каком-то кабинете, куда сквозь жалюзи пробивается солнце, и все выглядит удручающе нормальным, и в этот день вам нужно бы переделать кучу вещей, но все уже кончено. Кончено. Растоптано. И она продолжала плакать, не сдерживая себя, рыдала так, что ей казалось — кожа у нее на лице вот-вот лопнет, и тут Брандо подошел к ней и обнял ее. Без всякой неловкости. Просто мягко прижал ее лицо к своему костюму, будто брал на себя часть ее горя. Плейфейр скорее съел бы свой стетоскоп. Он был физически не способен обнять кого-нибудь.

Очень многие не умеют этого делать, в том-то и беда. Ларри умеет, Алек — нет. Умел Сэмюэль, но не Стивен. На столе лежала коробка бумажных салфеток. Алиса высморкалась и промокнула глаза — осторожно, чтобы не размазать подводку. Когда она дошла до автостоянки, способность себя контролировать полностью к ней вернулась. Вот и все, подумалось ей. По пути домой она рассказала обо всем Алеку. Сжато, очень спокойно, как будто речь шла о каком-нибудь их знакомом или о соседе. Это было почти забавно. На светофоре в конце платного шоссе машина у него трижды глохла, и на секунду она испугалась, что с ним случится обморок, «трясучка», как однажды, когда полиция обнаружила его бредущим по пляжу в Брайтоне в состоянии полной прострации. Но они все же добрались до дома — к вечернему чаю, часов в шесть, и она пошла в сад посмотреть на только что распустившуюся сирень и снова расплакалась, сидя на скамейке у беседки под разлапистыми ветками жимолости, расплакалась от радости, что видит такую красоту, и ей захотелось полететь над картофельными полями, подобно героине одного из южноамериканских романов; Алек помахал ей белым платком из окна на втором этаже. Конечно, ожидание не за-

тянулось. Неделю спустя она была уже так слаба, что ее посадили на пироксетин.

По крайней мере, завещание было в полном порядке, хотя не так давно она подумала, что можно было бы оставить что-нибудь Уне. Поначалу она не очень-то полагалась на Уну О'Коннел. Мечтательная, довольно замкнутая. К тому же ей было трудно сдержать обиду на молодежь. На их цветущее здоровье. У нее было чувство, будто они снисходили до нее. Но у этой девушки были свои достоинства. Умелые руки. Добрая, чуть грустная улыбка. И в каком-то смысле она знала о запущенном раке почти столько же, сколько Брандо. Алек мог бы завтра позвонить адвокатам (приходилось соблюдать осторожность; она и помыслить не могла о пересудах). Потом, когда приедет Ларри, ей нужно будет обсудить с ними похороны, они ведь ничего в этом не смыслят. Похороны Стивена обошлись им почти в две тысячи фунтов, а с тех пор прошло уже двадцать лет. Теперь делают картонные гробы, которые разлагаются вместе с телом. Она даже читала где-то, что можно завещать свое тело на компост, вот забавно. Четыре части растительных отходов на одну часть человеческих. Мальчики сами распорядятся насчет дома. А что они будут делать

с ее одеждой? Раздадут? Сожгут?

Напоследок оставались прощания (казавшиеся бесчисленными, хотя, конечно же, это было не так). Прощания с живыми и с мертвыми, потому что мертвые, те, кто нашел приют у нее в голове, в ее воспоминаниях, тоже уйдут вместе с ней. Больше всего ее угнетала неизвестность: как ей коротать дни, когда она станет совсем беспомощной, когда ее исхудавшее, изнуренное болезнью тело, которое когда-то Сэмюэль Пинедо находил таким привлекательным, превратится в живой труп. Так или иначе, она должна с этим справиться, и, соскальзывая обратно в пучину сна, она представила все свои последние мысли и поступки в виде вереницы солнечных механизмов, стеклянных колбочек, наподобие той, что была у Алека в детстве, с парусами из светочувствительной бумаги, надетыми на штырь, которые сворачивались под стеклом, когда на них падал солнечный свет.

«Je te souverai, — сказали они. — Je te souverai, maman». И она позволила себя успокоить.

9

Алек притушил фонарь и вошел в дом, чтобы позвонить в Америку. Телефон на кухне был самым дальним от спальни Алисы и вряд ли ее побеспокоит, а нужный ему номер из десяти цифр был написан прямо на потрескавшейся стене рядом с телефоном. Ниже был его собственный номер, а сверху — номер больницы и домашний номер Уны. Несколько секунд трубка шипела, словно он поднес к уху морскую раковину, потом пошли гудки. Он насчитал пятнадцать гудков и уже собирался повесить трубку, когда раздался запыхавшийся голос Кирсти.

— Алло?

— Привет, — сказал Алек.

— Ларри?

— Алек.

— Алек! У вас все в порядке?

— Все хорошо.

— Я была в душе, — сказала она. — Только что вернулась из центра. Ну и денек!

— Дзен? — спросил Алек.

— Да. К нам приехал учитель из Киото. Мистер Эндо. — Она рассмеялась. — По-моему, я влю-

билась.

— Поздравляю, — сказал Алек, тоже со смехом, но стараясь не шуметь. Он представил ее, с закинутыми за уши влажными волосами, чуть потемневшими от воды.

— Он раздал нам коаны, — сказала она.

— Коаны?

— Загадки.

— А, — протянул Алек, — как хлопать в ладоши одной рукой…

— Вроде того.

— И какая досталась тебе?

— Черт, — сказала она, — мне кажется, об этом нельзя рассказывать.

— А что будет, когда ты разгадаешь?

— Ну, я получу буддистское имя, это вроде как первая ступень.

— Просветление в рассрочку.

— Не будь таким прожженным британцем, Алек. Я знаю, ты думаешь, это все от безделья.

— Вовсе нет, — ответил он. — Я тебе завидую.

— Как Алиса?

— Ей приходится много отдыхать.

— Брандо все еще приходит?

— Завтра приедет, — сказал Алек. Он не разделял всеобщего энтузиазма насчет Брандо. Весь

этот властный шарм. Он подозревал, что Брандо тоже его недолюбливает. Переводчик. Неудачливый сынок.

— Ларри просто места себе не находит, — сказала Кирсти. — Если бы ему было на что переключиться, но, увы…

— Он не работает?

— Если бы он только мог вернуться в сериал…

— Доктор Барри…

— Я в курсе, что это не Шекспир.

— Никогда не имел ничего против. Он дома?

— Уехал в Лос-Анджелес. По каким-то «делам».

— Он обещал позвонить, — сказал Алек.

— Ну, это же Ларри. Но я знаю, что он хочет поговорить с тобой. Он говорит о тебе больше всех.

— Правда?

— По-моему, он считает, что должен быть сейчас с вами. Может быть. Не знаю. То есть с чего бы ему делиться со мной своими мыслями?

Телефон запищал, как сонар. Алек услышал, как она шмыгнула носом и вздохнула:

— Бедная Алиса. Я правда ее люблю.

— Расслабься, — сказал он, опасаясь, что она разбередит его рану. — Сделай пару дыхательных упражнений.

— Элла, — сказала она, — ты на параллельном

телефоне, детка?

Последовало молчание, потом тихое, нерешительное «да».

— Это твой дядя Алек. Он звонит из Англии. Поздоровайся, детка.

Алек ждал. Наконец невнятное «здравствуйте» пересекло разделявшие их шесть тысяч миль.

— У нас ночь, — сказал он девочке. — Я тут слышал, как в саду ухает сова. Может, ты тоже услышишь ее, когда приедешь на бабушкин день рождения.

— Она ждет не дождется, — сказала Кирсти. — А теперь, малыш, положи трубку и дай мне поговорить с дядей Алеком. Давай, Элла, клади… — Послышался тихий щелчок. — Она постоянно так делает. Мне бы очень хотелось, чтобы она прошла более серьезный курс лечения, но это просто кошмарно дорого.

— Она все еще таскает вещи?

— Вчера вечером Ларри нашел у нее в сапожке мою серьгу. По крайней мере, он знает, где искать. Ты ей нравишься. Алек.

— Мы с ней не виделись целый год.

— Она тебя помнит.

— Ларри уже купил билеты?

— Думаю, да.

— Почему вы не летите все вместе?

— Мне хочется закончить свой курс. Знаю, это эгоистично, но Эндо слишком хорош, чтобы от него отказаться.

— Ты права, — сказал Алек. — Отгадывай свою загадку. А потом приезжай.

— Ты когда-нибудь пробовал массаж головы? — спросила она. — Пальцами двигаешь кожу, как будто моешь волосы.

— Еще один дзен-приемчик?

— У меня в голове не только дзен, Алек. — Она замолчала, вспоминая, чему ее учили на последнем занятии. — Ну, может, ты и прав. Все равно, сделай Алисе такой массаж. Ей станет лучше.

— Только если делать его буду не я, — ответил он. Подобная идея казалась ему нелепой.

— Не такой уж ты и растяпа.

— Спасибо.

— Как там твой румын? Или албанец?

— Венгр.

— Верно, вспомнила. Ты, кажется, говорил, что он — борец за свободу? Как Че Гевара?

— Что-то в этом роде.

— Знаю, тебе сейчас паршиво. Ларри скоро приедет.

— На выручку прискачет!

— Надеюсь, вы не подеретесь.

— Почему мы должны драться?

— Ну, братья иногда дерутся. Помнишь Каина и Авеля? Но, может быть, только ты сможешь ему помочь.

— Помочь Ларри?

— Люди меняются, Алек.

— Правда? Я думал, что они просто становятся больше похожи на самих себя.

Она засмеялась, но невесело.

— Наверное, ты прав.

— Что-нибудь случилось?

— Да нет, все как обычно. Обними за меня Алису.

— Обязательно. Поцелуй за меня Эллу.

— Иди спать. У тебя усталый голос.

— Уже иду, — сказал он. — Береги себя.

— Ты тоже.

— Я уверена, что все как-нибудь устроится.

— Конечно.

— Спасибо, что позвонил.

— Пока.

— Пока.

Алек медленно опустил трубку на рычаг. Помочь Ларри? Что-то новенькое. Ну и дела! На что она намекала? Какие же у него могут быть

неприятности? Он попытался (уставившись в стену, словно в экран) сделать то, чего он не делал уже очень давно: представить жизнь брата как бы со стороны, но понял, что больше ничего о ней не знает — никаких подробностей, о которых можно было бы сказать «как обычно». И потом, что важнее: знать то, как человек живет, или знать его характер? А характер Ларри Алек, по своему собственному мнению, знал все же лучше, чем Кирсти, хотя бы потому, что прожил рядом с ним дольше и сам был в него вписан. Он знал, из какого теста сделан Ларри. Может, она имела в виду «помочь Кирсти». Люди всегда просят о помощи так, что этого сразу и не поймешь.

Он вскипятил чайник, заварил чай в чашке, выбросил чайный пакетик в мусорное ведро и открыл холодильник, чтобы достать молоко. Полки были полны пустых пластиковых коробочек, в которых прежде хранились ингредиенты Алисиной диеты, напоминая о времени, когда она была полна решимости обезопасить себя от возвращения рака, сохранить здоровье, питаясь только самой чистой и полноценной пищей. Поиск такой пищи отнимал много времени и средств, к тому же, как стало ясно, все эти затраты оказались тщетными, не нужна оказалась неусыпная стойкость, с

какой совершались дальние поездки в магазины здоровой пищи за коробками бесформенных овощей, которые выносили к их машине люди, с виду отчаянно нуждающиеся в куске кровяной колбасы. Все, что могло разбудить задремавшее чудовище, было бесповоротно изгнано из кухни, и возможно, благодаря этому ей было даровано несколько месяцев относительного здоровья, хотя, в конце концов, выращенная органическим методом брокколи и семена люцерны не в силах спасти человеческую жизнь… Алек сильнее, чем требовалось, хлопнул дверцей холодильника, потревожив полупустые бутылочки с цветочным эликсиром, витамином С, хрящом акулы, капсулами льняного семени и с десяток других, которые когда-то соблазнительно представлялись необходимыми снадобьями.

Отхлебывая чай, он прошел через гостиную и коротким коридором, пол которого устилал истертый, местами порванный линолеум, вошел в «детскую». За двадцать лет, что прошли с тех пор, как она была их с Ларри прибежищем, комната превратилась в своего рода склад, ветхий музей семейной истории, с полками, полными хлама. Прошлой и позапрошлой ночью он тоже приходил сюда — примерно в это же время, каждый раз

якобы намереваясь определить, что из нанесенных приливами времени ненужностей можно будет оставить, хотя правда (он признался себе в этом лишь сейчас, стоя в дверях) заключалась в том, что эта комната по сей день осталась для него чем-то вроде убежища. Приходя сюда ночью, он получал передышку, упивался царящим покоем, вдыхал легкий наркотик ностальгии.

Некоторые предметы в комнате достигли последней степени обветшания, существуя лишь благодаря окружавшему их глухому лимбу молчания и никчемности. Другие, напротив, заходились от красноречия. Бежево-фиолетовый масляный обогреватель причудливой формы, стоящий на том самом месте, куда его поставили лет пятнадцать назад, тут же воскресил в памяти вечера, когда они возвращались из школы, запах масла, смешанный с запахом жареных сосисок или рыбных палочек и вездесущим дымом Алисиных сигарет. А в коробке, которую он разбирал предыдущей ночью, оказалась желто-коричневая боксерская перчатка — он вытащил ее осторожно, словно редчайшую находку из гробницы фараона, — сиротливое напоминание о его отчаянных поединках с Ларри, драках, которые хоть и начинались без особой злобы, но частень-

ко заканчивались градом диких ударов: Алек валился на пол и ревел от обиды во всю глотку, а Ларри стоял над ним и с опаской поглядывал на дверь, — его ярость уступала место угрызениям совести.

Сегодняшняя коробка, вытащенная на свет висящей под потолком лампочки, когда-то служила тарой для фруктов из супермаркета, название которого было написано у нее на боку крупными зелеными буквами. Внутри — от таких находок кровь всегда мчится по жилам с удвоенной скоростью — он обнаружил остатки мудреной игрушки, которую им подарили, когда ему было лет семь, а Ларри девять или десять: лунный ландшафт из бугристого пластика, с маленьким, похожим на паучка спускательным аппаратом, крайне простым и хрупким, к которому когда-то был прикреплен надувной шарик и который направлялся к лунной поверхности маленькими, работающими на батарейках вентиляторами. Она принадлежала тому времени, когда тема космических путешествий не сходила с первых полос, а дети наклеивали в альбомы фотографии космонавтов. Сейчас ни один уважающий себя ребенок не стал бы тратить время на такую игрушку. Хотя бы потому, что у нее не было экрана.

Под луной, оставшаяся от той же эры, лежала ярко раскрашенная жестяная банка, на крышке которой был нарисован человек в смокинге и с волшебной палочкой в руке. Внутри прятались три красных стаканчика, размером не больше рюмочки для яйца, и шесть шариков величиной с горошину. Буклетик с иллюстрациями в виде нескольких маловразумительных рисунков объяснял, как мановением руки заставить шарики исчезнуть из-под одного стаканчика и возникнуть под другим. Для этого нужно было выучиться незаметно зажимать шарик в складке ладони. Алек несколько раз попробовал это проделать; трюк оказался на удивление сложным, но, по его мнению, относился именно к тем вещам, которые должен уметь делать любой порядочный дядюшка, поэтому он твердо вознамерился как следует его разучить, чтобы было чем развлечь Эллу, когда та приедет.

Еще хлам: стенгазета из школы Короля Альфреда с зернистым снимком, запечатлевшим учеников в день спартакиады — маленькие расплывчатые фигурки, неестественно сосредоточенные, вереницей бегут по огромному серому полю. Линия финиша, которая могла бы придать снимку хоть какой-то контекст, осталась

за кадром, и вместо того, чтобы излучать энергию летнего дня и атлетизм молодости, ребята, казалось, служили иллюстрацией тщетности человеческих стремлений к чему бы то ни было. На другом отксерокопированном снимке перед камерой собралась кучка наряженных в сюртуки подростков с наклеенными усами в день представления школьной пьесы «Как важно быть серьезным», в которой Алек играл Элджернона Монкриффа, — согласно газете, «весьма убедительно», хотя единственное, что он мог об этом вспомнить, так это пунцовое пятно на шее, проступившее от волнения, и желание провалиться сквозь землю.

Коробка с детективной настольной игрой «Клуэдо».

Карточная игра под названием «Пит».

«Дюпельный» пистолет, похожий на автомат, с вполне исправным пружинным механизмом.

Покореженная пластинка Фрэнка Заппы.

Экземпляр «Питера-грязнули»[22] в твердом переплете.

И наконец, упрятанный на самое дно коробки американский журнал с красотками за июнь

---

[22] Примечания: 22

Детская книжка немецкого психиатра Генриха Хоффмана (1844).

1977 года с Мисс Вэлли-Фордж[23] на обложке, одетой в звездно-полосатое бикини и шляпу, как у Дэйви Крокетта[24]. Внутри — темой номера был американский революционный пыл — другие модели надували губки перед дулами пушек или полулежали на диванах, одетые единственно в треуголки, или томно поглядывали из наполненных пеной джакузи, возбуждающе сжимая в руках кремневые пистолеты. С этих фотографий давно уже слетел флер сексуальных обещаний, как будто они были чувствительны к бегу времени. Модели, с их огромными розовыми грудями, выглядели так, словно принадлежали к расе суперкормилиц. Не хватало только самих младенцев, которым следовало бы мелькать на заднем фоне, ползая туда-сюда по вороху оборок и боа. Ему с трудом верилось, что эти женщины, сейчас, возможно, сражающиеся за титулы самых обаятельных бабушек в Амарилло или Гранд-Рэпидс, когда-то были частью его подростковых фантазий. Сейчас их нагота не пробуждала в нем

---

[23] Примечания: 23

Намек на историческую дату: двухсотлетний юбилей американской регулярной армии, берущей начало с тяжелой зимовки войск Вашингтона в долине Вэлли-Фордж.

[24] Примечания: 24

Знаменитый американский первопроходец, меткий стрелок.

ни крупицы желания, они лишь напомнили ему — как напоминали и другие вещи, — что он не занимался сексом уже почти год и что последний его опыт — с Татанией Осгуд, переспавшей почти со всеми его знакомыми, — был настолько жалок, что он ни за что бы не стал о нем упоминать, слишком жалок даже для того, чтобы превратить его в юмористический самоуничижительный рассказик о сексуальном поражении, который мог бы снискать ему сочувствие в определенной компании. Обрывки того вечера, как подборка оживших картинок, отпечатались у него в памяти с какой-то жестокой четкостью. Татания в прихожей его квартиры в Стритхеме, держит в руках пакет из супермаркета, в котором лежат две бутылки вина под названием «Молоко тигрицы». Татания в облегающем черном платье без лифчика на диване в маленькой, заваленной книгами гостиной, излучающая поистине необузданную похоть. Он сам в два часа ночи, целующий ее и запускающий руку ей в колготки. Они вдвоем в постели, она плачет, а он пытается утешить ее за всех бросивших ее любовников. Потом сам акт, лишенная удовольствия, сухая схватка под бормотание телевизора мистера Беквы за стеной. Потом нежная кувалда алкоголя

наконец-то отправила ее в сон, а он лежал рядом, прислушиваясь к ее тяжелому дыханию и думая, что убожество и провал этой ночи были частью куда большего провала и что это цена его робости; что он заслужил такую ночь, и это не в последний раз, потому что у него недостает мужества желать лучшего. Он тогда испытал порыв — это до сих пор ассоциировалось у него с утренним треньканьем молочных бутылок в грузовиках развозчиков — совершить что-нибудь такое, что навсегда отрезало бы ему путь к отступлению, какое-нибудь безумство любви или что-нибудь жестокое, может, даже убийство.

Он отнес игру со стаканчиками и шариками в гостиную, потом, осторожно ступая, поднялся по лестнице и заглянул в комнату матери, которая лежала в полумраке, словно в воде, что двигала ее членами и медленно поворачивала ее лицо то в одну, то в другую сторону.

Ее вдохи напоминали заглушенный вздох удивления, а с каждым выдохом она, казалось, теряла все больше воздуха. Болезнь отлучала ее от кислорода, и, сколько бы ни оставалось у нее дней, которые она проведет в саду, укрывшись пледом, потягивая свой любимый чай и болтая с теми, кто придет ее навестить, процесс, день за

днем приближающий ее к смерти, с безжалостной непреклонностью продолжался, вершил свое лютое дело — почти незаметно для людских глаз. Какой в этом был смысл, кроме чисто биологического? Какой урок можно извлечь, наблюдая за тем, как кто-нибудь умирает? Может, смысл был в том, чтобы еще сильнее столкнуть человека с его собственной жизнью, заставить его увидеть необходимость примириться с ней? Memento mori, как старые надгробия с черепами и песочными часами, напоминающие, что «и ты скоро станешь тем же, что и я»?

Он пытался однажды, вскоре после несчастья со Стивеном, уверовать в Бога и предопределенность всего сущего. Он каждый день выделял время для молитвы: двадцать минут утром и двадцать вечером, становясь на колени, как это было принято, и сложив руки у губ. Он никому об этом не рассказывал, и поначалу ему стало легче, он обрел источник силы и утешения, не зависящий ни от кого — ни от учителей, ни от родителей — людей, которых может внезапно не стать. Потом две молитвы превратились в одну, а двадцать минут съежились до десяти. Он обращался к Богу, но Бог не ответил ему ни слова. Был только его собственный голос, его бесконеч-

ные детские просьбы, ноющие коленки, пока он наконец, словно вновь глотнув свежего воздуха, не бросил все это. У его отца был особый счет к религии, к «теребящим Бога». Алек не знал, была ли верующей Алиса. Он надеялся, что была, хотя в последний раз, когда он видел ее с Осборном, она дразнила священника, заявляя, что стала солнцепоклонницей, «немного ацтеком», что его преподобие, сидевший подле нее с зелеными солнечными очками на носу, похоже, счел ничуть не противоречащим современному англиканству. Любопытно, но она действительно при определенном освещении, в определенное время, с лицом, опухшим от стероидов, со взглядом, заострившимся от страданий, больше походила на старейшину какого-нибудь угрюмого племени великих равнин или тропических лесов, чем на англичанку из среднего класса, директрису на пенсии, его мать, Алису Валентайн.

Она открыла глаза, внезапно, будто вовсе и не спала.

— Ларри? — позвала она.

— Нет, мама, это я.

Молчание, потом слова:

— Ты мне снился.

10

По стилю фойе «Парк-отеля» было чем-то средним между итальянским банком и английским клубом, но его размеры, новостроечный вид и не вполне убедительная деловитость были целиком и полностью местной выделки.

Ларри направился к бару в глубине зала и заказал бармену в тесном белом форменном пиджаке большую порцию «Джима Бима». Конференция была в полном разгаре, и среди фонтанов, мрамора, пухлых диванов и суетящихся посыльных озабоченно бродили несколько сотен мужчин, в основном среднего возраста, вглядываясь в идентификационные таблички друг друга. То тут, то там звучали шумные приветствия — смех служил рекламой: рты гостей сверкали идеально белыми, симметричными зубами. Они все, как один, светились здоровьем, и хотя у них вроде должны быть те же заботы, что и у всего остального мира — сбежавшие дети, алименты, судебные иски за некачественное лечение, — лицо каждого выражало неуемный мальчишеский восторг, и Ларри заподозрил было, что они частенько заглядывают в собственные домашние аптечки.

Истые американцы. Налогоплательщики, фанаты бейсбола. Серьезные люди, жизненный путь которых четок, будто вырезан резцом. Ветераны — некоторые, по крайней мере, — Кореи или Вьетнама. Патриоты. Чем больше Ларри смотрел на них, тем чаще задавался вопросом, как долго еще продлится его добровольное изгнание среди подобных людей, которые теперь казались ему столь же экзотичными, как берберы или малайцы, что ходят босиком по углям. Эта страна словно ускользала от него, или он уже не мог больше не обращать внимания на тонкую броню ее чужести, его чужести. И надо же было увидеть это именно теперь! Оказаться вынужденным признать, что важнее быть где-то своим, нежели просто быть. Но куда же ему податься? Обратно в Англию? Что ему там делать? Он окажется всего лишь поводом для малюсенькой заметки в вечерней газетке: «Возвращение местной теннисной звезды», — а потом безвозвратно сгинет, займется — и это при удачном стечении обстоятельств — рекламой стеклопакетов на телевидении или, может быть, станет теннисным инструктором в местном клубе, где будет сидеть в баре в своей белоснежной форме, выставляя напоказ приобретенный в солярии загар, и флиртовать с несчастными в браке

женщинами.

Он подошел к стойке администратора и поинтересовался, проживает ли в отеле мистер Боун, мистер Т. Боун. Где угодно, кроме Лос-Анджелеса, он получил бы в ответ красноречивый взгляд: «Отвали, много будешь знать...», но в городе, где швейцары одеты как персонажи оперетт Гилберта и Салливана[25], любопытствующим обычно не выражают подобного недоверия. Администраторша, Кимберли Нге, на лацкане у которой красовался значок «Сотрудник месяца», сверилась с монитором и ответила, что мистер Боун действительно проживает у них в отеле. Ларри назвал свое имя, она позвонила в номер и сообщила, что его ждут и что ему следует подняться на лифте на двадцать седьмой этаж «Башни».

— Номер двадцать семь — четырнадцать, сэр. Желаю вам хорошо провести время в нашем отеле.

С «Башней» отель соединяла широкая, устланная бархатистым ковром галерея, стены которой были увешаны фотографиями знаменитостей, когда-то почтивших отель своим присутствием. На самом видном месте был большой снимок

---

[25] Примечания: 25
Комические оперы конца XIX в.

Рейгана: президента запечатлели на просторном балконе, нежащимся в лучах калифорнийского солнца, в окружении полудюжины улыбающихся приближенных. Снова Рейган — у телефона, внимает какому-то историческому сообщению. Рейган с Нэнси — любящая пара, оба загорелые и простодушные.

Дальше висели фотографии побывавших на Луне астронавтов: Армстронга, Олдрина и Коллинза — и хотя время уже поджимало, Ларри остановился, чтобы их рассмотреть. Астронавтов чествовали на приеме, который проходил в отеле и носил пышное название «Обед века». Мероприятие определенно было шикарным. На переднем плане стояли трубачи в униформе, потом около тысячи высокопоставленных гостей и, наконец, сами астронавты в темных костюмах, они выглядели серьезными и невероятно застенчивыми.

В Англии было раннее летнее утро, без чего-то четыре, когда «Игл» коснулся поверхности Моря Ясности. Валентайны, как и все семьи в стране, у которых был телевизор, затаив дыхание, смотрели, как перед ними сквозь треск помех разворачивается флаг истории. Ларри сидел на полу между коленями отца; Алек устроился на диване вместе с Алисой. Будоражащие

воображение отрывочные фразы! Их таинственная лаконичность. «Роджер, у тебя все здорово, пошел». — «Как мы, Хьюстон?» Армстронг, хладнокровный, каким и полагается быть опытному стрелку, направляющий модуль вниз, в то время как в Центре управления сотрудники секретных лабораторий в белых рубашках с тревогой вглядывались в мониторы урчащих компьютеров. Как странно, что именно сегодня ему случилось вновь увидеть этих людей, ставших своего рода символами отчаянного героизма, он ими всегда восхищался. Их фотография казалась ему предупреждением, или напоминанием, или… насмешкой? Интересно, сколько людей помнят, что в одно время с «Аполлоном» на низкой лунной орбите был и русский корабль, «Луна-15», который закончил свой полет, разбившись на скорости триста миль в час в Море Кризисов. «Как я?.. — бормотал он. — Как я?», входя в лифт и поднимаясь на двадцать седьмой этаж в обществе нескольких японских бизнесменов, которые усердно таращились в весьма ограниченную пустоту кабины.

Встреча была назначена на прошлой неделе через молодого актера по имени Ранч, с которым он познакомился на вечеринке у одного из воротил

гламурного бизнеса, владельца шикарного дома в Сосалито. Ранч, в наряде ковбоя от Армани, пытался произвести впечатление на очень высокую чернокожую модель, демонстрируя приемы карате-ката, но девушка, пребывающая в апатии от какого-то снижающего аппетит снадобья, побрела прочь, не дождавшись конца представления, — такое отсутствие интереса привело бы в негодование большинство мужчин, но Ранч просто пожал плечами и с галантным сожалением усмехнулся ей в спину, наблюдая, как она исчезает в соседней комнате, а потом внезапно переключился на Ларри, представившись и отпустив комплимент насчет того, как «чертовски здорово» тот выглядит. Потом они встречались на других вечеринках в других шикарных домах, и Ларри рассказал немного о своих затруднениях, а Ранч пообещал ему помочь, хотя Ларри ни на секунду не верил, что это было сказано всерьез.

Но именно Ранч открыл ему дверь номера 2714; на нем был темный костюм и бордовая открывающая шею рубашка с большим воротником, бачки остро скошены, глаза блестят от утренней чашки чего-то существенно более крепкого, чем кофе. Он обнял Ларри, словно действительно испытывал к нему теплые чувства, и подвел к телеэкрану,

на котором происходило что-то непристойное и чертовски притягательное.

— Что это? — спросил Ларри, поморщившись. Ранч рассмеялся:

— Это внутренний канал. Дантистам такого не показывают!

Он снова рассмеялся.

— Старые козлы, — сказал он и тихо добавил: — Т. Б. на балконе.

Ларри понадеялся было, что это окажется тот же балкон, на котором стоял Рейган на фотографии, но, выйдя на ослепительный солнечный свет, понял, что это более скромный балкон, которому было далеко до того уровня роскоши.

Т. Боун полулежал в шезлонге в затененном углу. Он не встал навстречу Ларри, лишь улыбнулся и протянул маленькую мягкую руку, похожую на лапку крота.

— Отсюда очень неплохой вид, — сказал он, слегка кивнув головой туда, где послеполуденное солнце и накопившийся за день углекислый газ смешались над Лос-Анджелесом в тонкую пелену, отчего здания казались высеченными из тумана. — Когда-то там, внизу, играла Ширли Темпл. А еще раньше здесь было ранчо Тома Микса. Нам нравится принимать здесь новых друзей. Это

создает определенную атмосферу. Садитесь, сэр. Ранч, принеси мистеру Ларри выпить чего-нибудь холодного и взрывоопасного.

— Уже несу, — ответил Ранч.

И тут же скрылся за шторами, направившись в спальню.

— Первоклассный парень, — сказал Т. Боун, конфиденциально наклонившись к Ларри. — Его нашли в саквояже в дамской уборной на Центральном вокзале. Почти не вылезает из-за решетки. Верит, что встретится со своей матерью «по ту сторону», бедняга. Скажи-ка, Ларри, правда, что детям в Англии до сих пор дарят копилки святого Бернарда, чтобы они собирали деньги для сирот?

— Не знаю, — ответил Ларри, смутно припоминая, что у них с Алеком была такая копилка. Маленький желтый домик с прорезью в крыше.

— Надеюсь, что да, — сказал Т. Боун, откидываясь назад и улыбаясь из своей тени. — Это заставляет их думать о тех, кому меньше везет. Сейчас такое не часто встретишь. N'est-çe pas?[26]

— Империя доживает последние дни, — небрежно ответил Ларри.

---

[26] Примечания: 26
Не так ли? (фр.)

— О, пока еще нет, — сказал Т. Боун. — Нет. Я думаю, время у нас еще есть.

В этом человеке, подумал Ларри, обмениваясь с собеседником насмешливым взглядом, таятся такие способности к обману, что никому не под силу их исчерпать. На первый взгляд он казался добродушным, слегка эксцентричным пожилым мужчиной за шестьдесят, невероятно похожим на постаревшего Джона Бетжемена. На нем была гавайская рубаха, шорты цвета хаки, а на очень белых ногах — что-то вроде ортопедических носков из эластичного бинта, торчащих из начищенных до зеркального блеска грубых ботинок. Его акцент воскрешал в памяти старомодную речь английской аристократии, которую нечасто можно услышать с тех пор, как умер Ноэль Кауард, но под ним, как кусок старых обоев под побелкой, Ларри разобрал другой голос, отвратительный, грубый язык жителя городских окраин — его обладателя было нетрудно представить где-нибудь в пятидесятых: молодой хулиган с напомаженными волосами, слоняющийся по разрушенному бомбежками и дождями городу вроде Плимута или Слоу, с заточенной железной расческой в кармане.

Вместе с Ранчем прибыл холодный и взрыво-

опасный напиток, синий по цвету, сухой, как джин, и превосходный на вкус. Ранч с Ларри надели темные очки, за чем последовали десять минут светской беседы о жаре, о достоинствах мексиканской кухни, о комете.

Наконец, после долгой паузы, во время которой тишину нарушало лишь Позвякивание льда в бокалах, Т. Боун произнес:

— Мы все восхищались вами в роли доктора Барри.

— Господь свидетель, — добавил Ранч.

— Спасибо, — сказал Ларри.

— Им следовало лучше вас использовать, — продолжал Т. Боун, — но телевидением заправляют одни болваны. Вы со мной согласны?

— Болваны, — прогудел Ранч, будто он находился на собрании «ривайвелистов»[27].

— Я рад, что покончил с этим, — сказал Ларри, уголком глаза наблюдая, как Ранч подкидывает орешки в воздух и ловко ловит их ртом.

— У нас есть небольшой проект, — сказал Т. Боун, — который, как нам кажется, отлично вам подойдет. Ничего из ряда вон выходящего. Зрелище из тех, какими тысячи здоровых американцев

---

[27] Примечания: 27
Американская религиозная протестантская секта.

наслаждаются каждый день.

— Если не считать того, — заметил Ранч, кладя руку на плечо Ларри, — что как раз американцы его и не увидят.

— Именно так, — сказал Т. Боун. — Вас дублируют на португальский и испанский для нашего южноамериканского рынка. «Солнечную долину» несколько месяцев показывали в Бразилии и Аргентине. Вы там очень популярны. Особенно, надо полагать, у смуглых домохозяек.

— У вас есть поклонники в таких местах, о которых вы и не слыхивали, — сказал Ранч. — Бакабаль, Зик-Зик…

— Мы снимаем наши фильмы в очень простой манере, — сказал Т. Боун с видом сэра Ральфа Ричардсона в роли папы Борджиа. — Сохраняем верность правде жизни. Наш бизнес держится на энтузиастах.

— Сколько времени займут съемки? — спросил Ларри.

— Неделю, — ответил Ранч, — максимум две.

— За которые мы предлагаем вам гонорар в размере двадцати тысяч долларов, — добавил Т. Боун. — Естественно, мы хотели бы предложить больше, но в наше время приходится конкурировать с Интернетом. Тем не менее мы можем

устроить выплату таким образом, что вам не придется беспокоиться о господах из налогового департамента.

— И мне не придется делать ничего, за что можно угодить в тюрьму?

— Все только кошерное, — сказал Ранч.

— Ни Лолит, ни животных?

— Я отец, — сказал Т. Боун, — и любитель природы.

— Еще одно, — сказал Ларри. — Я собираюсь в Англию на следующей неделе. Сколько там пробуду, не знаю. Но думаю, что недолго.

— Я возьму это на заметку, — сказал Ранч, подкидывая в воздух очередной орех.

На двадцать семь этажей ниже, где однажды играла Ширли Темпл, одинокий пловец рывками двигался по зеленому глазу бассейна. Взад-вперед, взад-вперед, как водяной жук. В такой день приятно поплавать, но в том, как двигалась эта фигурка, было что-то раздражающее. Определенно, пловец намерял дневную норму дорожек, приводя себя в форму, но его усилия выглядели жалкими и безнадежными, как у того грека в аду, который весь день толкал огромный камень вверх по склону горы, чтобы увидеть, как тот снова и снова скатывается вниз.

— Отлично, — сказал Ларри. — Согласен! Считайте, что я в игре.

— Для нас это великий день, Ларри, — сказал Ранч, хлопая в ладоши.

— Чрезвычайно рад, — сказал Т. Боун. — Счастлив и все такое.

— И что теперь? — спросил Ларри, переводя взгляд с Ранча на Т. Боуна, понимая, что от него ждут чего-то еще.

— Вами займется Ранч, — ответил Т. Боун, вытаскивая из-под своего шезлонга экземпляр «Голливудского репортера». — А потом перекусим — chez moi[28].

Ларри последовал за Ранчем в ванную, спрашивая себя, высока ли статистика убийств в лос-анджелесских отелях. В ванной на полочке над сверкающей раковиной лежала карточка, доводящая до сведения, что горничную зовут Милагрос — имя было выведено неуверенным почерком, — и она гордится результатом своей работы.

— Мы видели только ваше лицо, — сказал Ранч, усаживаясь поудобнее на крышку унитаза под потоком льющегося с потолка света.

---

[28] Примечания: 28
У меня (фр.).

— А, — воскликнул Ларри. — Так это прослушивание?

— Классная штука, — заявил Ранч. — Обожаю девочек.

— Да запросто, — сказал Ларри.

И принялся раздеваться.

11

Кароль пришел в самом начале десятого и принес с собой маленький, но очень красивый букетик маков. Еще он принес атмосферу улиц, по которым шел, ту слегка лихорадочную атмосферу Парижа в час, когда затянувшиеся сумерки уступают место ночи и огни знаменитых кафе начинают сверкать особенно ярко; романтический час, когда невозможно не чувствовать радостного возбуждения, надежды на приключение. Ласло повесил плащ Кароля на крючок возле двери — мокрая ткань свежо пахла ливнем — и повел друга в гостиную, где, к его великому облегчению, накал страстей уже поутих. По крайней мере, когда он туда вошел, все вели себя вполне нормально.

Курт откупорил бутылку шампанского, а Кароль — еще один изгнанник с Востока, хотя время его исхода относилось к шестьдесят восьмому, а не к пятьдесят шестому году, — рассказал историю о бродяге в метро, который подошел к модно одетой молодой женщине и умолял ее стать его подружкой, и как вежливо и изящно — это произвело впечатление на весь вагон —

она его отшила. Другие тоже стали рассказывать истории про метро, а Ласло отправился на кухню. Несмотря на «сцену с пистолетом», ни одно блюдо не испортилось, особенно телятина — поданная в маленьких сверточках из пергаментной бумаги, она нежилась в соусе из сладкого пармезана и молодых луковиц. Роль десерта предназначалась tarte tatin и creme anglaise[29], с чашками крепчайшего кофе и бокалами кальвадоса. Оставив тарелки на столе, они удобно расположились вокруг при мягком свете лампы и трех свечей. Курт с Лоранс курили сигареты. Ласло с Франклином — маленькие сигары. Дым ленивыми кругами вился в сумраке под потолком. Кароль, писатель, который много лет не имел возможности публиковать свои работы на родном языке и поэтому имел пунктик насчет перевода, спросил Ласло, как идут дела с английской версией «Oxygène», и Ласло рассказал ему о молодом переводчике-англичанине, Александре…

— Курт, как фамилия того парня?

— Валентайн.

— Да, именно так. Приятное имя. Словно из романа Стендаля.

---

[29] Примечания: 29
Яблочный пирог со сливочным кремом (фр.).

— А как же другой? — спросила Лоранс. — Тот, с яхтой?

— Никто не знает, — ответил Курт. — Испарился.

— Бедняга, — сказала Лоранс.

— Не пора ли тебе, Ласло, — игриво спросил Кароль, — написать что-нибудь со счастливым концом?

— Хотелось бы, — ответил Ласло, — но тогда это будет сказка. Вещь для детей.

— У Ласло кишка тонка придумать счастливый конец, — заявил Франклин, угощаясь дополнительной порцией кальвадоса. — Намного безопаснее в эпилоге вывалять всех в дерьме.

Лоранс принялась выговаривать мужу. Ласло поднял руку.

— Не надо, моя милая. Может, он и прав. Просто в моем возрасте трудно посмотреть на мир другими глазами. Мы ведь составляем мнение о нем еще в молодости, а потом всю жизнь собираем доказательства тому, что увидели.

— Телефон, — сказал Курт.

— Пусть звонит, — ответил Ласло.

— Скажи мне, — спросил Кароль, кладя огромную руку на худое плечо Ласло, — какое из твоих воспоминаний самое счастливое?

— Чтобы ты украл его и использовал в своей очередной книге?

— Слушай, я расскажу тебе свое, — заявил Франклин, растягивая слова и тяжело облокачиваясь на стол. — Корея, двадцать четвертое декабря пятидесятого года. Мы, кучка пехотинцев, сидим на берегу в Хуньнаме и ждем, когда за нами придет десантный катер. Морячки крутят через громкоговорители «Белое Рождество», а мы греем банки с томатным супом. Уже неделю мы не мылись, не брились, не меняли одежду. Олли Уоранд из Мишн-Виехо. Датч Бибал из Балтимора. Сержант Стоффер, Уолт Бейтман. Еще трое или четверо из третьего пехотного. Многие наши друзья так и остались навечно в той дерьмовой стране, но у нас было полно курева, и мы ехали домой. Помню, я просто пялился на огонь и нюхал суп — черт, когда голоден, во всем мире нет запаха лучше. И слушал, как над берегом разносится пение Кросби, а ребята тихонько рассказывают, что собираются делать, когда вернутся в Штаты. Мечтают о девчонках, выпивке и бейсболе. Такой был холодный, тихий день. Канун Рождества тысячу лет назад. Мне было девятнадцать. Девятнадцать, боже правый. И только когда я вернулся в Су-Сити, вылез из униформы и попытался наладить

жизнь, меня внезапно осенило, как счастлив я был, сидя там, на берегу. Так счастлив, что даже через много лет, стоило мне открыть банку «Кэмпбелла», у меня по коже бежали мурашки. Клянусь, я всегда покупал его, когда мне бывало хреново. Думаю, я был супоманом.

— А ты когда-нибудь рисовал это? — спросил Курт. — Тех людей на берегу?

— Если бы я рисовал это, то что-нибудь изменил бы, так что я решил за эту сцену не браться. Тем более, — сказал он, усмехаясь, — что ее нарисовал Уорхол.

— Кто следующий? — спросила Лоранс.

Кароль раскрутил на столе нож. Нож указал на Курта.

— Мне нравится думать, — сказал Курт с серьезным и спокойным выражением лица, выражением, которое обожал Ласло, — что у меня еще нет самого счастливого воспоминания. То есть что самое большое счастье у меня еще впереди…

— Сразу видно оптимиста, — сказал Кароль.

— Но я часто вспоминаю один день, который провел с отцом на Старом Дунае под Веной. Папа работал на фабрике покрышек в Семперите. У него не было образования. Он работал руками, спиной. Работал на износ. Но летом по утрам

в воскресенье он всегда будил меня до восхода солнца, мы брали удочки и сети и ехали на реку. Рыбак из меня был никудышный. Бездарный. Но в тот день я закинул удочку и поймал самую красивую форель во всей Австрии. Клянусь, она была длиной с мою руку, а когда я сматывал леску, вода в реке пылала от восходящего солнца, и казалось, что я тащу рыбину из кипящей лавы! Когда мы вернулись домой, я подарил ее маме. Вы ведь знаете мальчишек. Я вручил ее, словно голову дракона, сраженного в честном бою. Мама поцеловала меня и непонятно почему заплакала. Плакала и улыбалась. Думаю, она мной гордилась. — Он пожал плечами. — Не знаю, почему именно этот день запомнился, а другие, тоже хорошие, позабылись. Может, это был последний полностью невинный день моей жизни…

— Нет! — запротестовала Лоранс, которой была ненавистна любая мысль о невосполнимых утратах. — Ты и сейчас все тот же мальчик. Ведь правда, Ласло?

— По сравнению с такими прожженными стариками, как мы, — сказал тот, — ты невинен, как мальчик из церковного хора. Из венского церковного хора!

— Твоя очередь, Лоранс, — сказал Кароль.

Она устало улыбнулась и медленно покрутила одно из своих колец. С тремя маленькими сапфирами.

— Боюсь, самый счастливый день моей жизни — это день моего первого свидания с Франклином.

— О боже! — воскликнул Франклин.

— Мне было двадцать два года, и одета я была в кремовое шелковое платье в розочках. На Франклине был костюм, который он одолжил у…

— Эда Салливана, сейчас он уже умер.

— Не мешай ей рассказывать, — сказал Ласло.

— Мы пошли в «Ла Куполь». Франклин был уверен, что там собираются толпы знаменитых писателей и художников, но даже в те годы там собирались в основном американские туристы. Мы пили мартини с оливками, наколотыми на палочки для коктейля, как в кино. Я думала о том, как рассердился бы отец, узнай он об этом. Он был убежден, что женщины не должны пить ничего крепче вина. А потом, боже мой, Франклин заявляет мне, что у него совсем нет денег, ни единого су, и что нам придется сбежать, когда официант будет смотреть в другую сторону. Вот почему он выбрал столик поближе к двери! Я не знала, что и думать. Это такой американский юмор?

Мне нужно смеяться? Как-никак я все еще не пропускала ни одной воскресной мессы в церкви Сент-Антуан. Но тут он схватил меня за руку, и мы помчались, как Бонни и Клайд, вниз по бульвару Монпарнас. Я так испугалась, что едва могла дышать. Я была уверена, что официанты за нами гонятся — вы же знаете, какие свирепые в «Ла Куполь» официанты, — но когда мы добежали до улицы Порт-Ройял… — У нее сорвался голос. — Я уже немного в него влюбилась.

— Как романтично, — вздохнул Курт.

— Помню, на ней были красные трусики, — сказал Франклин. — Если уж совсем точно, что-то среднее между карминным и коричневым. В темноте трудно было разобрать.

— Франклин! — воскликнула Лоранс. — Ты увидел их только потому, что заставил меня перелезть через решетку Люксембургского сада.

— В то время она была настоящей красавицей, — сказал Франклин.

— Она и сейчас красавица, — сказал Кароль.

Франклин кивнул:

— Вот Ласло помнит.

— А вот теперь ты расчувствовался, — сказал Кароль.

— Ласло? — Лоранс повернулась к нему. — Ин-

тересно, сумею я угадать твой самый счастливый момент?

— Уверен, что сможешь, — ответил Ласло. — Потому что я много раз тебе о нем рассказывал. Ноябрьский день пятьдесят третьего, когда Венгрия играла с Англией на лондонском футбольном поле. На стадионе Уэмбли. Никому еще не удавалось побить англичан на их собственном поле. Разве такая страна, как Венгрия, могла на это надеяться? Конечно, правительство желало этой победы, чтобы доказать состоятельность режима. Но обычные люди просто хотели, чтобы мир нас заметил, чтобы все увидели, что Сталин с Ракоши не до конца нас угробили. Но чтобы победить на Уэмбли? Невозможно! И все же мы очень этого хотели и почти поверили, что наша мысленная мольба поможет нашей команде. Возможно, в этом и было дело. Но в тот день произошло чудо. Венгрия победила со счетом шесть — три!

— Ур-ра! — протрубил Кароль, который лучше всех понимал значение той победы.

— Вся страна собралась у радиоприемников, и каждый раз, когда наши забивали гол, во всех домах, на всех улицах гремели крики болельщиков. По моему скромному мнению, это был самый

великий день в истории венгерского спорта. Мне было пятнадцать. Все так радовались, будто праздновали Иванов день. Ференц Пушкаш стал героем сборной. А капитана английской команды звали… Хайт… Байт…

— После пятьдесят шестого почти вся команда эмигрировала, — сказал Кароль.

— Точно. Тибор с Кочишем играли за «Барселону». Пушкаш перешел в мадридский «Реал», но в восемьдесят первом вернулся обратно в Венгрию.

— Почти что счастливый конец, — сказал Франклин. — Устройте себе парочку революций и живите спокойно.

— Egeszegedre![30] — воскликнул Курт, который знал с десяток слов по-венгерски.

Все подняли бокалы.

Кароль, как самый старший, говорил последним. Он сказал, что у каждой жизненной поры есть свое счастье. Из детства он вынес воспоминание о том, как спал на кухне на коленях у матери — чувство первозданного покоя, которое вселяла в него теплота, исходившая от печи и от коленей женщины, которая всегда будет любить

---

[30] Примечания: 30
Ваше здоровье! (венг.)

тебя сильнее всех женщин на свете. Потом, в Пражскую весну, был восторг сопротивления, эротический пыл бунта, трепет настоящего страха. Возможность проявить мужество! Позже — спокойное счастье творчества, счастье писать книги и видеть, как ими восхищаются и уважают их. Ясность мысли. Удовлетворение от исполнения сокровенных желаний. Облегчение от того, что поражение тебя миновало.

— И наконец, — сказал он, сдвигая густые поседевшие брови, — есть счастье, которое действительно неуловимо и которому очень трудно придумать название, оно вездесуще, как волшебная пыль. Я почувствовал это всего несколько недель назад. Мне предложили прочитать лекцию в Дюссельдорфе. Там я встретил кое-кого из старых друзей — ты ведь знаешь Крюгера, Ласло, — и мы немного выпили, по паре бокалов вина, не больше. Потом пришла машина, чтобы отвезти меня на вокзал, и мы поехали через незнакомый мне район. Был пасмурный весенний день, довольно холодный и ветреный. Я думал о самых обычных вещах. Что буду читать в поезде. Успею ли позвонить дочке. Я выглянул в боковое стекло. Мы ехали через мост, обыкновенный каменный мост, совершенно ничем не

примечательный. И вдруг я ощутил блаженство, оно захлестнуло меня, как может захлестнуть услышанная в нужный момент мелодия. Все длилось считанные минуты. Было такое чувство, что настоящее схватило меня и, как следует встряхнув, пробудило — прошу прощения — мою бессмертную душу, в существование которой я, по большому счету, мало верил. И все это время водитель машины ехал сквозь поток транспорта, не имея ни малейшего понятия, что на сидящего у него за спиной пассажира снизошло озарение.

Ласло взглянул на книжную полку, где в полутьме прятался застреленный томик Рильке.

— И мы, — начал он, — привыкшие мыслить/ счастье в подъеме, были бы тронуты/ были бы поражены/ когда падает счастье[31].

Кароль, обнявшись с каждым, ушел сразу после полуночи. Франклин с Лоранс последовали за ним через несколько минут, оба в тихой грусти от воспоминаний о радостях, которые остались так далеко в прошлом. Курт с Ласло отнесли грязные тарелки на кухню, после чего Курт удалился в спальню, чтобы перед сном, как обычно,

---

[31] Примечания: 31

Заключительные строки «Дуинских элегий» Р. М. Рильке в переводе В. Микушевича.

сделать несколько сложных йоговских упражнений. Ласло вернулся в гостиную, выключил лампу и, послюнив пальцы, потушил две свечи. Усталости не было. Он сел и стал смотреть на оставшуюся свечу. От кальвадоса у него началась небольшая изжога, а разговоры о счастье всколыхнули мысли, не покончив с которыми, он не смог бы уснуть. Конечно, сами по себе все эти истории были довольно банальными: рыбина, банка с супом, побег из бара, футбольный матч, но счастье — это что-то неуловимое, как любовь, и чтобы описать его, нужны такие же нежные слова. Для начала его нужно разделить на две основные категории: счастье, которое осознаешь сразу же, и то, о котором догадываешься, когда оно уже позади, как у Франклина с его солдатами на берегу. Еще есть счастье, очевидное всем, как в день того футбольного матча, когда радость читалась на лице каждого. И счастье тайное, как его любовь к Петеру, почти бремя, как будто он выиграл в лотерею и никому не мог об этом рассказать. Полное счастье встречается редко, это удел детей, наркоманов и религиозных фанатиков. Чаще встречается то, о котором упомянул Кароль, хотя оно и заставляет поволноваться: счастье, сотканное из своей противоположности;

парадокс войн и революций, когда сердце бьется с такой силой, что рождает чувства доселе неведомые. Упоение страхом. Вожделение скорби. Нежная, сентиментальная ненависть. В тот год в Венгрии больше трех тысяч потеряли жизнь, и еще тысячи — свободу. И все же все те, кто был свидетелем тех событий — большинство, — радовались этому, гордились своей борьбой и своим самопожертвованием. Они сыграли свою роль: истории не удалось застичь их врасплох. И хотя ничто не могло возместить им потерю страны и друзей, память о тех осенних днях стала символом веры. Но для Ласло все было совсем не так. Как мог он оглядываться назад, если позади был только стыд? Разве мог он гордиться тем, что оказался тогда полным ничтожеством? Нет. Ему не хотелось этого вспоминать. Ему хотелось забыть. Забыть навсегда. Но каждый раз его попытки оказывались напрасными, прошлое снова и снова одерживало над ним верх, хотя и не всегда так сокрушительно, как в прошлом году, когда, он, сделав над собой усилие, принял участие в праздновании сороковой годовщины восстания в Париже. Ему всегда удавалось избегать этих сборищ, заблаговременно уезжая из города и говоря всем, кто спрашивал «почему?», что у него

аллергия на ностальгию. Но на этот раз он получил столько настойчивых приглашений, что не мог не прийти, никого не обидев, и они с Куртом сели в «ситроен» и отправились на кладбище Пер-Лашез постоять у пустой «могилы» Имре Надя, а потом в отеле рядом с Восточным вокзалом, где, вклинившись между свадебными приемами, ветераны сняли банкетный зал.

Вокруг Ласло собрались люди, решительно вступившие в последнюю треть своей жизни, многие выглядели специалистами в своем деле и все как один внушали глубокое уважение. Поседевшие, набравшие толику лишнего веса, одетые в костюмы и платья из французских универмагов, это были те самые борцы за свободу, которые кидали бутылки с «коктейлем Молотова» на радиаторы Т-34. Дрались в ожесточенных уличных боях у пассажа Корвин, на площадях Сена и Чепель и видели, как их друзья, соседи и сослуживцы гибнут от разрывающихся снарядов или — случайно — под колесами броневиков. Они рассказывали свои истории — одни и те же уже не один десяток лет — словно впервые, с серьезностью людей, от которых требуется передать всю соль в двух словах, чтобы вновь не потерять своих близких, не похоронить их в молчании

вместо земли.

— Янчи был на улице Вилльяни, когда пришли танки. Он прожил еще час. У нас даже гроба для него не было…

— Мы нашли Еву у моста Сабадшаг. Ей было шестнадцать. Она все еще сжимала в руке пистолет. Кто-то накрыл ее лицо плащом…

— Мы с Адамом вместе учились в школе. Начали работать на электростанции в Эдьеше в один и тот же день. Его арестовали в декабре в доме у его дяди. Мы его никогда больше не видели…

В тот день Ласло — рассчитывавший задержаться на полчаса, пожать несколько рук и убраться восвояси до того, как кто-нибудь начнет читать стихи, — то и дело неожиданно для себя обнимался с незнакомцами, которые отныне незнакомцами больше не были. Адвокат, тридцать лет просидевший в конторе на бульваре Бомарше. Женщина, приехавшая из Лилля, тщетно пытавшаяся скрыть шрам на шее платком от Эрмеса. Низенький хромой человечек с серебряными волосами, работавший механиком в Одиннадцатом округе (он вручил Ласло визитку), который рассмешил всех рассказом про то, как в лагере беженцев в Вене одна женщина угостила его двумя апельсинами и как он тщательно

спрятал один из них, не веря, что ему еще раз повстречается такая богачка. Было еще много разных историй, пока, под гнетом нахлынувших воспоминаний, выпив изрядную порцию коньяка «Палика», Ласло в конце концов не рассказал свою собственную — историю Петера Кошари. Рассказывая, он несколько раз вытирал глаза рукавом пиджака, и низенький механик, слушавший его — исповедовавший его, — тоже разрыдался, ибо таков был эмоциональный накал в этом привыкшем к беззаботной болтовне банкетном зале, а потом принялся утешать Ласло (который уже был на грани истерики) словами:

— Нет, нет, друг мой, вы не смогли бы спасти его. Вы не могли спасти его, иначе вы бы это сделали.

Но логика этой фразы на Ласло не подействовала, и на протяжении нескольких недель, за которые улицы успели обрасти рождественскими гирляндами, а Курт украсил квартиру еловыми ветками и надписал пачку поздравительных открыток, он странствовал по бескрайним серым просторам депрессии. Спал по четырнадцать—пятнадцать часов кряду. Его то и дело прошибал пот, случались внезапные приступы страха — особенно сильный застиг его на станции мет-

ро «Одеон», выйти откуда ему помог какой-то турист. Встревожившись, Курт записал его на прием к доктору Ураму, психотерапевту из Сальпетриера, и Ласло позволил доброму доктору измерить ему давление, посветить крошечным фонариком во все отверстия его тела, целую минуту вслушиваться в биение его сердца и, наконец, вручить ему счет на двести пятьдесят франков и рецепт на прозак. Ласло оплатил счет, а рецепт выбросил в первую же урну на бульваре л'Опиталь. Он не верил, что таблетки способны помочь в те часы, когда жизнь входит в тебя с потерей, которую невозможно пережить. Но ради Курта он заставил себя вставать вовремя и проводить несколько часов за письменным столом, и, действуя как нормальный человек, не подверженный ни чрезмерной радости, ни слишком глубокому горю, он обрел душевный покой, даже некоторый оптимизм, дразнивший его мыслью, что еще не вечер, что жизнь даже теперь — особенно теперь — может сделать ему сюрприз и показать вход в сад, где он еще никогда не гулял и где, словно в сказке со счастливым концом, ему все простится. Абсурд, конечно, но все же…

Он услышал, как зашумела вода в туалете, и посмотрел на часы. Час двадцать. Пора было самому

укладываться спать, но догорающая свеча, вернее то, что от нее осталось, пляшущим на фитильке пламенем заворожила его, и он не услышал, как Курт, тихонько ступая, прошел по коридору, заглянул в комнату и замер, с нежностью и заботой глядя на своего возлюбленного, слушая, как тот шепчет в пространство имя человека, которого уже несколько месяцев звал во сне.

12

Т. Б. жил в скромном доме с фальшивой лепниной напротив пиццерии «Домино» в самом сердце долины Сан-Фернандо. На крыльце Ларри встретила рыхлая, консервативно одетая американская матрона. Она только что сделала прическу, и кончики ее волос светились кислотно-синим цветом пищевого красителя.

— Боже мой! — воскликнула она. — Боже мой! Да это же «доктор Барри»!

— Рад познакомиться, — сказал Ларри, соскальзывая на невнятные англицизмы доктора, с деланым акцентом не хуже, чем у Т. Боуна. Он пожал ей руку. Она — миссис Боун? Он решил последовать примеру Ранча и называть ее Бетти.

— Это все равно что принимать у себя доктора Барри! — восклицала она, заводя его в отделанную в испано-мексиканском стиле гостиную и всплескивая полными, унизанными браслетами загорелыми руками, будто все еще не веря своему счастью.

Ранч направился к бару и вынул из него полдюжины разных бутылок и металлический шейкер, а Бетти выставила пиалы с орешками и солены-

ми крекерами. Беленые стены комнаты были увешаны дешевыми репродукциями английских художников восемнадцатого века — Констебла, Гейнсборо, Рейнолдса, — среди которых красовалась вставленная в рамку почетная грамота «Института взрослых развлечений», украшенная орденской ленточкой, за продажу двадцати пяти тысяч копий картины под названием «Лобки атакуют!».

Ларри втиснулся в маленькое, обитое ситцем кресло, гадая, где теперь та маленькая еврейская девочка, с которой он познакомился в самолете, и надеясь, что ей уютно на отцовских руках и что когда она вырастет, то не станет похожа ни на кого из людей, с кем он сейчас сидел в одной комнате, включая его самого. Непонятно откуда доносились звуки дневного сериала, женский голос стенал: «Ты обещал мне! Ты обещал!»

— Я могу воспользоваться телефоном? — спросил он. — Мне нужно позвонить. Мать неважно себя чувствует.

— Ну, разумеется, это так трогательно, — ответила Бетти. — Вы хороший сын, Ларри. Знаете, у нас ведь тоже есть сыновья. Хэрольд и Джон. У них свое дело в Майами.

Она указала на фотографии в вычурных рамках,

выстроившиеся в ряд на блестящей черной крышке японского пианино. Улыбающиеся мальчики в матросках. Курчавые подростки, позирующие у старого «шевроле». Свадебная фотография одного из сыновей, Хэрольда или Джона, стоящего рядом с разряженной, крайне безликой молодой женщиной. На фотографии падала тень высокой вазы с экзотическими белыми цветами. Все вместе — пианино, фотографии, цветы — производило впечатление надгробия.

— В Солнечном штате, — добавила она, подошла к фотографиям и слегка поправила сместившиеся рамки. Ранч обнял ее за плечи и громко чмокнул в щеку.

— Лучше Бетти не найти.

Ларри кивнул. Последняя порция «взрывоопасного» напитка уже давала о себе знать, постепенно выводя из строя нервные окончания в позвоночнике. Будь его «тендерберд» у крыльца, он бы тут же нашел предлог откланяться и умчался бы прочь, не дожидаясь начала сборища, все больше походившего на гротеск, с этого кораблика дураков. Но машина была далеко, и ему были нужны двадцать тысяч долларов — или у него совсем не будет машины, а немного погодя и семьи, к которой он мог бы поехать.

Ранч хлопнул его по плечу:

— Как насчет экскурсии по студии? Прогуляемся перед обедом?

— С преогромным удовольствием, — прогнусавил Ларри солидным голосом доктора.

Бетти взвизгнула от восторга, а Т. Боун, вытянувшись в кресле с откидной спинкой — прямо демиург на кожаном облаке, — благосклонно улыбнулся и лениво махнул рукой, словно благословляя их.

Ларри с Ранчем направились к гаражу. Воздух раскалился градусов до тридцати, и в уголках оконных рам, на колесных дисках, даже на белоснежных цветах жасмина, который взбирался по водосточной трубе на углу дома, плясал обжигающий солнечный свет, перемежающийся непроницаемой голубой тенью. В ванной номера 2714 атлетическое сложение Ларри произвело на Ранча в высшей степени благоприятное впечатление. Конечно, его фигура немного обмякла и уже начинала округляться, так что через несколько лет, по его собственному мнению, он мог бы стать почти женоподобен, но пока его тело, несмотря на изматывающий образ жизни, хранило удивительную верность своему владельцу. Он так долго зависел от него, зависел от своей от-

личной физической формы, что теперь ему было трудно представить, как стал бы он жить, если бы тело его подвело. Иногда он думал о катастрофическом упадке сил, об ужасах вроде потери ноги, или рака кожи, или слоновой болезни. Ему не верилось, что он смог бы «примириться» с таким несчастьем, не верилось, что страдание могло бы облагородить его. В тридцать шесть (разве это не было основным из возрастных неврозов?) он уже чувствовал приближение старости и не разделял представления Кирсти о «легкой» старости звезд, которые излучали мудрость прожитых лет, не теряя при этом гламурного облика, как Фонда или Хепберн. Ему казалось, что с годами он превратится в развалину. Но тем не менее интересно, станет ли он в пятьдесят пять или в шестьдесят лет совершенно другим человеком, не покажется ли ему с вершины жизни то, что сейчас казалось таким сложным, этакий кубик Рубика из моральных дилемм, всего лишь плодом недолгого замешательства, не будет ли он думать, что провел свои лучшие годы, как тот клоун в цирке, который, встав на четвереньки, изображает двух борющихся лилипутов.

Ранч открыл висячий замок металлической двери гаража. Внутри оказалось на удивление

прохладно. Окон не было. Он щелкнул выключателями.

— У нас тут все по-простому, — сказал он.

То, что Ларри увидел при свете шести тихо гудящих флуоресцентных трубок, напоминало склад домашнего скарба, спасенного при пожаре, свалку предметов, которые находились здесь только до тех пор, пока кто-нибудь их не выкинет. На вешалках в переносном гардеробе висело с десяток костюмов невероятных размеров и расцветок, рядом на полу лежала пара матрасов, покрытых водонепроницаемой пленкой, какую кладут в постель детям, страдающим недержанием. Остальное имущество состояло из квадратного багрового ковра, письменного стола со стулом, шестифутовой пластиковой пальмы и вешалки для шляп, на которой болталась подвешенная за одну из глазниц резиновая голова гориллы. Трудно было представить место менее подходящее для занятий сексом, и стоило Ларри об этом подумать, как его яйца тут же съежились.

— Осветительные приборы и звуковое сопровождение там, сзади. Дублирование и окончательная доводка на месте. Эл — оператор. Тебе он понравится. Надин — звукооператор. Ее сестра — суфлер. А вот здесь сидит Т. Б. — Он указал в

сторону неизменно складного режиссерского стула. — Он у нас большой почитатель Феллини.

— А ты? — спросил Ларри, ощупывая голову гориллы с изнанки — она оказалась липкой, как будто в ней кто-то недавно потел.

— Марки Марк. Шварценеггер. Сэр Оливье, разумеется. Т. Б. научил меня восхищаться многими английскими вещами. Оладьи, Шекспир и прочая дребедень. Но я так и не смог врубиться в прелесть крикета. — Он рассмеялся.

— В крикет трудно врубиться, — сказал Ларри. — Ты бывал в Англии?

— Я бывал в Мексике, — ответил Ранч. — Hablas espanol, amigo?

— Un poco[32], — сказал Ларри.

И, подчинившись внезапному порыву, спросил:

— Как настоящее имя Т. Боуна?

Ранч уставился на него с деланым удивлением:

— Это Лос-Анджелес, Ларри. Здесь никому нет никакого дела до его настоящего имени. Пошли. Покажу тебе свою берлогу. Приведем тебя в порядок.

---

[32] Примечания: 32
Немного (исп.).

Берлогой Ранча оказалась одноэтажная пристройка позади основного дома. Лежащий на лужайке разбрызгиватель покрывал траву влажным блеском. На пороге пристройки в тени бугенвиллеи сидели две девушки, по очереди попивая коку из банки и затягиваясь самокруткой.

— Йо! — воскликнул Ранч.

Девушки поднялись на ноги.

— Клевый костюмчик, — сказала одна из них, с вдетым в бровь колечком.

— Это Розина, — сказал Ранч. — А это — малышка Йо. Поздоровайтесь с Ларри, девочки. Было время, когда его показывали по телевизору чаще, чем прогноз погоды.

Девушки перевели взгляд с Ранча на Ларри, бесстыдно оценивая степень его известности. Он сразу понял, что ему не стоит ждать бури восторга, которую его появление вызвало у Бетти.

— Я тебя вроде знаю, — сказала Розина. — Мама смотрела твой сериал. Будешь здесь сниматься?

— Похоже на то, — ответил он.

— Эй! Да ты англичанин, — с одобрением воскликнула малышка Йо. — Затянись! — Она предложила ему самокрутку.

Он улыбнулся, заглянув в притягательную сиреневую пустоту ее глаз.

— Спасибо, — сказал он, — малышка Йо.

— Всегда пожалуйста, — ответила она голосом незнакомого ему мультяшного героя. Все рассмеялись. И вошли в жилище Ранча.

Пристройка, одно время служившая убежищем Хэрольду с Джоном, пока те не укатили в Солнечный штат, состояла из большой комнаты и смежной с ней ванной. В комнате было три разных по размеру телевизора, постер с Бертом Рейнолдсом, фендеровская гитара без струн и большая статуя Будды из мыльного камня — его колени служили пепельницей. На полу валялось множество компакт-дисков и журналов — мешанина из комиксов, порно и моды. Малышка Йо навела пульт на стоящий в углу музыкальный центр. После короткой паузы комната наполнилась «Нирваной», и она принялась танцевать вольным стилем, размахивая худыми руками и ногами, ловко перепрыгивая через Розину, которая плюхнулась на пол и принялась листать свежий номер «ПЛИЗ!». Ранч уселся по-турецки на скрипучую кровать и пристроил на коленях зеркальце с портретом Богарта и надписью: «Парень, на тебя кое-кто смотрит!»

— Не говори об этом Т. Боуну, — сказал он, деля маленькую горку порошка на четыре дорожки, и,

склонившись над своим отражением, энергично втянул в себя одну из них, прижав к ноздре соломинку от молочного коктейля из «Макдоналдса».

— Ни слова, — пообещал Ларри, втягивая свою дорожку со шляпы Богарта и передавая зеркальце Розине, которая поблагодарила его так кротко, как будто он подал ей стакан молока.

— Эти девчонки тоже снимаются в фильме? — спросил Ларри.

— Эти девчонки? Они слишком костлявы, — сказал Ранч. — У нас работают только профессионалки. Синди Икс. Селина д'Амур. Саша Мартинес, пока не записалась на курсы реабилитации. Китаянка по имени Пэтти Вонг. Хотя, может, она филиппинка. Есть еще Скарлетта Скар, она мне вроде как крестная. Мы приглашаем ее, если нужно изобразить садо-мазо.

Ларри вскользь подумал о своей крестной, женщине по имени Пенни, которая в шестидесятые училась в педагогическом колледже вместе с Алисой. И спросил:

— Ты волновался, когда занимался этим перед камерой в первый раз?

— Ничуть, — ответил Ранч. Зеркальце вернулось к нему, и он тут же принялся отмерять еще четыре дорожки, вычерпывая наркотик из пла-

стикового пакетика уголком лезвия. — Я родился для этой работы.

— И у тебя никогда не было случая, когда ты не мог этого сделать? Не мог играть?

— Нужно просто помнить, что ты профессионал, — сказал Ранч. — Оставаться в фокусе.

— В фокусе, — повторил Ларри, кивая.

— Думать о деньгах, — добавил Ранч.

— Деньги тебя заводят?

— Глупый вопрос, — ответил Ранч, расплываясь в усмешке. — Эй, разве доктор Барри не перетрахал в Солнечной долине всех и вся?

— Не перед камерой, — сказал Ларри.

— Ты будешь великолепен, — заявил Ранч.

Они замолчали, вдыхая кокс. Когда Ларри передал зеркальце Розине, Ранч прижал палец к губам, подмигнул и тихо сказал:

— Пошли, я тебе кое-что покажу. Расслабься.

Второй раз за этот день Ларри пошел с Ранчем в ванную. Эту ванную украшало зеркало с лампочками по периметру. В унитазе желтела несмытая моча, пахло пачулями и сигаретным дымом. Ранч повернулся к висящему на стене за дверью шкафчику для лекарств, открыл его — шкафчик был набит витаминами и обезболивающими — и достал маленькую резную деревянную коро-

бочку из тех, что продаются в любом китайском квартале.

— Моя шкатулочка с секретом, — сказал он, откидывая крышку и показывая два отделения, в которых лежали маленькие цветные капсулы: с десяток в одном и примерно наполовину меньше — в другом.

— Секс и смерть, — хвастливо пояснил он. Но при взгляде на содержимое коробочки его лицо вдруг утратило насмешливое выражение. На него легла пелена усталости, словно осадок выпал на кожу, и Ларри впервые понял, чего стоило Ранчу быть Ранчем.

— Ого, — сказал Ларри, глядя на капсулы. — Как ты их отличаешь? Они вроде одинаковые.

— Да нет, это было бы уже слишком, — ответил Ранч. — Вот от этих, красных снизу и синих сверху, у тебя встанет так, что ты сможешь поднять пианино. А эти штуки, синие снизу, — они тушат свет. То есть навсегда. Капут. Hasta nunca. Не оставляет в теле никаких следов. Никто ничего не обнаружит.

— Шутишь, — сказал Ларри. — Туфта какая-то.

Он засмеялся пьяным смехом.

Ранч покачал головой:

— На свете есть вещи, Ларри, какие тебе и

под кайфом не снились. Мне их дал один врач в Вегасе, который хотел пошаманить над моей девчонкой. Сам знаешь, что такое врачи.

— Ты уже пробовал? — спросил Ларри. — Я говорю о тех, для секса.

— Нужды не было, — ответил Ранч. — Но это здорово — знать, что они всегда под рукой. Страховка.

— Не только страховка, — сказал Ларри.

Ему хотелось до них дотронуться.

— Может, и так. — Ранч закрыл коробочку и поставил ее обратно в шкафчик. — Может быть, я их выброшу, пока какая-нибудь цыпочка не съела парочку по ошибке, если от месячных скрутит. Дело в том, что мне просто нравится держать их у себя. Ты ведь меня понимаешь?

Ларри кивнул. Он понимал.

— Да, ты будешь великолепен, — сказал Ранч, обнимая Ларри за плечи и уводя обратно в комнату. — Ты будешь неотразим.

13

Когда Ласло был ребенком, подготовиться ко сну значило для него прополоскать рот, сбросить рубашку и шорты, как можно скорее нырнуть под одеяло и улечься рядом с братом Яношем. Сон приходил к ним с музыкой воды, бегущей по трубам с верхних этажей, и с грохотом трамваев по проспекту Сечени. Теперь же его изысканное couché[33] превратилось в довольно трудоемкий процесс, состоящий из добрых пятидесяти минут легкого физического труда в ванной, который начинался с того, что доктора любят называть «работой желудка». С четверть часа он просиживал на деревянном стульчаке, читая мятые экземпляры журнала «Вуаси» или хмуро уставившись на Марчелло Мастроянни, который дымил сигаретой на старом постере к «Сладкой жизни», висевшем на противоположной стене, а потом изучал результаты своих усилий (иногда задаваясь вопросом, сколько еще мужчин и женщин в эту минуту с беспокойством или даже с гордостью пялятся на свое дерьмо), чтобы убедиться

---

[33] Примечания: 33
Здесь: сон (фр.).

в отсутствии следов внутреннего кровотечения. Его отец умер от рака толстой кишки.

Удовлетворенный тем, что его внутренности функционируют как положено, он переходил к раковине с висящим над ней большим зеркалом и начинал работать над зубами. Он разменял четвертый десяток, когда начал наконец приводить в порядок свои кривые, пожелтевшие от табака зубы, открыв для себя — то ли из тщеславия, то ли от проснувшейся вдруг неловкости — полный боли и чрезвычайно дорогой мир коронок и виниров, удалений, лечения корней и новокаина. Между семьдесят восьмым и восемьдесят первым годами он по полдня проводил в пилотном кресле месье Шарасса, чье скрытое маской, плавающее в тумане наркоза лицо стало постоянным обитателем его снов. Окончательно распрощавшись с месье Шарассом, он стал обладателем зубов, частично своих собственных, а в основном — нет, которые казались позаимствованными у кого-то намного моложе и которые он втайне считал «американскими», так до конца и не избавившись от своих мальчишеских представлений об американской энергичности и покупаемой красоте.

С лицом было сложнее. Никакой Шарасс не

смог бы убрать с его кожи складки и въевшийся загар, но Курт (вот милый мальчик!) ввел его в мир кремов против старения, и Ласло тут же стал их преданным поклонником, если не сказать больше. Маленькие дорогие баночки, что продавались в «Галери Лафайетт» элегантными женщинами, которым, судя по всему, вменялось в обязанность наносить себе на лицо образчики всей продаваемой ими косметики, содержали всякие сказочные субстанции: масло жожоба, профосфор, разглаживающие морщины питательные сыворотки. Последняя покупка — к прилавку его привлек плакат с фотографией девушки, лицо которой напоминало влажный алебастр, и надписью, призывавшей, немного бесшабашно, на его взгляд, «забыть время!» — обещала доставлять молекулы чистого кислорода прямо в клетки кожи с помощью «асимметрической системы носителей кислорода».

Поначалу, пока не схлынул первый восторг, эти кремы казались Ласло одним из самых соблазнительных достижений Запада. Он даже написал слегка легкомысленную статью для «Ле Монд», в которой заявил, что именно эти продукты, плод шутницы науки, доказали несостоятельность коммунизма и ускорили крах его империи. Кому

было дело до коллективного ведения сельского хозяйства, президиумов, исследований космоса или пятилеток, если лицо каждого перешагнувшего тридцатилетний рубеж выглядело таким неприглядно морщинистым, когда жившие по другую сторону занавеса увлажняли и питали свою кожу роскошными кремами? Разве не это пугает нас в старости, в смерти, — удар по тщеславию, конец всего, что составляло физическую привлекательность, сознанием которой мы привыкли наслаждаться? Насколько он оказался эффективнее, этот созидательный нарциссизм Запада, по сравнению со всеми заряженными боеголовками, всей коррупцией и тупостью партийных функционеров. Конечно, кремы-лосьоны, которые он втирал себе в кожу легкими круговыми движениями, не сделали его ни на один год моложе, но он был убежден, что они затормозили процесс дальнейшего старения, хоть в какой-то мере защитили его от силы тяжести и атмосферных загрязнений, от последствий смеха, грусти и, возможно, даже бича всех лиц — чувства вины.

Изюминкой этого банкета тщеславия была капелька «Аква ди Парма», духов, которыми в свое время пользовались Одри Хепберн и Кэри Грант, — веская причина для любого смертного

попроще не отказывать себе в таком же удовольствии. Флакон был прощальным подарком Джиллема Бернарди, импресарио «Театро Аргентина» в Риме, где они вместе работали над постановкой «Вспышки» весной девяносто пятого, и этот аромат с нотами меда и шербета всегда напоминал Ласло о ночной поездке в «слайдере» Джиллема с откидным верхом: играет кассета «Битлз», и теплый римский воздух — настоящий южный воздух — обдувает их лица, когда они проезжают по улочкам, до того узким и полным ночных гуляк, что у него появляется чувство, будто они едут по бесконечному ресторану, раскинувшемуся прямо под открытым небом.

Он взял флакон в руки. Он был еще на две трети полон. Хватит — если тратить по капле на ночь — до самой глубокой старости, когда, может быть, Курт, погрузневший и начавший лысеть, будет возить его по квартире в плетеном кресле-каталке, а вся прожитая жизнь покажется одним днем, за который было много сделано, но так мало — а может, и ничего — достигнуто. Он знал цену своему творчеству, своему в поте лица отточенному мастерству, наслаждению, которое он от него получал, но чем дальше, тем больше чувствовал, что занимается этим, чтобы

избежать чего-то другого, что все это не что иное, как растянувшаяся на сорок лет сублимация, и спрашивал себя, наклонившись к зеркалу, чтобы видеть бегущие по лицу мысли, в чем может выражаться истинный успех. Определенно не в наградах, и не в восхищении критиков, и не в фотографиях в газетах — он сам удивлялся, как мало такие вещи для него значат. Но и цифры значили не больше, будь то количество франков на счете, счастливые дни или друзья, которые придут на твои похороны. Любовь?

Если в твоей жизни есть любовь, ты не умрешь в глухом одиночестве, как собака под забором. Но всем ли суждена любовь? Это дело всего лишь счастливого случая. Как погода. Сколько угодно подлецов и бездарностей были тем не менее способны любить. Гитлер любил Еву. Сталин тоже, должно быть, кого-нибудь любил. Нет. К нам нужно подходить с более тщательной меркой. Так есть ли что-нибудь лучше тех неожиданных проверок на достоинство и мужество, единственной подготовкой к которым может быть только вся прожитая жизнь? Тех моментов, когда ты должен шагнуть вперед из молчащего строя и заявить о себе, сказать «да», когда другие говорят «нет»; ни секунды не колеблясь, вернуться в горящий дом.

Или просто задать вопрос — как малыш Шандор в школе на улице Уллой, который встал из-за парты и спросил учителя, почему в учебниках истории склеены страницы. В такие моменты ты можешь проиграть — это будет кошмар, какой тебе и не снился. А можешь выиграть. Такое тоже возможно.

Он прикоснулся пальцем с драгоценной каплей духов к шее, завязал халат и вышел из ванной, прошаркав в марокканских шлепанцах по коридору к спальне. Печально улыбнулся, вспомнив про кресло-каталку. Сумерки неистового дилетанта! Все, что ему осталось предвкушать.

Добравшись наконец до постели, где тихо посапывал Курт — самый умиротворяющий звук в мире! — Ласло улегся на спину, заложил руки за голову и снова попытался вспомнить, как звали капитана английской футбольной команды. Билли? Может «Билли» быть английской фамилией? Мистер Билли? Он был в Лондоне четыре раза, по театральным делам. Этот город вселял в него тревогу. В нем было жутковато и утомительно. На этот раз он попросит показать ему еще что-нибудь. Недавно в «Галиньяни» он рассматривал карту и нашел просто замечательные названия. Лик! Шипвуш! Он выберет городок наугад и на-

стоит на экскурсии. Его молодой переводчик мог бы его отвезти. Они предпримут то, что Эдит Уортон называла «автополетом», и каждые сто миль будут останавливаться на чашку чая с пирожными.

Телефон стоял на тумбочке с той стороны кровати, где обычно спал Ласло. Когда раздался звонок, он так вздрогнул, что, хватая трубку, опрокинул стакан с водой.

— Месье Лазар?

— Да?

— Извините, что побеспокоил вас так поздно. Я пытался дозвониться раньше, но никто не брат трубку.

Голос с акцентом. Смутно знакомый.

— Кто говорит?

— Мы встречались, месье. В университете. Обсуждали ситуацию на Балканах. Помните?

— Минутку, — сказал Ласло. — Я возьму трубку в кабинете.

Курт проснулся. Ласло улыбнулся ему.

— Все в порядке, — сказал он. — Спи. Пусть тебе приснится твоя рыба.

Войдя в кабинет, он включил настольную лампу и снял трубку параллельного телефона. Он уже понял, кто ему позвонил: Эмиль Беджети,

предводитель группы студентов-албанцев в Сорбонне. Прирожденный конспиратор.

— Слушаю, — сказал Ласло.

— Я не вовремя?

— Да, — ответил Ласло.

— Тогда я буду краток, месье. Мне бы хотелось еще раз с вами поговорить. С глазу на глаз. Но не у вас дома. И конечно, не у меня.

— И об этом необходимо договариваться в два часа ночи?

— Вы получили факсы, месье?

— Нет. Да, возможно. Я на них не смотрел. Вы хотите снова поговорить про Балканы?

— Вы оказали бы мне большую честь, если бы согласились со мной встретиться.

— Можно узнать, почему со мной? Есть какая-то особая причина?

— Мы считаем вас поборником справедливости.

— «Мы»?

— Вы знаете, что значит жить в угнетенной стране. Подчиняться силе. Страху. Вы знаете, что значит видеть…

— Довольно!

— Мы очень уважаем вас, месье.

— Так уважаете, что звоните мне посреди но-

чи. Почему бы вам не разбудить какого-нибудь балканского профессора? Как насчет доктора Кельманди?

На заднем фоне Ласло расслышал еще один голос, мужской, властный, приглушенно-торопливый. Он принадлежал не французу. Надо полагать, албанцу.

— Извините меня, месье. Но если вы просмотрите документы, что я вам выслал, вы поймете нашу настойчивость.

— От чьего лица вы говорите? Студентов? Или кого-то еще?

— Могу я надеяться, что вы со мной встретитесь?

— Вы знаете, в каких аудиториях проходят мои занятия. Мы могли бы встретиться там.

— Спасибо, месье, но университет не подходит. С вами свяжутся в ближайшие дни и назовут безопасное место для встречи. Спокойной ночи, месье. Извините меня. Спокойной ночи.

В трубке раздались гудки. Ласло положил трубку и, стоя в зеленом свете, представил, как где-то в городе Эмиль Беджети со своей группой собрались, чтобы разрабатывать свои планы, делать поздние звонки от лица таинственного «мы». Он решил ни в коем случае с ними не связываться.

От них вполне можно ждать неприятностей, именно таких неприятностей, какие, по мнению Гарбаров, мог причинить он сам. Он зевнул, потянулся и уже собирался выключить лампу, когда заметил кое-что на полу между письменными столами и нагнулся, чтобы это поднять. Это была салфетка, в которую он завернул пистолет. Он осмотрел комнату, но пистолета нигде не было видно, и он понял, что его здесь больше нет. В кабинете, несмотря на конец мая, было необычно холодно.

14

Чтобы разделить кокс на животе малышки Йо, Ранч вместо лезвия воспользовался кредиткой. Она лежала на кровати совершенно неподвижно, футболка закручена под маленькой грудью, дорожки располосовали кожу длинными белыми шрамами. В другом углу комнаты Розина вставляла в пасть музыкального центра новый диск.

— Больше никакой Бьорк, — крикнул ей Ранч. — А то мы тоже свихнемся, как она.

— Хочу свихнуться, — сказала Розина, но это была не Бьорк, это был Кинг, на всех парусах затянувший «Любимые американские святочные мелодии».

— Выбор свыше, — сказал Ларри, стоя у окна и пытаясь языком вытолкнуть кусочек мяса, застрявший между передними зубами. Обед растянулся на целый час и проходил в залитой солнцем столовой главного дома, уставленной новыми фотографиями Хэрольда с Джоном — заблудших сыновей — и стопками блестящих видеокассет без этикеток. Бетти, с чарующим звоном браслетов, принесла мясной рулет, горошек с картофелем, а на третье — странное подобие

парового английского пудинга, украшенное шариками кофейного мороженого. Из уважения мужчины не говорили при ней о делах, но когда она убрала со стола тарелки и подала кофе, а из-за двери в кухню понеслись звуки очередного сериала: «…Боюсь, ребята, что принес вам плохие новости…» — Т. Б. вынул из нагрудного кармана сложенный лист бумаги с копией контракта и, положив его на стол, подтолкнул к Ларри.

— Досадные формальности, — сказал он, подмигивая.

Ларри пробежал контракт взглядом.

— Что это за «Юг-Энтерпрайзерс»?

— «Юг-Энтерпрайзерс», — ответил Т. Боун, — это я.

— Я было подумал, что это мафия.

— Шутник, — сказал Т. Боун.

— И я получу пять тысяч, как только подпишу?

— В симпатичном толстом конверте, о котором будем знать только мы с тобой.

— А как насчет Синди Икс, Селины д'Амур и остальных? Я увижусь с ними до съемок? Знаете, было бы здорово поболтать с ними. Для начала.

— Мой милый Ларри, — сказал Т. Боун, освобождая от фольги очередной треугольничек сыра, который, как и большинство блюд, казался экс-

понатом музея пищевых продуктов, — все будет хорошо, все будет здорово, все будет просто замечательно. Просто держи себя в форме. Мы хотим, чтобы ты лоснился, как молодой тюлень. Наши фильмы должны излучать оптимизм. Никаких мешков под глазами. Ранч тебя всему научит.

Ларри оставалось только подписать контракт, и после кофе им с Ранчем, словно детям, было позволено вернуться в пристройку к своим игрушкам. Толстый конверт был вручен своему новому владельцу, и Ларри откланялся, поцеловав Бетти руку и одарив ее пристальным взглядом врача, ставящего диагноз. Ее щеки пылко зарделись.

— О, Ларри, — вздохнула она.

— Прощайте, Бетти.

Он знал, что один из них сошел с ума.

С близкого расстояния семнадцатилетний животик малышки Йо казался настоящим чудом, его упругая поверхность слегка подрагивала, словно желе, от бесперебойной работы кишечника. Ларри наклонился и вдохнул дорожку, свернув в трубочку одну из своих новых стодолларовых банкнот, а потом самым кончиком языка слизнул с ее кожи оставшиеся гранулы порошка и уткнулся носом в голову вытатуированной ящерицы, выглядывавшей из-за пояса ее джинсов. Он спра-

шивал себя, нужно ли ему заняться с ней сексом, предполагалось ли это, чтобы Ранч, который пялился в карманный телевизор, экран которого был размером с игральную карту, мог оценить его технику и дать дельный совет насчет угла наклона, скорости проникновения и звуковых особенностей порнотраха.

Кинг выдавал под электрогитару знойную версию «Студеной зимы». Ларри встал, чтобы потанцевать с Розиной, которая казалась недовольной, с припухшими веками, может быть понимая, что эта жизнь совсем не та, которую Санта-Клаус обещал ей, когда она была маленькой девочкой. Она приникла головой к его груди, и они закружились в танце, — его руки прижаты к ее спине, ее дыхание влажным пятном ложится на голубой хлопок его рубашки над самым сердцем.

«Снег иде-е-ет, снег иде-е-ет…» — пел Кинг под аккомпанемент детского хора и детройтского духового оркестра, голос перекатывался с ноты на ноту, как океанские волны, несущие с собой порывы сентиментальной чувствительности, — этому раздирающему сердце бессмысленному завыванию было невозможно сопротивляться. Розина танцевала, встав босыми ногами на туфли

Ларри. Она была такой легкой, что ему подумалось, что она весит ненамного больше Эллы. Она обхватила его за шею. Он крепко прижимал ее к себе, гладя рукой по спине: ее кожа была скользкой от пота, как будто у нее жар. Раньше они танцевали так с Кирсти, вжавшись друг в друга, словно выдохшиеся борцы на ринге, когда он ухаживал за ней в доме ее отца в Лемон-Коув, — он тогда не мог посмотреть на нее без желания к ней прикоснуться, не мог прикоснуться к ней без желания улечься с ней в постель, и, как какой-нибудь косноязычный герой-любовник, называл ее «деткой», своей «миленькой» и «сердечком». Бывало — и это не выдумка, — что один лишь звук его голоса заставлял ее трепетать, как будто он погладил рукой джинсовую ткань у нее между ног. Так как же, черт побери, он оказался здесь? Что встало между ними, в какой клубок сплелись их заплутавшие чувства? Его очень расстраивало то, что они с женой больше не занимались любовью, а он так хорошо помнил ночи, когда он набрасывался на нее, как он до одури вглядывался в ее лицо, а она, вцепившись в прутья металлической кровати, изо всех сил насаживалась на него, желая, чтобы он проник еще глубже. Как же он дошел до такого? От своей

жены до малолетних наркоманок? От Кирсти до Скарлетты Скар?

«… Студе-е-е-еною зимо-о-ой давны-ы-ым давно-о-о-о-о-о-о!» — выводил Кинг. Розина засопела и шевельнулась в его объятиях. Он поцеловал ее в макушку и выпустил, высвобождая ноги из-под ее ступней.

— Ранч, здесь есть телефон?

— Под кроватью, — ответил Ранч, махнув рукой и продолжая смотреть на экран, где люди размером чуть больше мух ублажали друг друга. Малышка Йо все еще лежала на кровати, изгибаясь в безнадежной попытке дотянуться до оставшейся у нее на животе последней дорожки. Ларри пошарил под кроватью. Роман Хемингуэя. «Дианетика» Рона Хаббарда. Полоска паспортных фотографий десятилетней давности: Ранч улыбается фотоавтомату где-то в американской глубинке. И фиолетовый телефон аэродинамического дизайна с четырьмя ярдами провода. Он унес телефон в ванную, просунул провод под дверь и плотно ее захлопнул, отгородившись от убаюкивающего голоса Кинга, воспевающего «Stille Nacht»[34]. Он ожидал услышать Алека, но

---

[34] Примечания: 34
Тихую ночь (нем.).

трубку сняла Алиса.

— Четыреста двенадцать…

— Вас вызывает наземный контроль, — сказал Ларри, но Алиса, голосом, еще обернутым тяжелым бархатом сна, продолжала выговаривать номер.

— Мама, это я, Ларри.

— Привет, дорогой, — сказала она. — Ça va?[35]

— Я тебя разбудил?

— Еще темно, — ответила она.

— Извини. Я хотел поговорить с Алеком.

— О, Алек, — сказала она. — Он старается изо всех сил.

— Знаю, — ответил Ларри.

Он плечом прижал трубку к уху, а сам телефон держал в левой руке. Правой рукой открыл аптечку.

— Как ты себя чувствуешь?

— Не слишком плохо, дорогой. Я еще не сошла с ума.

— Конечно же нет.

Он откинул маленький латунный крючок коробочки. Крышка открылась. Он отчетливо слышал протяжный свист материнского дыхания.

---

[35] Примечания: 35
Как дела? (фр.)

— Здесь столько всего, о чем нужно позаботиться, — сказала она. — Не знаешь, с чего и начать.

— Я скоро приеду, — сказал он, поднося красно-синюю капсулу к свету и рассматривая крошечные гранулы ее содержимого. — Вместе с Эллой.

— Кирсти — хорошая девушка, Ларри.

— Да.

— Она сейчас с тобой?

— В соседней комнате.

— Ты скоро приедешь, правда?

— Хотел бы прямо сейчас.

— Знаю, дорогой.

— Иди спать, мама.

— Ты тоже, дорогой.

— Спокойной ночи.

Вздох. Гудки. Ларри захлопнул шкатулку, закрыл аптечку и, завернув капсулы в клочок оранжевой туалетной бумаги, засунул их в конверт с деньгами.

— Кто желает отведать доктора? — воскликнул он, возвращаясь в водоворот музыки Кинга, но взгляды остальных были прикованы к более интимным горизонтам, и ему никто не ответил.

15

Под лестницей была комната, которая называлась мастерской, хотя, как и в детской, где больше никто не играл, в ней уже давно никто не работал. Когда-то Стивен чинил там часы или, когда его руки дрожали слишком сильно, напивался. Там до сих пор сохранились кое-какие его приспособления: верстак с покрытием из огнеупорного пластика и токарный станок, — и даже спустя столько лет комната хранила ставший не таким резким запах аммиачного очистителя и припоя, и всякий раз, входя внутрь, Алек ловил взглядом мимолетную тень отца, словно отпечаток тела на простыне, хрупкий контур, который время в конце концов сотрет, сделав его отсутствие полным.

Над верстаком на металлическом крюке висел моток черного провода с патронами для лампочек через каждые восемнадцать дюймов. Он снял моток с крюка и начал искать в шкафчиках разноцветные лампочки: синие, красные, зеленые и желтые отдельно, — они были аккуратно сложены в покореженные от времени коробки. Это была праздничная гирлянда, и, хотя у него не было ни малейшей необходимости проверять ее

именно в эту ночь (до дня рождения Алисы оставалось еще три недели), он поддался внезапному побуждению. Он помнил, когда эти лампочки загорались в последний раз: почти год назад на празднике по случаю выхода Алисы на пенсию, и колпачки из осевшей пыли свидетельствовали, что с тех пор к ним никто не притрагивался. Как хорошо она тогда выглядела! Позволила себе толику оптимизма, надежды, которую семья с радостью разделила. Мечтала съездить куда-нибудь. Во Францию, конечно же, и прежде всего в свою обожаемую Бретань; но кроме этого, она выписала рекламные буклеты поездок на Дальний Восток и в Индию, и в своей краткой импровизированной речи в саду перед началом вечеринки заявила, что надеется проводить больше времени, как можно больше времени в Калифорнии: с Ларри, Кирсти и своей внучкой. Среди подарков от школы был красивый кожаный портплед — не очень большой, его можно было взять с собой в салон самолета, — из всего, полученного ею в тот день, он особенно ее порадовал. Она воспользовалась им, подумал Алек, три или четыре раза. И только один раз для поездки в Америку. Слишком мало для того, чтобы с него сошел лоск новизны.

Он уселся на бетонный пол мастерской и

принялся терпеливо вворачивать лампочки, стараясь не перепутать цвета. Тот праздник удался на славу. Приехала почти вся школа, включая преданную секретаршу Алисы миссис Дзержински. Соседи, Джудит и Кристофер Джой, оба адвокаты, которым нравилось одеваться в белое, пришли пешком от своего крытого соломой дома, крышу которого, увенчанную парой соломенных белок, было отлично видно из сада «Бруклендза». Осборн тоже пришел, расхаживал между гостями, сжимая бумажную тарелку на уровне груди, похожий на пингвина, — добродушный, близорукий и слегка смешной.

В месяц, когда дожди — обычное дело, им повезло, вечер выдался на редкость тихий и благоуханный — настоящий южный вечер, не хуже, чем в Тоскане или на Лазурном берегу, что не преминули с восторгом заметить некоторые из гостей. Женщины в летних нарядах демонстрировали свои загорелые руки; мужчины развесили пиджаки на ветках деревьев. Алиса, разомлевшая от вина, немного охрипшая оттого, что пришлось много говорить, руководила празднеством, сидя во главе одного из длинных столов. Все знали, через что ей пришлось пройти за последний год; об этом говорили в осторожных выражениях

вроде: «Она была на волосок от гибели», «Ситуация была рискованная» или даже «Ей крупно повезло», — и изо всех сил старались выказать ей свое сочувствие. Из мощных динамиков лился Моцарт, Родригес и старый джаз, за барбекю, напоминавшим кирпичный алтарь, колдовал Ларри, подбрасывая в воздух отбивные и запекая тунца, — иногда он сажал себе на плечи Эллу, пока Кирсти, из страха, что дым вызовет у девочки приступ астмы, не отбирала ее.

Гости начали расходиться около полуночи; из подвала вынесли последний ящик белого вина. Оставшиеся удобно расположились на нестриженой лужайке. Кое-кто заснул прямо под деревом и довольно похрапывал. А потом хлынул теплый дождь — лампочки зашипели, пробки вылетели, и все хохоча бросились врассыпную в поисках укрытия. Алек с Алисой оказались под сенью старой вишни, только они двое — стояли и слушали шорох дождя в листве.

— Пообещай мне кое-что, — сказала она, нарушая молчание. — Если я снова заболею, не позволяй мне дожить до полного слабоумия.

— Но ты ведь не заболеешь, — сказал он. — Зачем говорить об этом?

Она повернулась и посмотрела на него, хотя

лица друг друга казались им всего лишь тенью, миражом, из которого исходил шепчущий голос.

— Конечно же нет, — сказала она. — Но я все равно поговорила с Ларри.

— С Ларри? Что ты ему сказала?

Он разозлился на нее, но тут дождь, словно в Тоскане или на Лазурном берегу, прекратился так же внезапно, как и начался, и кто-то позвал: «Алиса! Где она спряталась? Выходи, выходи к нам!»

— Все в порядке, — сказала она, прикоснувшись к его руке, и ушла.

— Я здесь, — напевала она. — Я зде-е-есь!

Ларри починил пробки. Когда загорелся свет, все снова воспрянули духом. Вечеринка обрела второе дыхание. Мистер Бахрами, учитель математики, экспромтом исполнил фламенко с мисс Линн, учительницей рисования. Ларри раздал всем по стаканчику «Блэклэйбл» из большой бутылки, которую он купил в аэропорту Сан-Франциско. Алиса рассказала фривольный анекдот о двух монахинях, поехавших в отпуск в Париж, — анекдот, который она рассказывала раз в год с тех пор, как Алек себя помнил. Дверца последней машины хлопнула как раз тогда, когда занялся рассвет, а над полями поплыл утренний

туман.

— Прощай, Алиса! Храни тебя Бог. Праздник был просто чудесный!

Повесив свернутый кольцом провод на плечо, взяв в одну руку удлинитель, а в другую — ветроустойчивый фонарь, Алек по трем замшелым ступенькам поднялся с террасы на лужайку и пошел дальше, к деревянным воротам, что вели в сад. Этому саду было уже лет триста, если считать, что первые деревья посадили сразу же после постройки дома. Деревья, что росли в нем сейчас, были покрыты лишайником и, несмотря на цветение, давали урожай всего раз в три года. Но их плоды, маленькие, твердые и кислые, олицетворяли для Алека вкус настоящих яблок, и он никогда не покупал яблоки в Лондоне, какими бы сладкими и блестящими они ни казались, красуясь на полках супермаркетов.

Он дошел до середины сада, поставил фонарь на землю и снял с плеча лампочки. По краям лужайки росли четыре дерева, которые благодаря своему удачному расположению всегда служили шестами для гирлянды. Он принялся за дело, хорошенько укрепив конец провода с лампочкой прямо у себя над головой, и, на ходу разматывая провод, попятился ко второму дереву, потом к

третьему и к четвертому и, наконец, подсоединил провод к удлинителю и протянул удлинитель к розетке у полуразрушенной стены. Он стоял, согнувшись, с вилкой в руке, когда услышал звонок в доме. На секунду он подумал, что мать нажала кнопку тревоги, а он ее не расслышал. Потом он понял, что это звонит телефон, со всех ног бросился к дому, — добежав до кухни как раз в тот момент, когда звонок оборвался. Он подошел к лестнице. Разговор продолжался минуты две, потом раздался стук трубки, неловко опущенной на рычаг. Он поднялся на второй этаж.

— Ларри, — сказала она.

— Я был в саду. Извини.

— Он скоро приедет, — сказала она.

— Я не смог вовремя снять трубку. Прости меня.

— Пустяки.

— Нет.

— Спокойной ночи, дорогой.

— Спокойной ночи. Мама?

— Что?

— Спокойной ночи.

Вернувшись в сад, он включил лампочки. Они горели отлично, расцвечивая темноту, как когда-то, в далекие вечера, когда еще Стивен был

жив. Кошка вернулась — при свете гирлянды видно было, как она крадется в высокой траве. Она замерла, потом прыгнула на бочку с водой, оттуда — на стену и снова растворилась в темноте. Алек встал под сверкающую гирлянду и, постояв немного, как человек, совершенно забывший, зачем он пришел туда, где он есть, скользнул вниз, прислонившись спиной к стволу одного из деревьев. Он уже знал, с уверенностью, граничившей с облегчением, что не справится. Никакие доводы разума, никакой самообман или увещевания не смогли бы ему помочь. Пережить потерю Алисы будет не трудно, а невозможно, и какая-то часть его просто умрет вместе с ней. На людях он еще мог притворяться, но сейчас, когда вокруг были только летучие мыши и звезды, он снял очки, аккуратно сложил их, опустил голову на руки и разрыдался.

16

Временами, проснувшись и еще не вспомнив о своей болезни, она чувствовала себя почти хорошо. Это напоминало ей сцену, которую она, должно быть, видела в старом фильме: приговоренный, которого вывели из камеры на расстрел, останавливается во дворе, чтобы посмотреть на погоду и определить, хорошим ли будет день, словно это еще имеет для него значение. По привычке, как тот бедняга бирманец у Оруэлла[36], который перешагнул через лужу по дороге на виселицу, не желая замочить ноги. Неужели такие вещи уходят в последнюю очередь? Жесты, непроизвольные действия, манера наклонять голову или двигать руками при разговоре? Ей казалось, что ее собственные руки становились слишком тяжелы для нее, как будто превратились в два огромных плавника, а не в хрупкие сплетения костей и шишковатых вен. Кольца носить стало практически невозможно. Во сне они соскальзывали у нее с пальцев.

Застонав от усилия, она села на край кровати

---

[36] Примечания: 36
Рассказ Дж. Оруэлла «Казнь через повешение» (1931).

и нагнулась вперед — так ей было легче дышать. В комнате было душно. Слишком много цветов, слишком мало воздуха. Нужно открыть окно. Что за важность, если она простудится? А если простуда перейдет в воспаление легких? Когда-то его называли другом стариков, но она не находила ничего дружелюбного в том, чтобы захлебнуться в собственной постели. Но разве хоть одна дверь на тот свет открывалась легко? Стивен разбился на своем «Ровере». Ее отец, с пальцами, пожелтевшими от табака — он выкуривал по три пачки «Вудбайн» в день, умер от коварной, но неизвестной болезни, симптомами напоминавшей разочарование или скуку. Теперь вот — она сама. Смерть распускается у нее в голове, как цветок. Как черный тюльпан.

Она повернулась к окну. Смотреть там было особенно не на что, разве что на занимавшуюся зарю. Часы показали 3.51, 3.52. Недолго осталось.

Со второй попытки ей удалось встать. Мир качнулся, потом вновь обрел равновесие. Нащупав ногами тапочки, она зашаркала к окну и начала сражаться с защелкой, отдохнула немного, снова взялась за защелку и наконец заставила окно открыться. Ночь то была или день, что рванулось из окна ей навстречу? Она почувствовала

легкий запах полей, вересковой пустоши, моря, плескавшегося в пяти милях от дома. Где-то далеко между живыми изгородями ехала машина. Она не видела света фар, но отчетливо слышала рокот двигателя. Мужчина или женщина с собственным бременем счастья или несбывшихся надежд. Кто-то, кто ничего о ней не знает и с кем она никогда не встретится. Не сейчас.

Ее сигареты (и запасной ингалятор с вентолином) лежали на подоконнике в горшочке для благовоний из голубого венецианского стекла. Уна знала про сигареты, но ничего не говорила, лишь как-то предупредила Алису не подходить с огнем к баллону с кислородом, если она не хочет, чтобы дом остался без крыши. Эта идея была не лишена привлекательности. Красивая голубая вспышка, взрыв, отголоски которого раскатятся на мили вокруг, и больше не придется задыхаться в испарине по ночам.

Она сняла с горшочка крышку и вытряхнула из пачки сигарету, ультралегкую — глоток свежего воздуха, как она когда-то их называла. Они больше не доставляли ей удовольствия, но вызывали воспоминания об удовольствии, а это было уже что-то. Она щелкнула зажигалкой. После первой же затяжки кашель едва не свалил ее с ног. Она

воспользовалась ингалятором и снова закашлялась, сплюнула скопившуюся во рту горечь в салфетку и пошире распахнула окно, позволив бризу обвевать себя с головы до ног.

Справа от окна над садом сияло зарево, как будто там был пожар, хотя освещение было слишком равномерным для языков пламени. Она перегнулась через подоконник и присмотрелась. Свет в саду. Что это взбрело Алеку в голову? Он что, до сих пор там? В такой час? Конечно, он цеплялся за нее сильнее всех остальных. Когда он только научился ходить, то не выпускал ее из виду, куда бы она ни шла, даже в туалет, нетвердой походкой семенил за ней по всему дому — ее маленький надзиратель, ее младший сын, ее малыш. Ее пронзила мысль, что она не в силах разделить с ним себя до такой степени, и нахлынула волна нежности, за которой последовал приступ отвращения к самой себе — старой карге с черствым сердцем, которая в своем долгом странствии по морям любви обманула надежды тех, любить кого было ее самым прямым долгом. Вот вам мать — пожрите ее! (Был самый подходящий час для таких мыслей: они, как мотыльки, вылетают лишь перед рассветом.) И не только ее молоко, но и кости, и кровь, и мозг. Взяла ли она что-нибудь

от них? Не за тем ли вернулся Алек — вернуть себе то, что она у него взяла? Заявить свои права? Сожрать то, что от нее осталось? У нее перед глазами вдруг возникло страшное видение: Алек и Ларри, оба в черных костюмах, как банковские клерки, входят к ней в комнату и садятся у изголовья кровати, а потом осторожно, со скорбью в глазах, тянутся к тому, что лежит под простыней, откусывают кончик пальца, мочку уха…

На подоконник, покрытый отслаивающейся краской, упал пепел, и она унесла сигарету в ванную и погасила под струей воды, изо всех сил избегая смотреть в зеркало, потому что очень хотела запомнить себя другой. Она присела на крышку унитаза, отдышалась, добрела до кровати и с облегчением улеглась под простыню. Уже скоро сквозь нижние ветки деревьев вдоль подъездной аллеи перед домом пробьется солнце. Уже просыпались птицы, осторожно выводя первые трели, словно опасаясь, что инстинкт пробуждения их подвел. Она закрыла глаза. Впервые за несколько дней ей удалось расслабиться, почти забыться. Теперь, подумалось ей, теперь все будет хорошо; и она снова почувствовала это — ощущение приближения, тайную уверенность, что к ней кто-то идет, еще далеко, но с каждым часом все

ближе, тот, кто поможет ей со всем справиться, кто знает, как ей помочь. Ей было немного страшно, но она хотела, чтобы он пришел, и раскинула руки в стороны, чтобы радушнее его принять.

Зачем нам дни?

…Это мое ежедневное время отдыха;
пусть принесут рапиры.
Гамлет (Акт V, сцена 2).
Перевод М. Лозинского

1

Преподобный Осборн бежал трусцой по траве в своем макинтоше. Дождь застал его, когда он шел через луг, раскинувшийся вдоль картофельного поля, а до укрытия — деревьев «Бруклендза» — оставалось еще три сотни ярдов. Трава хлюпала у него под ногами, а к манжетам брюк прилипали семена, но бежать быстрее он не мог. Не хватало дыхания.

Утро он провел в больнице, навещая Алису Валентайн, с которой в прошлую среду случилось что-то вроде приступа. Ему сообщила об этом миссис Сэмсон, хотя она там не была и, по-видимому, не знала, насколько положение серьезно. Он пытался дозвониться до Алека, но безуспешно, и принялся выяснять все сам — и в конце концов нашел Алису в женской палате онкологического отделения больницы «Ройял», которую хорошо знал. Когда он вошел, она спала, и он присел на стул подле кровати и стал ждать, внезапно почувствовав себя старым и уставшим. Они были почти ровесниками, и он знал ее уже больше двадцати лет, с тех самых пор, как случилось несчастье со Стивеном, — он тогда пришел

к ним в дом, чтобы обсудить приготовления к похоронам, и увидел перед собой обходительную, деловитую женщину с ясным умом, которая, не скрывая жестокой правды, прямо заявила, что ее муж был алкоголиком и что он никогда не тратил времени на религию и не находил в ней ни малейшего утешения. Он пообещал ей, что служба будет краткой и подобающей случаю, и такой она и была. Несколько слов о работе Стивена в школе, о его политических взглядах (которые вызывали у его преподобия некоторую симпатию). Несколько стихов из Библии. У могилы родственники Стивена почти открыто сторонились ее, но едва ли ей было до них дело. Холодный день. В тени земля была припорошена инеем, и лишь два тисовых дерева могли послужить укрытием от ветра. На ней не было ни перчаток, ни шарфа — только простое темное зимнее пальто. И хотя глаза ее полнились грустью, она не плакала. Не там, не перед ними.

Конечно, сыновья стояли рядом с ней, и она время от времени гладила младшего по голове, чтобы успокоить его. Другой мальчик, Ларри, взял на себя обязанности хозяина дома, и хотя ему тогда было всего лет тринадцать, справлялся с ними на удивление хорошо, пожимая руки,

разряжая обстановку. Все это заметили. Дар знать, что и когда делать. Такому невозможно научиться.

Потом, когда все разъехались, священник обнаружил, что она не выходит у него из головы. Ее спокойствие. Ее гордость. Он вспоминал о ней в самые неподходящие минуты. Совершал ли он таинство причастия или венчал молодые пары по субботам, его мысли внезапно наполнялись завистью. Впервые в жизни он желал чего-то — кого-то — с такой же силой, с какой он желал Бога. Вот в чем было дело. Но он был слишком осторожен, слишком неуверен в себе, слишком озабочен мнением окружающих. Боялся, что люди подумают, будто он воспользовался своим преимуществом, ведь она только что овдовела, над могилой ее мужа еще и земля осесть не успела. И он упустил свой шанс — если у него вообще был шанс. Потому что с трудом верилось в то, что она могла проявить к нему интерес. Твердолобый священник. Уже тогда старый холостяк, за сорок, с садом, книгами, диафильмами о Святой Земле. Что он мог предложить такой женщине, как Алиса? Смешно, в самом деле. Разве у нее могли быть причины полюбить его?

Когда она вдруг проснулась, он не сразу понял,

узнала ли она его. Бог знает, чем ее накачали. Но у них все-таки получилось поговорить, хотя ему было трудно следить за ее мыслью, а пятнадцать минут напряженных усилий эти мысли выразить вконец вывели ее из себя — она то и дело раздражалась и даже плакала. Она обвинила его в том, что он пришел посмотреть, не умерла ли она. Она требовала сказать ей, где Алек, почему он не приходит, — священник не нашелся, что ответить на этот вопрос. Но когда пришло время прощаться (сиделки — бодрые смешливые женщины — вкатывали тележки с обедом), она не захотела отпускать его руку, и он остался стоять у ее кровати, пока в ней внезапно не пробудилось что-то, что-то от прежней Алисы, и она улыбнулась ему и сказала:

— Давай, Деннис. Иди.

По пути к выходу ему удалось поймать старшую медсестру, невероятно полную молодую женщину по имени Ширли или Шелли, которая уверила его, что, по всей вероятности, Алиса сможет вернуться домой через день или два. Конечно, это решать лечащему врачу, который будет делать следующий обход не раньше чем в понедельник, но нет никаких оснований опасаться, что он захочет оставить ее в больнице. Это были хорошие

новости, и его преподобие пожелал передать их Алеку лично, он все равно собирался зайти в «Бруклендз», хотя и совсем по другой причине. Было еще кое-что, и это было трудно назвать или объяснить, — зудящее беспокойство, просочившееся под сень его снов, где в круговерти неожиданно появляющихся и внезапно пропадающих лиц он ощутил надвигающуюся опасность, и пусть природа этой угрозы оставалась неясной, он был убежден, что она как-то связана с Валентайнами, особенно с Алеком, и как друг семьи и духовное лицо считал себя обязанным вмешаться. Как-никак у Алека в прошлом были проблемы. Тот случай, несколько лет назад, когда он попросту исчез и пришлось обращаться в полицию: его нашли где-то на Южном побережье, на самом берегу, но его преподобие так и не смог точно узнать, шел ли Алек вдоль берега или по берегу — в море.

В то утро, уже третье с тех пор, как его мать увезли в больницу, Алек проснулся с мыслью устроить себе убежище в заброшенной беседке в саду. Будет куда уйти, когда все понаедут, уединиться с пьесой. С тех пор как он себя помнил, этой беседкой никогда не пользовались. Она была причудой Стивена — великолепный садовый са-

рай с одним окном, полками внутри и скамейкой снаружи. Дощатые стены скрывались в густых зарослях жимолости и плюща — возможно, именно благодаря этому живому каркасу строение до сих пор не рухнуло.

На крючке в коридоре он нашел кольцо с ключами и бумажным ярлычком с надписью «Сад»; один из ключей подошел к врезному замку беседки — внутри пахло плесенью и чем-то кислым, как старый сидр. Первым делом нужно было избавиться от хлама, и он принялся выносить ржавые жестянки с краской и куски досок, банки с дробью и скипидаром и хрупкие останки полевых мышей и бабочек. Отмыл стены, разорвал пленку из загустевшей краски в одной из банок, взял широкую кисть и начал красить, пачкая джинсы и жалея, что беседка не настолько велика, чтобы он мог делать это несколько дней, — тогда бы не было времени думать о случившемся, в сотый раз проигрывая одну и ту же сцену: Алиса, неуклюже осевшая в кресле на террасе, по ее подбородку бежит струйка чая и каплями падает на шерстяную кофту.

А если бы Уны тогда не было? Ответа на этот вопрос он не знал. Как быстро и спокойно она все сделала! А когда приступы повторились

— бьющая тело дрожь, которая, должно быть, чудовищно изматывала, — она послала его на кухню вызвать «скорую»; когда они сели в ее машину и поехали следом, она объяснила, что подобные приступы не редкость «в случаях, как с вашей матерью», что она почти ожидала этого и ничуть не испугалась, что дела почти всегда обстоят лучше, чем кажется.

В больнице ее положили в отделение интенсивной терапии. В последний раз он увидел ее мельком, когда санитары увозили ее на диагностику: рука уже подключена к капельнице, тело до подбородка накрыто красным одеялом. Уна пошла с ней, а другая медсестра указала Алеку на скамью, стена напротив которой была увешана плакатами о вреде курения, гриппе, презервативах. Он сел и стал ждать, наблюдая, как пациенты в халатах шаркают по коридору — в основном это были небритые пожилые мужчины — и посматривают на входную дверь, как будто ждут, что появится кто-нибудь, кто им посочувствует и скажет, что уже пора по-настоящему одеваться. Мимо торопливо прошла женщина с тележкой, полной замусоленных книг, и несколько крайне неприятных с виду врачей, моложе, чем Алек, со стетоскопами, которые обвивались у них вокруг

шей, как священные змеи. За шторой слева плакал: ребенок и никак не хотел успокаиваться.

Таинственным образом, просидев там полчаса, он уснул, сидя на скамье, и проснулся оттого, что Брандо осторожно потряс его за плечо, а потом увел в другую, более спокойную и упорядоченную секцию больницы, где был его кабинет — простая, удобная для работы комната, небольшая, с окном, скрытым за жалюзи, и письменным столом с фотографией молодого человека, которому вручали какую-то грамоту.

— Наверное, вы пережили шок, — сказал Брандо, присаживаясь на краешек стола. Одет он был очень элегантно.

— Да, — кивнул Алек.

Он сам бы так не сказал, но это было правдой. Он словно стал свидетелем какого-то зверства, избиения.

— Я тепло отношусь к вашей маме, — сказал Брандо. — Она очень мужественный человек.

— Знаю, — ответил Алек.

Он хотел с этим покончить. Ему была невыносима мысль о том, что он может выставить себя на посмешище перед этим человеком. Чтобы тот предложил ему салфетку из стоящей на столе коробки.

— Пусть она побудет здесь. Попробуем убедить ее начать курс лучевой терапии, хотя, конечно, решение останется за ней. Я позвоню вам, когда ее состояние стабилизируется. И тогда вы приедете ее навестить. Согласны?

Вечером Уна по дороге домой заехала в «Бруклендз». Они сидели на кухне, пока не стемнело, она пыталась успокоить его, намекая, что может дать ему что-нибудь, что помогло бы ему прийти в себя. Рецепт. Таблетки. Она даже — очень недолго — подержала его за руку, как будто предлагая ему выговориться, но, хотя искушение и было велико, он не знал, с чего начать, какие слова говорить, и снова замкнулся в изматывающем душу, тупом одиночестве.

— Со мной все хорошо. Просто прекрасно. Спасибо.

Как только она уехала, он пошел в туалет на первом этаже и занялся мастурбацией, чтобы испытать всепоглощающий физический шок оргазма, а потом уснул мертвым сном, свернувшись калачиком в ногах кровати Алисы. Где-то ночью зазвонил телефон, но он не снял трубку. На следующий день он поднялся пораньше и занялся всякими мелкими делами: выбросил увядшие цветы, подмел террасу. Обнаружил банку пчели-

ного воска и часа два натирал стол в столовой, пока не заныли пальцы. Составил список покупок. Вручную постирал пару своих рубашек.

Когда он больше ничего не смог придумать, то пошел к стоявшей перед домом машине и сел в нее, зажав ключи в руке, пялясь сквозь ветровое стекло на тени, висящие между деревьями вдоль подъездной аллеи, словно призраки развешанного для просушки белья. В пятницу было то же самое, только в машину он ходил уже три или четыре раза, даже заводил двигатель, позволяя ему какое-то время поработать вхолостую, прежде чем выключить. У него в голове время летело, смешавшись со звездами и молчанием сломанного механизма. Он не заводил часы отца, и они начали бить вразнобой. Некоторые вовсе остановились. Дом становился тише.

Осборн напугал его, когда постучал по оконному стеклу беседки. Пару секунд они смотрели друг на друга, как будто не узнавая. Потом Алек вышел, и они пожали друг другу руки.

— Наверное, я не вовремя? — спросил священник. Дождь перестал, и на сверкающей каплями лужайке старинный хлам из беседки казался маленькой выставкой, рассказывающей о прошлом. Вот, например, старомодная датская мотыга, с

которой его отец ухаживал за садом. Священник молча ее приветствовал.

— Сегодня утром я виделся с твоей матушкой, — сказал он. — Ей стало уже намного лучше.

— Вам сказали, когда она сможет вернуться?

— Точно — нет. Но уже скоро. Может быть, через несколько дней. — Он огляделся вокруг, ища, куда бы присесть, но на скамейке блестели дождевые лужицы, а кроме нее, сесть было некуда. Ему подумалось о том, как жалко он выглядит, бедняга. И хитрец.

— Ларри скоро приедет, — сказал Алек.

— Чудесно.

— Послезавтра.

— Ты встречаешь его в аэропорту?

— Да.

— В Хитроу, верно?

— Да. Он прилетает первым рейсом.

Осборн вытащил носовой платок и промокнул выступивший на лице пот. Он совсем не жалел, что ему пришлось пробежаться.

— А как ты? — спросил он.

— Я в порядке, — сказал Алек.

— Стараешься себя чем-то занять?

— Здесь много дел.

— Правда? Да, конечно. Дом. Сад. Твоя работа,

само собой. Продвигаешься?

— Потихоньку.

— Это Лазар, верно?

— Да.

— Я определенно о нем слышал.

— Так, значит, вам не сказали, когда она вернется домой?

— Доктор будет делать обход в понедельник. Если нам повезет, он даст ей зеленый свет.

Священник кивнул, рассеянно щурясь. Глупо с его стороны было прийти сюда без плана, и теперь он не знал, как повернуть разговор в нужное русло.

— В вере хорошо то, — начал он, тихо обращаясь к паутине, которая сверкала и подрагивала дождевыми каплями под козырьком беседки, поражая своей замысловатостью, — что она не обязательно приходит раз и навсегда. Дорога в Дамаск и все такое. Ты можешь уверовать на одно утро. Или на час, если не можешь больше. Не важно.

— Простите? — удивился Алек.

— Я хочу сказать, что молитва помогает. Нет ничего естественнее, когда трудно. Некоторые считают это лицемерием, потому что не молятся, когда у них все хорошо. Но в этом нет ничего

зазорного.

— Разве не нужно верить в то, что молитвой можно что-нибудь изменить?

Священник помолчал.

— Может быть, даже не в это. — Он пригладил волосы ладонью. — А в то, что мы не одиноки, — сказал он.

— Нет, — ответил Алек, чувствуя полновесный гнет своего убеждения в том, что на самом деле все как раз наоборот; что именно одиночество лежит в начале и в конце каждого спора. — Хотите чаю?

— Я бы с удовольствием, — ответил священник, — но я собирался сегодня пересадить белые лилии. Если я увижусь с твоей матерью раньше тебя, передать ей что-нибудь?

Алек покачал головой.

— Хорошо. Я скажу ей, что ты не сидишь без дела.

Они посмотрели друг на друга — молчание безжалостно выдавало цель этого разговора и его неудачу. Они снова пожали друг другу руки, и священник направился к лестнице через садовую ограду — обратно на луг. Он всего лишь хотел сказать, что иногда даже самое большое несчастье может оказаться целительным, что всегда

остается лучик надежды. Однако важнее всего оказалось то, что он узнал о приезде старшего брата. Тогда все как-нибудь наладится.

Он поднял взгляд к небу. В разрывах облаков сияла голубизна, яркая, как звезда, и он улыбнулся, чувствуя, как его душа наполняется благодарностью. В то, что в Сомерсете может жить хоть один атеист, верилось с трудом, и не успел он перейти через луг, придерживая рукой хлопающие на ветру полы пальто, как начисто забыл о своих снах.

2

Отправляясь на встречу с Эмилем Беджети, Ласло почувствовал, что ему сдавило грудь, как будто он выкурил целую упаковку «Гаванитос» вместо привычных двух. Парижский воздух казался разреженным и спертым. Чувство было такое, словно дышишь через соломинку, и он забеспокоился. Спросил себя, не признак ли это чего-нибудь серьезного.

В кабинете биологии его школы были выставлены запечатанные бутылки с препарированными органами, человеческими и разных животных, которые служили учебными пособиями. Он был уверен, что среди них было и легкое, которое плавало себе в сиропе, напоминая нарост на коре дерева или на обломке скалы, и которое он даже в детстве не мог представить в качестве органа, отвечающего за человеческую речь и смех. Там же, в кабинете биологии, он выучил разные таинственные слова: альвеолы, плевра, газообмен, которые сейчас почти ничего для него не значили. К стыду своему, он очень мало знал о том, что происходит в мире под его кожей, хотя в ближайшие десять — пятнадцать лет ему неиз-

бежно придется пройти нечто вроде ускоренного курса обучения. К примеру, он знал, что сердце разделено на камеры, как пистолет, но было этих камер две или три? Четыре? Темно ли внутри человеческого тела? Есть ли там цвета?

Он остановился напротив агентства «Эр Франс» на Реннской улице и наклонился вперед, приняв позу, в которой ему было легче дышать. «Сегодня мне нельзя быть стариком», — подумал он. Сегодня ему понадобятся ясность ума и сила духа, воля, незамутненная мыслями о смерти, и он снова подумал о предстоящей встрече, о лежащей у него в бумажнике записке, которую вчера утром или позавчера вечером подсунули в его бумаги в университете. Лист формата А4 в коричневом конверте. Без адреса, без подписи.

«Терраса кафе в „Монд араб“[37] Среда, 16. 00».

Его первым побуждением было бросить ее в металлический лоток на письменном столе — «долгий ящик», в который он складывал все, что не собирался просматривать в ближайшее время. У него были дела. Лекция по Грабалу, десяток студенческих сочинений на проверку. Но за следующий час он несколько раз брался за записку

[37] Примечания: 37

«Институт арабского мира», арабский культурный центр — архитектурный комплекс на берегу Сены.

и перечитывал ее, как будто сообщение, которое вряд ли могло быть более прямым и кратким, было зашифровано. В конце концов, зарычав от нетерпения, он скомкал ее и запустил в мусорную корзину в противоположном углу кабинета, но через несколько минут выудил обратно, аккуратно сложил и засунул в бумажник, рядом с фотографией, на которой стоял с матерью, держа ее за руку, перед их старым домом на набережной Сечени.

Вернувшись домой — Курт был на вечерних занятиях йогой, — он подержал записку над лампой в кабинете. Конечно, он ожидал чего-то подобного с того самого звонка в ночь после званого ужина, но теперь он почему-то вдруг почувствовал себя причастным к тому, что с ним случилось, будто сам согласился на это, если не напросился. Он решил уничтожить записку, разорвав ее на клочки, такие мелкие, чтобы никто не смог ее восстановить. (Кто? Курт? Или Гарбары, ворующие общественный мусор?) Или — это было бы намного надежнее и мудрее — сжечь ее в пепельнице или даже спустить в унитаз, хотя в первом случае останется стойкий запах горелой бумаги, а во втором он рискует вновь увидеть клочки записки, вынырнувшие из недр канали-

зационной трубы. При всех своих достоинствах, канализация времен Пятой республики — в случае с его туалетом речь, пожалуй, шла скорее о Четвертой — была далека от совершенства.

Он измерил шагами кабинет, посмеялся над собой, прочитал заметку из старой «Либерасьон» (Курт хранил все газеты, чтобы потом сдать в макулатуру), просмотрел с десяток страниц последнего черновика своей новой пьесы под названием «L'un ou l'autre»[38]. Для пущей безопасности он принял решение выбросить записку в урну на улице подальше от своего дома. Люди постоянно что-нибудь выбрасывают. Это не вызовет ни малейшего подозрения.

Тот вечер он провел с Лоранс Уайли в баре на бульваре Менильмонтан, в том самом баре, где Франклин приобрел у полицейского пистолет. Было совершенно очевидно, что она выпила дома перед тем, как встретиться с ним, и ей хватило одного бокала «Рикара», чтобы завести старую пластинку. Франклин пропускает приемы у врача. Ночью у Франклина было таинственное недомогание. Франклин отпускает «шуточки» насчет самоубийства. Самой свежей новостью

---

[38] Примечания: 38
Тот или другой (фр.).

был скандал с консьержкой, мадам Барбоссб, которую Франклин обвинил в том, что она за ним шпионит. Ласло заметил, что она, возможно, действительно шпионит. Это ее работа. Но Франклин заставил бедную женщину разрыдаться, обозвав ее «коллабо»[39]. Это ее-то, чей отец геройски погиб в уличном бою в августе сорок четвертого, спасая товарищей, спасая Францию! Разумеется, вмешались соседи. Просто чудо, что они не вызвали полицию. Ласло согласился, что это действительно неприятно, настоящий конфликт, и пообещал еще раз поговорить с Франклином, хотя наотрез отказался выполнить просьбу Лоранс и поговорить заодно и с врачом Франклина, немцем неопределенной сексуальной ориентации, чья приемная была всегда забита художниками, писателями и танцовщиками с их венерическими болезнями и мнимыми опухолями головного мозга.

В полночь он проводил ее домой на улицу Дегерри, обнял, чтобы не тратить слов на утешение, и сел на метро в Пармантье. Мусорных урн было достаточно и на станции, и на улицах, но записка осталась у него в бумажнике. Он не понимал,

[39] Примечания: 39

Сокр. от «коллаборационист» — сторонник правительства Виши, заключившего союз с Гитлером.

что на него вдруг нашло, ведь неврастеником он вроде никогда не был. Или сработала старая привычка к конспирации? Как-никак он вырос при Ракоши[40] и AVH[41], когда осведомители были повсюду, и это считалось само собой разумеющимся. Но он живет во Франции уже сорок лет! Возможно ли, чтобы старые инстинкты было так легко разбудить? Он в этом сомневался и, поднимаясь в лифте к себе в квартиру, вдруг понял, что ведет себя как человек, решившийся на действия, которые пока не может перед собой оправдать, как будто их причина — или то, что могло за нее сойти, дурацкие попытки самооправдания — выглядывала из-за его истинных намерений, как шило из мешка. Курт уже вернулся и, стоя на кухне в нижнем белье, жевал бутерброд с медом. Он продемонстрировал новую асану, которую разучил на занятиях йогой. Ласло выдал историю Франклина и консьержки, которая в его изложении потеряла налет мелодрамы и казалась

[40] Примечания: 40

Матьяш Ракоши (1892–1971) — деятель венгерского и международного коммунистического движения, в послевоенные годы фактический руководитель венгерского государства, в 1956 году под давлением восставшего народа снят со всех постов, умер в эмиграции в СССР.

[41] Примечания: 41

Allamvedelmi Hatosag (венг.) — служба государственной безопасности, в 1956 году реорганизована.

просто забавной. Они посидели еще, потом перебрались в спальню и прошли через прелюдию любовных ласк, но через двадцать минут — таким парализующим действием обладал его секрет — Ласло, распростершись на спине Курта, словно единственный уцелевший после стремительной кавалерийской атаки, был вынужден признать поражение.

— Перебрал с вином, — сказал он. — Прости.

— Спи, — добродушно ответил Курт.

Они были давними любовниками, и неудачи предусматривались по сценарию. Это случилось ночью во вторник.

В среду после обеда, решив прогуляться до «Монд араб» пешком, Ласло предпочел пройти по Реннской улице до бульвара Сен-Жермен, вместо того чтобы срезать у Пантеона с риском наскочить на кого-нибудь из коллег по университету. Была половина четвертого, жара, кафе забиты жизнерадостными американцами. Люди с рюкзаками разглядывали карты путеводителей, перед станцией метро «Сен-Жермен» шарманщик выводил сентиментальную мелодию, у его ног стояла корзина, в которой дремала маленькая собачка. Ласло на ходу повторял заготовленную для Эмиля Беджети речь, изо всех сил стараясь

удержаться на грани между снисходительностью и суровостью. Я пишу пьесы, мой друг, и мое дело — наблюдать, а потом как можно честнее рассказывать. Вот и все. Естественно, я сочувствую вашему положению. Но давайте серьезно — чего вы от меня хотите? Если речь идет о том, чтобы подписать петицию или, может быть, написать статью в газету, на это я мог бы пойти, хотя вы не должны переоценивать мое влияние. Прежде всего, не просите меня вмешиваться в дела других людей. Такие действия, пусть и с благими намерениями, плохо заканчиваются…

Он представил, что они завершат встречу стаканами мятного чая на террасе кафе, а потом он, Ласло, пойдет домой и расскажет обо всем Курту, они посмеются, откроют бутылку «Сансерра», поставят Пуччини, и жизнь пойдет дальше своим чередом, споткнувшись лишь на секунду. Как просто! Он тешился этими фантазиями несколько минут, пока не дошел до башни «Монд араб», которая возвышалась над рекой в кольчуге из металлических плиток — каждая с диафрагмой, как у фотокамеры, которая то сжималась, то расширялась в зависимости от силы освещения — и была, он сразу это признал, в высшей степени эффектным местом для свиданий.

Прозрачные лифты внутри здания доставляли посетителей к библиотеке или на крышу, и Ласло поехал наверх в компании студента-араба — высокого бородатого типа, одним своим видом излучающего превосходство, — и двух парижаночек подросткового возраста, одетых в нечто вроде плотно облегающих хлопковых ночных рубашек, за которые кое-где в мире им бы устроили порку. (Конечно, окажись он сам в краях, где господствует суровая теократия, поркой бы дело не ограничилось.)

В самом начале пятого он вышел на террасу. С десяток человек расположились у перил ограждения, еще двадцать — тридцать сидели за деревянными столиками. Внутри кафе было почти пусто. Он с минуту постоял посреди террасы и, почувствовав себя неловко оттого, что так глупо стал на виду, нашел свободное место у перил и принялся обозревать окрестности. Нотр-Дам, Гений Свободы на площади Бастилии и дальше — мерцающий в дымке выхлопных газов Сакре-Кёр, до странности похожий на космический корабль, с кремовым куполом, устремленным в небо. По одну сторону от Ласло восточного типа девушка снимала вид на цифровую камеру, по другую — парочка влюбленных смотрела вдаль,

как будто с палубы лайнера, несущего их к берегам страны, где они нашли свое счастье.

Он ждал пятнадцать минут. Влюбленные побрели прочь. У противоположного берега реки солнечный свет и вода затеяли причудливую игру, отчего создавалось впечатление, будто в окнах домов на Бетюнской набережной стремительно разгорается жаркое пламя. Он сказал себе, что рад, что вся эта история закончилась ничем, что так даже к лучшему, и, в последний раз оглядевшись, снова сел в лифт, пересек внутренний двор и остановился на углу улицы Фосс в ожидании, пока загорится зеленый. Рядом с ним остановился молодой человек в спортивной куртке — он затянулся сигаретой и посмотрел вперед. Они вместе перешли дорогу и едва ступили на тротуар, как молодой человек тронул Ласло за рукав жестом настолько мимолетным, что он вполне мог сойти за случайность. Это напомнило Ласло — неловкое воспоминание для такого случая — о его случайных связях в Париже в первые годы после эмиграции, в дни, когда, ослепленный мучительным одиночеством, он проводил время с незнакомцами, чтобы молотком похоти заглушить свою боль.

— Да?

Молодой человек швырнул окурок в канаву, где он завертелся, подхваченный течением, среди фруктовых очисток и билетов метро.

— Машина ждет, месье. Пожалуйста, поторопитесь.

Он пошел вперед, и, за три-четыре секунды справившись с охватившими его колебаниями, Ласло последовал за ним на набережную Турнель, где в хвосте вереницы такси стоял серый «фольксваген». Второй человек, постарше и более плотного сложения, нагнулся, чтобы открыть дверцу. Ласло усадили на заднее сиденье, молодой человек сел рядом со своим товарищем. Двое полицейских в рубашках с короткими рукавами медленно прошли мимо, взглянули на водителя, потом на Ласло, на саму машину (водительскую дверцу украшала вмятина), но не остановились, как будто в такой теплый день было куда приятнее продолжать разговор, чем проверять очередную машину, за рулем которой оказался тип, чем-то смахивающий на иностранца.

— Куда мы едем? — спросил Ласло.

— Здесь недалеко, — ответил тот, что помоложе. Они выехали на проезжую часть, разгоняясь там, где это было возможно, но не превышая скорости. Ласло откинулся на спинку сиденья

и начал смотреть на проплывающий за окном город, на его доступную всем красоту. Пока они ехали на запад вдоль реки, мимо Нового моста и музея «Орсэ», он решил подготовиться: обдумать аргументы и контраргументы, выстроить линию защиты от возможных обвинений. «Мне страшно?» — спросил он себя. И подумал, что нет.

У моста Альма они повернули на юг и поехали по кругу до авеню Боске, снова возвращаясь к реке. Потом, пристально посмотрев в зеркало заднего вида, водитель прибавил скорость и резко свернул в переулок — Ласло привык считать, что на таких улочках живут только тоскующие по дому filles au pair[42] и вдовы с комнатными собачками. Там нет ни баров, ни ресторанов, и в семь вечера уже не встретишь ни души, жизнь замирает.

Они остановились в пятидесяти метрах от конца улицы, и Ласло последовал за своим юным проводником в арку одного из домов, у выхода из которой начиналась узкая металлическая лестница, подобно виноградной лозе оплетавшая угол внутреннего дворика. Молодой человек несколько раз останавливался, чтобы Ласло его

[42] Примечания: 42

Студентки-иностранки, работающие нянями и одновременно посещающие занятия (обычно языковые курсы) в университетах (фр.).

догнал.

— Пожалуйста, — говорил он, волнуясь, как будто боялся провалить эту последнюю часть своего задания. — Пожалуйста…

Добравшись до самого верха, они вошли в коридор, который был едва ли шире плеч Ласло. Они пришли, понял он, в одно из тайных мест города, где за обшарпанными дверями, практически незаметная для посторонних глаз, могла скрываться любая форма жизни.

Молодой человек остановился у второй двери справа и постучал условным стуком: три быстрых удара. Дверь открыл Эмиль Беджети.

— Спасибо, — сказал он, не обращая внимания на молодого человека, и повел Ласло в комнату. — Я знал, что вы придете.

— В таком случае, — ответил Ласло, все еще запыхавшись после подъема, — вам было известно больше, чем мне.

Комната оказалась невероятно маленькой, une chambre de bonne[43] в форме тупого клина, почти под самой шиферной крышей. Летом здесь душно, зимой пробирает до костей. Ласло пожил свое в таких комнатах и никогда не думал, что

---

[43] Примечания: 43
Комната прислуги (фр.).

ему случится снова там побывать.

В центре комнаты стояли три стула, два напротив одного, а у стены — односпальная кровать с продавленным матрасом, на которой не было ни простынь, ни покрывала. На столике у кровати стоял будильник, рядом с ним лежал сотовый телефон. На одном из стульев сидела молодая женщина в черном платье — лицо у нее было настолько бледным, что казалось выскобленным, — и изучала Ласло холодным, полным высокомерия взглядом, от которого ему стало не по себе.

— Было бы здорово, — сказал Ласло, — если бы вы не смотрели на меня так.

— Но это зависит от вас, месье, — резко ответила женщина.

Эмиль жестом приказал ей замолчать.

— От меня? — повторил Ласло.

Он сел на стул напротив нее и словно вновь — внезапно — оказался в другой комнате в другом доме, куда мужчины и женщины пришли, чтобы получить свои задания: стол устелен картами улиц, по зимнему городу разносится эхо орудийных залпов. И он уже знал, что ему снова дадут задание, скажут, за что ему предстоит отвечать, но не Фери или Йошка, а молодая женщина, чьего

имени он не знал и которая, при всей своей осведомленности, вряд ли понимала, что за нужда его сюда привела. Он посмотрел ей прямо в глаза и улыбнулся — улыбкой, в которой смешались гнев и грусть, и, не в силах понять, почему он так улыбается, она смутилась.

— Продолжайте, — сказал Ласло. И они приступили к делу.

3

Есть такой слух, может, правда, может, просто пилотская байка, что пассажирам экономического класса подается меньше кислорода, чем тем, кто летит классом повыше. Ларри не помнил, от кого он это слышал — может, даже от Ранча, — но, выбираясь из очередного омута дремоты, был готов согласиться, что этот слух имеет под собой основание, потому что в более счастливые времена он путешествовал по другую сторону таинственного занавеса и, как ему теперь казалось, действительно вдыхал более насыщенную смесь и чувствовал себя лучше. Живее и оптимистичнее.

Он протер кулаками глаза и повернулся, чтобы посмотреть на Эллу, но ее кресло оказалось пустым; он привстал и огляделся по сторонам — в проходах ее тоже не было. Они занимали два средних кресла из четырех в центральной секции прямо за крыльями. По одну сторону сидел американский студент, направлявшийся в летнюю школу в Оксфорд, — молодой человек с угреватым лицом, который всякий раз, обращаясь к Ларри, говорил ему «сэр». По другую — монахиня,

азиатка по происхождению, которая крестилась и молилась во всеуслышание, когда самолет взлетал из Сан-Франциско, и Ларри был ей за это благодарен. Подобно большинству людей, он имел весьма смутное представление о механизме такого коллективного сопротивления силе тяжести и полагал, что будет лучше, если хоть один пассажир помолится об их благополучном приземлении. Выждав минут пять, он наклонился к монахине и спросил, не видела ли та его дочь.

— Дочь? — Она произнесла это слово, как будто оно было для нее в новинку, но, очевидно, поняла его, потому что с явной тревогой оглянулась на пустое сиденье, словно ребенок мог каким-то чудом выпасть из самолета и, пролетев сквозь толщу воздуха, утонуть в пучинах Атлантики.

— Думаю, она ушла, пока я дремал.

— Мы ее искать, — решительно заявила монахиня.

— Нет-нет, — запротестовал Ларри, — я один пойду.

Но монахиня уже встала с кресла.

— Меня зовут сестра Ким, — сказала она.

— Ларри Валентайн, — представился Ларри.

Он заметил, что помимо обычного монашеского снаряжения — рясы, четок, распятия — на ней

были новенькие бело-зеленые кеды, украшенные написанным по-гречески словом «победа».

Они вместе пошли по салону мягко подрагивающего самолета, озираясь по сторонам. Сестра Ким остановила проходившую стюардессу и объяснила ей — на собственном диалекте, — что «джентльмен потерял свою маленькую девочку».

— У нее астма, — добавил Ларри, надеясь, что это оправдает присутствие монахини.

— Не волнуйтесь, — сказала стюардесса с резким английским выговором, — она не сможет далеко уйти в самолете, разве не так?

И они отправились дальше уже втроем, в ту самую минуту, когда экраны опустились для показа очередного фильма и освещение в салоне померкло. Тщательно обследовав туалеты, стюардесса решила посоветоваться со старшим бортпроводником.

— Ингалятор у нее с собой? — спросил бортпроводник.

— Да, — ответил Ларри, вспоминая, как он положил его в нагрудный карман ее комбинезона, когда они ждали приглашения на посадку после надрывного прощания с Кирсти, которая отвезла их в аэропорт и проводила до самой регистра-

ционной стойки, где несколько минут, присев на корточки и чуть не плача, сжимала Эллу в объятиях. Ларри чувствовал себя задетым, как будто перелет в его компании таил в себе угрозу для девочки. И тем не менее начался он не очень гладко.

На экранах молодые дамы в платьях времен Регентства принимали зашедшего в гости кавалера. Большую часть пассажиров клонило в сон, как всегда бывает при поездках на дальние расстояния. Сбросив обувь, они скучающе пялились вверх. Некоторые надели предоставленные бесплатно черные маски и спали или пытались спать. Не чувствовалось ни малейшего движения.

Новый этап поисков продолжался уже пятнадцать минут; процессия из мужчины, монахини и двоих бортпроводников шествовала по проходам, пока не наткнулась на пропавшего ребенка на верхней палубе, в одном из незанятых мультирегулируемых кресел клубного класса — девочка сидела, сна ни в одном глазу, по-видимому, замышляя очередную проделку. Бортпроводники изумились. Как ей удалось проникнуть сюда никем не замеченной? Но Ларри знал, что его дочь обладает таинственными способностями

и что умение ускользать от взгляда взрослых, который, как частое сито, ловит лишь крупные предметы, — только одна из них.

— Ты всегда оставаться с папа. — Сестра Ким погрозила девочке пальцем и тут же подмигнула ей, назвав «милым ребенком».

Ларри взял Эллу за руку и повел обратно.

— Хочешь посмотреть кино, Эл?

Всадник мчался под дождем, черная блестящая фигура верхом на черной блестящей лошади. Но Элла предпочла раскраску из детского набора, который ей вручили в начале полета, и принялась закрашивать рисунки, нахмурившись от усердия, как будто раскрашивание было ответственным поручением от кого-то, облеченного властью, и имело скрытую от Ларри цель. Внутренний мир дочери становился для него все более чуждым. Он уже не знал даже самых простых вещей: счастлива ли она или, по крайней мере, довольна ли. По мнению Хоффмана, путешествие должно было пойти ей на пользу. Терапевтическое воздействие вкупе с фундаментальным человеческим опытом. Он заявил, что ему нравится, когда «его маленькие люди» встречаются с госпожой Смертью и жмут ей лапу. Кирсти тоже была «за», и Ларри оказался в меньшинстве. Но разве ребенку

могло пойти на пользу то, что ждало их в Англии? Что случилось с бабушкой? Куда бабушка уехала? Нет. Он не мог разделить веру Хоффмана в способность детей противостоять грубой правде жизни. С чего ребенку быть сильнее взрослого мужчины?

Сестра Ким рассматривала книгу с фотографиями других монахинь. Руки у нее были маленькие и натруженные — настоящие рабочие руки, и Ларри спросил себя, было ли ее сердце таким же, потрескавшимся и рубцеватым от необходимости любить всех без разбора. Он спросил, не сможет ли она присмотреть за Эллой, пока он пойдет освежиться. Она согласилась, и, вытащив из-под кресла синий кожаный несессер, он направился в туалет, задвинул складную дверь кабинки и оказался лицом к лицу с собственным отражением. Освещение было неумолимо больше обычного. На лицо словно лег серый загар, даже волосы, светло-русая шевелюра, в которую калифорнийское солнце вплело золотые нити, выглядели заурядно и скучно. Под кожей проглядывали черты человека стареющего и слабого.

Он отлил. Кто-то толкнул дверь. Ему нестерпимо хотелось курить, но если обнаружится, что человек, только что потерявший дочь, подвергает

опасности жизни остальных пассажиров и становится причиной пожарной тревоги, в Хитроу его встретят — еще одна фантазия на тему грозящего ареста — социальные работники и транспортная полиция. Он усмехнулся при мысли, как отреагировал бы на это Алек, и, думая о брате, понял, как сильно хочет с ним увидеться и что в какой-то мере на него рассчитывает. Как Алек теперь выглядит? Прошло пять-шесть лет с тех пор, как он пережил «трясучку» (выражение Алисы) и оставил преподавание в лондонской средней школе. Насколько серьезным был тот его срыв? Лечился ли он? Он так и не спросил об этом, потому что шесть лет назад был в Сан-Диего — участвовал в рекламной кампании «Рибок» и договаривался с Реем Лумумбой о роли в «Солнечной долине». Только что родилась Элла, и проблемы Алека казались напоминанием обо всем, что он — Ларри — оставил позади в далекой Англии, сбежав от парок, которые в пресыщенных странах Старого Света всегда слишком торопятся взять в руки ножницы и которые уже отправили его отца в подземный мрак. Он не мог представить, как они с Алеком справятся с тем, что их ждет в ближайшие недели, какое нечеловеческое напряжение им придется вынести, но факт оставался фактом:

они скоро осиротеют — мысль ужасная, будоражившая воображение, пробуждавшая к жизни все детские страхи.

Кирсти, чья мать умерла в возрасте сорока семи лет (ее «Сессна» спикировала в Мексиканский залив на пути в Тампу), сделала ошибку, попытавшись подбодрить его порцией хаотичных дзен-рассуждений в ночь, когда он вернулся из Лос-Анджелеса. Она рассказала ему про звонок Алека и добавила: «Знаешь, страдание происходит от нашей неспособности принять быстротечность жизни». В этой истине он уже давно не сомневался, но он также знал, что она понимала ее так же смутно, как и он сам, притязая на мудрость, до которой ей было еще расти и расти, и эта искра тут же разожгла одну из их самых безобразных и бешеных ссор. На кухне при свете лампы, посреди сверкающей утвари, приобретенной благодаря «Генералу Солнечной долины», они швыряли в лицо друг другу обвинения, нимало не заботясь об их справедливости и правдоподобности, — словесная драка вслепую.

— Ты хочешь, чтобы Элла это услышала? — спросила она, когда Ларри, еще не отошедший от выпивки и наркотиков, которыми он накачался у Т. Боуна, повысил голос.

Руки в боки, сварливая жена с карикатуры, она потребовала, чтобы он рассказал ей, чем занимался в Лос-Анджелесе; когда же она не поверила, и вполне справедливо, в его тщательно отредактированную версию того, как он провел последние полсуток, он чуть не задохнулся от возмущения. Ее собственная жизнь не давала ему особых поводов для упрека (в конце концов он стал думать об этом факте как о проявлении своего рода посредственности), и он не нашел ничего умнее или уместнее, чем обвинить ее в заигрывании с ее гуру, япошкой, господином Быстротечностью, на что она, вполне справедливо, выплеснула ему в лицо остатки своего «О-Джея» и вышла из кухни, задержавшись в дверях, чтобы прошипеть: «Когда-то я тобой *восхищалась*».

Больше всего его угнетала быстрота, с которой они докатились до этой стадии отношений, словно каждый развил в себе именно те качества, каких не мог выносить другой, хотя на следующий день он извинился, молча, отчасти трусливо, купив банку ее любимых маслин из магазина «Молинари» на авеню Колумба. Он оставил банку на кухонном столе, сделанном в виде барной стойки, за которым они обычно завтракали, и следил из коридора, как она пальцами выужива-

ет оливки из масла. И он мог бы подойти к ней в ту минуту — их разделяло всего три шага, — мог положить руки ей на плечи и сказать нужные слова. Но в браке (по крайней мере в его браке) расстояния обманчивы, и он остался за дверью, словно извращенец, подглядывающий, как соседи занимаются любовью, чтобы смотреть, как его жена ест маслины и пачкает щеки маслом, смахивая набежавшую слезу.

Дверь снова толкнули. «Занято!» — крикнул Ларри. Он разбирал несессер, выкладывая его содержимое на узкую стальную полку у раковины. Безопасная бритва, поливитамины, дезодорант, обезболивающее. Два запасных баллончика для ингалятора Эллы. Флакон дероксата из дымчатого пластика; пять пластинок с таблетками занакса; флакон лювокса, коробочка паксила, презерватив, кусачки для ногтей, зубная щетка, глазные капли, пинцет. Он проглотил по таблетке занакса и дероксата, почистил зубы, потом высморкался, заметив в слизи вкрапления крови от последней длинной дорожки некачественного порошка, что он вдохнул с обложки компакт-диска в пустой комнате, пока Кирсти с Эллой ждали в «чероки» перед домом.

Сине-красные капсулы, взятые из аптечки

Ранча, лежали в виниловом боковом кармашке несессера, все еще завернутые в кусок оранжевой туалетной бумаги. Он не смотрел на них с того самого дня в долине Сан-Фернандо, хотя часто о них размышлял, и их близость будила в нем самые темные и душераздирающие мысли. Капсул было три, одна чуть больше других. Секс и смерть. Или вообще ничего, ничего, кроме выдумки врача-извращенца или россказней, которыми Ранч развлекает девиц, — тогда он до сих пор сидит в своей пристройке с Розиной и малышкой Йо, и они вместе хохочут над тем, как легко этот парень из сериала проглотил наживку. Вы бы видели, как он глаза выпучил! Да он хотел сожрать их не сходя с места!

И все же, при всей невозможности и фантастичности этого предположения, что-то подсказывало Ларри, что пилюли обладали именно такими свойствами, какие им приписывал Ранч, и что где-то в Лас-Вегасе действительно есть человек, наделенный смертоносным знанием для того, чтобы их изготовить. Но какова бы ни была истина, ему представился прекрасный случай от них избавиться, прямо сейчас, когда они пролетали над одной из тех постоянно сжимающихся зон планеты, на которую еще никто не заявил своих

прав. Уже представив, как они почти невесомо падают сквозь какой-нибудь канал в блестящем брюхе самолета, он увидел, что его пальцы снова тщательно заворачивают их и прячут обратно в карман несессера. Отказаться от этого имущества он пока еще не готов. Скоро, да-да, очень скоро. Но не сейчас.

Он возвращался на свое место, а фильм продолжал свой бег на двух десятках экранов. Капоры, экипажи, исполненные прелести английские холмы. Кавалеры хмуро поглядывали друг на друга и кланялись дамам, а дамы тем временем ожидали тайных записочек.

Элла, с раскраской на коленях и карандашом в расслабленном кулачке, выглядела так, как будто сон застал ее врасплох. Сестра Ким улыбнулась и кивнула. Ларри поблагодарил ее. Улыбка монахини стала еще шире.

— Я знаю, кто вы, — прошептала она. — В монастыре у нас иногда тоже есть телевизор.

— Помолитесь, когда мы пойдем на посадку? — спросил Ларри.

Она согласно кивнула.

— Наш пилот — Иисус, — ответила она.

Он прикрыл ноги дочери пледом и откинул спинку своего кресла. Снова навалилась уста-

лость, физические ощущения притупились, но мозг будоражили неистощимые запасы мыслей, ранее отложенных на потом. Он не мог решить, нужно ли ему принимать бесчисленное множество решений или совсем никаких; требует ли ситуация, в которой он оказался, некого всплеска энергии, лихорадочных действий, или он мог просто ждать и смотреть, что будет; действительно ли он не может сделать ничего такого, что изменило бы хоть что-нибудь. Он не может спасти Алису — да и кто бы смог? Судя по всему, ему не под силу спасти даже собственный брак. И если все рухнет, он, сказать по совести, не знал, хватит ли у него стойкости и умения спасти самого себя. Он достал из сумки затычки для ушей и запечатал себе череп, отгородившись от вздохов и раздраженного бормотания попутчиков. Закрыл глаза и попытался сосредоточиться на быстротечности жизни, но задача эта оказалась чересчур сложна. Он так и не повзрослел и, так же как и все, кроме, возможно, господина Эндо, плывет против течения, которое постоянно сносит его назад. А там, за спиной, маячит призрак бескрайнего одиночества, когда рядом не останется никого, потому что никто не сможет остаться. И он должен смириться? В чем же здесь

утешение? И какого мужества это предположение потребует? Ясно, что намного больше, чем у него есть. Ему придется положиться на совсем другое оружие — слабость, к примеру, — и, соскальзывая, но не в сон, а в некое параллельное состояние, которое испытывают только пассажиры дальних рейсов, — он представил себе и даже поверил, хотя при ощутимом недостатке кислорода подобным мыслям нельзя доверять на все сто, что единственной оставшейся для него торной дорогой было само поражение. На это он и возложил надежду.

4

Беседа в маленькой комнате продолжалась больше часа. Окно было закрыто — по правде говоря, оно казалось запечатанным, — и очень скоро вместе с потом сквозь поры выступило раздражение. Эмиль, с бородой, выбритой по контуру челюсти, выдал хоть и краткий, но чрезвычайно пристрастный анализ политической ситуации на Балканах, в то время как молодая женщина, с узким черепом, высокими скулами, сильно покатым лбом и небольшими бледными припухлостями вокруг глаз, из-за чего создавалось впечатление, что у нее не все в порядке со здоровьем — может, хроническая бессонница, — ограничилась замечаниями на тему международного тайного сговора, целью которого было сохранить нейтралитет к подобным бедствиям, если вмешательство невыгодно: «нефти нет». Ласло досталась роль адвоката дьявола. Когда Эмиль заявил, что первыми истинными обитателями Косово были именно албанцы — под видом древних иллирийцев, Ласло указал на то, что этому нет никаких реальных доказательств: ни памятников, ни достоверных письменных

текстов, ничего, кроме незначительных лингвистических совпадений. Чем не доказательство того, что движение за независимость в Косово — всего лишь очередная интрига для воплощения давних амбиций великой Албании? И разве это законно? С чего это сербы *должны раздаривать* свои территории?

— Вы защищаете Милошевича? — воскликнула молодая женщина. Она едва усидела на стуле.

— Милошевич, — ответил Ласло, — циник и преступник. По правде сказать, я считаю его психически ненормальным. Но при чем здесь Милошевич? Это похоже на племенную разборку. На кровную месть.

Ему показалось, что она вот-вот залепит ему пощечину, но Эмиль взял ее за руку и перевел разговор на Боснию. Заговорил о резне в Сребренице, о лагерях в Омаршке и Маньяке, об убийцах, подобных Аркану и Мирко Йовичу, и о систематических изнасилованиях женщин и девушек мужчинами, прячущими лица под маской, потому что они были соседями своих жертв.

— В Косово тоже так будет, — сказал он, — Поверьте мне. Все повторится. У боснийцев, по крайней мере, была хоть какая-то армия. Они могли сражаться.

— А вы исчерпали все мирные средства? — спросил Ласло. Он взглянул на молодую женщину, чья хрупкая фигура светилась жестокостью. — Ибрагим Ругова производит впечатление очень хорошего человека.

— Ругова хороший человек, — сказал Эмиль, — но он не человек действия. Он не воспрепятствовал увольнению ста пятидесяти тысяч албанцев, которых просто вышвырнули на улицу. Врачей, учителей, всяких государственных служащих. Он не положил конец апартеиду в школах и ущемлению нашего языка. Он не остановил аресты и избиения. Вам известно, месье, что любое высказывание, критикующее Сербию, расценивается как словесное преступление и карается двумя месяцами тюрьмы? Вам известно, что тысячи людей вызывают в полицейские участки для так называемых «содержательных бесед» — допросов, которые длятся по три дня и основания для которых никогда не предъявляются? Они составляют списки, месье, и однажды они воспользуются этими списками, и тогда им будут не нужны разговоры. Вам известно, как сербы называют косовских албанцев? «Туристы». Они намерены от нас избавиться, месье, и мир заметит это только тогда, когда будет слишком

поздно. Разве не прописная это истина, что человек имеет право сражаться, чтобы защитить свою жизнь? Свою семью?

Примеров было намного больше, хотя с той минуты, как Милошевич лишил Косово автономии, у Ласло не осталось никаких сомнений в справедливости албанского сопротивления. Несчастные сербы со своим сумасшедшим лидером стали заложниками мифа, состряпанного в девятнадцатом веке и вновь разогретого национал-коммунистическими демагогами сто лет спустя. Как же это называется? «Политика ненависти и необоснованных предубеждений». Но одно дело — осуждать режим, сидя за столом с друзьями, и совсем другое — действенно помогать тем, кто замыслил его насильственное свержение. Он больше не сомневался насчет того, в чьей компании оказался. Успел ли обагрить руки в крови Эмиль Беджети? Где он был в январе, когда совершилось нападение на ректора Приштинского университета?

Дважды за время встречи звонил мобильник. Говорил в основном голос на другом конце линии, которому Эмиль отвечал с большим уважением. На исходе часа он налил Ласло из бутылки «Вольвика» стакан теплой минеральной воды.

— В пятьдесят шестом, — сказал он, затрагивая тему, мимо которой, как и ожидал Ласло, Эмиль пройти не мог, — вас разве интересовала законность вооруженного сопротивления?

— Нет, — ответил Ласло.

— Хотя вы знали, что это не игра? Что погибнут люди, много людей?

— Наша страна подверглась оккупации.

— Вы сражались за свободу.

— Да.

— И вы до сих пор считаете, что поступали правильно?

— Да. Но, возможно, мне стоит вам напомнить, что мы проиграли. Справедливая причина не гарантирует победы.

— Так ваша жертва была напрасна?

— Нет, — сказал Ласло. — Мы кое-чего добились, хотя трудно сказать, чего именно. Они показали нам нашу слабость, но и мы показали им, что они слабы. Конечно, никто из свидетелей того, что тогда произошло, не удивился, как быстро все рухнуло в восемьдесят девятом.

— Дело не только в этом, месье. Вы подали пример всему миру.

— Подавали пример лучшие из нас. К тому же в подобных случаях всегда много жестокости. Суды

Линча. Массовые казни. Такие вещи не служат хорошим примером.

— Я знаю, некоторые считают вас политическим фаталистом. Конечно же, я читал ваши работы. Но я спрошу вас еще раз, ответьте честно: вы и ваши товарищи ошибались, взяв в руки оружие?

Ласло покачал головой.

— Вы бы отказали другим в праве поступить так же?

— Конечно же нет.

— Тогда могу я предположить, что вы не стали бы противодействовать движению, преследующему цели, схожие с теми, за которые сами когда-то сражались?

— Почему я должен ему противодействовать?

— Вы бы поддержали его?

— Возможно.

— Активно или пассивно?

— Из вас получился бы хороший иезуит, — сказал Ласло.

— Религия, — раздраженно заявила молодая женщина, — хуже фашизма.

— А из вас, — сказал Ласло, — прекрасный член партии. У вас в голове одни лозунги.

Эмиль сказал:

— Вы можете помочь нам, месье. Сильно рисковать не придется. Вы теперь преуспевающий, уважаемый человек. Я не прошу вас от этого отказаться.

Ласло покоробила заносчивость собеседника.

— Возможно, я как раз хочу от этого отказаться. Возможно, я совсем не тот человек, за которого вы меня принимаете, месье Беджети. Не слишком полагайтесь на свои разведданные. А теперь, я надеюсь, вы расскажете мне, и во всех подробностях, чего вы от меня хотите.

Повисла пауза. Эмиль кивнул.

— Вы даете мне честное слово, что ни с кем не станете говорить об этом?

— Так точно.

— Даже с месье Энгельбрехтом?

— Даже с месье Энгельбрехтом. По крайней мере не сразу. А потом вы должны будете мне довериться и позволить действовать так, как я считаю нужным.

Не дожидаясь, пока женщина возразит, Эмиль кивнул в знак согласия.

— Мы в ваших руках, месье.

— Лучше будет сказать, что мы в руках друг у друга, — сказал Ласло.

Он спросил себя, что могло бы с ним случиться,

вздумай он их предать. Полиция выудила бы его труп из Сены? Он подготовился — подготовился услышать все, что угодно, — но то, чего от него хотели, оказалось настолько ничтожным, что его первой реакцией стало глубокое разочарование. Им был нужен курьер. Почтальон. Чтобы переправить груз за границу и вернуться обратно.

— И все?

— И все.

— А что это будет за груз? Документы?

Снова пауза.

— Деньги?

— Я уверен, вам известно, — сказал Эмиль, — что уже несколько лет все албанские эмигранты платят налог на содержание автономии. На школы и больницы, которые нас заставили создать на собственные средства. Многие хотят, чтобы мы активнее боролись за свои права. Они делают щедрые пожертвования, чтобы это осуществить.

— Деньги на покупку оружия…

— На продукты, лекарства, одежду…

— Военную форму.

— Вы хотите, чтобы мы покупали книги? — спросила женщина.

— Очень бы этого хотелось, — ответил Ласло. — Но скажите, куда нужно отвезти этот груз?

— А вы не догадываетесь? — спросил Эмиль.

— Нет, — ответил Ласло. — Даже представить не могу.

— А для поездки в какую страну вы подходите больше всего? Где не будете чужаком? Какой вы знаете язык?

— Язык?

Так вот в чем дело! Его выбрали не потому, что он «борец за справедливость», а потому, что он знает редкий язык!

— Вы хотите отправить меня в Венгрию?

— В Будапешт, — уточнила женщина.

Ласло запрокинул голову и рассмеялся — удержаться он не смог. Какую шутку сыграли с ним боги! Странно, но у него не было ни малейшего предчувствия, что такое может случиться.

— Кого, — спросил Эмиль, наклонившись, чтобы зажечь сигарету, — удивила бы ваша поездка туда? Город вы знаете…

— Я не был там с девяносто первого.

— Город ведь не мог измениться за шесть лет? Кроме того, у вас там родственники.

— Двое братьев, не то двоюродных, не то троюродных. Престарелая тетка. Мой родной брат…

— …В Америке. Мы это знаем. Дело в том, что я буду там иностранцем. Мой приезд сразу же

вызовет подозрения. К тому же я хорошо известен сербским информаторам в Париже, их здесь предостаточно. Стоит мне уехать, как об этом тут же сообщат куда следует.

— Но почему в Будапешт?

— Это вам знать ни к чему, — сказала женщина. Ласло покачал головой:

— Вам придется рассказать больше.

— Мы идем, — ответил Эмиль, — туда, где есть люди, которые могут предоставить то, что нам нужно.

— Я слышал, в Будапеште есть отделение украинской мафии, — сказал Ласло. — С такими людьми вы имеете дело?

Эмиль поднял вверх ладони.

— Как сказала моя коллега, это вам знать ни к чему. Точнее, я не имею права рассказать вам больше. Замечу только, что в магазине не обязательно восхищаться продавцом.

Ласло вытянул из кармана носовой платок и тщательно вытер набежавший на глаза пот.

— Предположим, — сказал он, — что я соглашусь выполнить вашу просьбу — я пока не даю никаких обязательств, — и когда мне нужно будет выехать?

— Через шесть дней, возможно, через неделю.

— И я получу груз в Париже?

— Мы посвятим вас в детали, когда получим ваше согласие. Вы должны сообщить нам о своем решении завтра до трех часов дня. Если вы с нами не свяжетесь, мы расценим это как нежелание нам помочь. Предложений сотрудничать больше не будет. И будем считать, что этой встречи не было.

Он протянул клочок бумаги с написанным на нем телефонным номером.

— Позвоните из автомата. Себя не называйте. Просто спросите: «Франсуаза дома?» И все.

— «Франсуаза дома?»

— Об остальном мы позаботимся.

— Еще одно, — сказал Ласло. — Вы упомянули Курта Энгельбрехта. Если я узнаю, что вы хоть как-то вовлекли его в это, я пойду в полицию и донесу на вас. Вы поняли?

— Да, — ответил Эмиль. — Отлично.

Он проводил Ласло до выхода на лестницу, где их ждал молодой человек в спортивной куртке.

— Знаете, — сказал Ласло, — что бы вам обо мне ни говорили, на самом деле я никогда не был образцовым «борцом за свободу».

Эмиль улыбнулся:

— Я и не думал, что вы Че Гевара, месье.

— Понимаете… — Ласло посмотрел на самое дно двора-колодца, в один из углов которого стекли лучи предзакатного солнца. — Я не смог нажать на курок. Вы это знали?

— Мы делаем то, что можем, — ответил Эмиль. — Каждый делает, что может. В меру своих сил.

— Да, — сказал Ласло. — Но я ничего не сделал. — Он повернулся к своему проводнику: — Пойдемте.

Эмиль смотрел на них, стоя у верхней ступеньки. Когда они дошли до поворота лестницы, он произнес:

— Иногда нам дается второй шанс, месье. Только он не был уверен, что писатель его услышал.

5

В шесть утра по британскому летнему времени рейс номер BA902 из Сан-Франциско под истовую молитву сестры Ким спланировал вниз сквозь гряду подернутых розовым облаков, и под крылом самолета стремительно развернулась Англия, пестря жилыми массивами и лоскутками полей. Шоссе, автомагистраль, стадион, промышленная зона. В открывшемся ландшафте не было ничего особенно грандиозного, но, по крайней мере, с воздуха от него веяло чем-то домашним, по-человечески хрупким, исполненным прелести после долгого времени, проведенного им среди небоскребов и пустырей Америки.

Алек ждал их за автоматическими дверями в зале для прибывших — бледная, понурая фигура в кучке встречающих ранний рейс. Он помахал рукой и улыбнулся. Ларри, чьи руки были заняты большими чемоданами, улыбнулся в ответ, подумав, что такие моменты всегда связаны с неловкостью узнавания, как будто человек, тебя встречающий, оказывается не вполне тем, кого ты ожидаешь увидеть. Даже такие хорошо знакомые детали, как лицо и осанка брата, казалось,

слегка отличались от тех, что он помнил.

Выйдя за турникет, он поставил чемоданы на пол. Алек протянул руку, но Ларри подтянул его к себе и обнял, и это лучше любых слов помогло ему понять, что именно произошло здесь за последние несколько недель. Не столько дрожащее от напряжения тело брата, сколько исходившая от него аура несчастья, как от комнаты, где наказывали детей.

Элла подняла голову. Алек поцеловал ее в лоб.

— Хорошо долетели?

— Дерьмово. Спасибо, что встретил.

— Да ладно.

— Хорошо выглядишь, — заметил Ларри.

— В самом деле?

— В самом деле.

— Я рад, — сказал Алек, приподняв бровь, будто все сказанное имело иронический подтекст.

Когда они перешли дорогу перед автостоянкой, он сказал:

— Она возвращается сегодня. Уна привезет ее из больницы около четырех.

Он сообщил это настолько походя, что Ларри, чувствовавший себя растянутым меж часовых поясов, как паутина, на мгновение замешкался, пытаясь понять, о ком тот говорит.

— Мама?

— Кто же еще?

— Это же просто чудесно! Слышишь, Эл? Бабушку выписывают из больницы!

У него словно камень с души свалился. Воссоединение семьи у больничной койки было мрачной перспективой, не в последнюю очередь потому, что больницы вызывали у него странные ассоциации. Казались своего рода театром. Местом, где он притворялся другим человеком.

— Ей лучше? — спросила Элла.

— Чуть получше, — ответил Ларри, глядя на Алека. — Но только чуть-чуть.

— Ей нужно принимать лекарство, — строго сказала Элла.

Они ехали по быстро оживляющемуся шоссе — в зеркале заднего вида маячило малиновое солнце, «рено» дребезжал и поскрипывал, упрямо не желая ехать быстрее семидесяти километров в час. Братья говорили про Алису, хотя и с оглядкой, не забывая про сидящую сзади Эллу. Ларри без особых расспросов выяснил, что брат не навестил мать в больнице. Алек не захотел ни объяснить почему, ни оправдаться. Он не сказал: «Я не смог. Я пытался, но не смог», — и Ларри не стал на него давить, хотя и разозлился. После десяти часов в

самолете довольно трудно сохранить терпимость к страхам других людей, к их недостаткам. И неспособность Алека на такую простую вещь, как поездка в больницу, говорила о том, что на деле все еще хуже, чем он предполагал. Он сказал себе, что все в порядке, что они справятся, но у него вдруг земля ушла из-под ног, словно после забега на пределе дыхания он увидел перед собой огромное расстояние, которое еще нужно преодолеть.

Перед Ковертоном они свернули с автострады — «Чувствуешь, как пахнет морем, Эл?» — и поехали по вересковой пустоши. Вдоль дороги замелькали деревушки, чистенькие и ухоженные, напоминающие тихий пригород, амбары и старые сельские школы превращены в частные дома с дорогими иномарками у входа, лишь по-прежнему высокие зеленые изгороди буйствуют под июньским солнцем.

После поворота на подъездную аллею к «Бруклендзу» Ларри подался вперед, гадая, какие перемены ему предстоит увидеть. В последний раз он приезжал сюда, когда Алису провожали на пенсию, в прошлом августе, — он тогда надрался в стельку беспошлинным виски и, спрятавшись за беседку, целовался с учительницей рисования, мисс Как-ее-там. В свете последовавших событий

та ночь все чаще вспоминалась, как фильм, снятый накануне вселенской катастрофы, которой никто не ждал, но к которой все втайне готовились. Но это было не так, потому что они все искренне заблуждались насчет уготованного им будущего, и Алиса еще не сказала или, по крайней мере, не намеревалась говорить тех слов, что она прошептала ему за минуту до того, как вылетели пробки. Абсурд! Как она себе это представляла? Что он задушит ее подушкой в ту же секунду, как она перестанет соображать?

Из-за деревьев выплыл дом — он еще больше покосился от времени, еще больше скрылся под ползучими сорняками. На крыше со стороны фронтона в черепице зияло с десяток дыр, водосточный желоб над одним из окон верхнего этажа проломился, а деревянная калитка, ведущая в сад, была полуоткрыта — ее заклинило намертво, и она превращалась в подпорку для сорняков.

Он покачал головой.

— Здесь очень много работы, — сказал он, — очень много работы.

Его тошнило от усталости.

Задремав в комнате на первом этаже, Ларри наслаждался обществом сестры Ким и не удивился бы, окажись она и вправду подле него — его доб-

рый ангел-хранитель, но, проснувшись, увидел только Эллу, которая в шортиках и футболке болтала ногами на соседней кровати и наблюдала за ним. Один из чемоданов был открыт, и Ларри автоматически проверил его содержимое, чтобы выяснить, на что она могла польститься на этот раз, но в чемодане были только одежда, туалетные принадлежности да пара книг — ничего, что могло бы представлять для нее интерес. Он послал ее найти Алека, а сам в это время побрился, принял душ, выпил целый кофейник кофе, выкурил три сигареты и проглотил очередную таблетку занакса. Потом, чувствуя себя скорее по-другому, чем лучше, с последней чашкой кофе в руке пошел обследовать дом, заглядывая в комнаты и выглядывая из окон, открывая его заново, пытаясь *свыкнуться* с ним.

Спальню Алисы он оставил напоследок, опасаясь впечатления, которое она могла на него произвести, но комната оказалась тщательно убранной и проветренной, и пахло там лишь полиролем для мебели и — едва уловимо — хвойным дезинфицирующим средством. Шторы были раздвинуты и подвязаны. Ни одежды на стульях, ни обуви на полу, ни обычного для комнаты, где лежит больной, хлама из таблеточных упаковок,

склянок и недочитанных журналов. Двуспальная кровать аккуратно застелена лоскутным покрывалом, примятым в ногах, как будто там кто-то сидел. Он разгладил складки и подошел к комоду, на котором были расставлены фотографии — под углом, чтобы их было видно с кровати. Самая большая из них (увидев ее, он вздрогнул) изображала его самого в шестнадцать лет, в белой форме, ждущего своей очереди ступить на корт на турнире юниоров в Истбурне. Потом портрет Алека в университетской мантии на выпускной церемонии в Университете Восточной Англии, — он бодро улыбался, но, несмотря на это, выглядел так, словно что-то потерял. Рядом — в симпатичной рамке из покрытого лаком дерева — слегка размытая от времени черно-белая фотография Алисы, какой она была подростком: перед плакучей ивой с отцом и мужчиной помоложе, который отвернулся от камеры и смотрел, нахмурившись, на что-то не попавшее в кадр, чего остальные еще не заметили.

Он взял в руки фотографию Эллы — годовалая малышка голышом на одеяле. Потом увеличенный кричаще-яркий снимок свадебного торжества в Лемон-Коув: Кирсти, стриженная под «пажа», смеется шутке, брошенной из толпы

восхищенных зрителей, в то время как ее отец преподносит им аккуратно упакованный подарок. Набор для фондю? Шейкер для коктейля с дарственной надписью? Разделочные ножи?

Он постоял, прислушиваясь к доносящимся из дома звукам, потом выдвинул бельевой ящик и вытащил один из бюстгальтеров Алисы, затейливое сооружение из эластика, проволоки и пастельного кружева, спереди украшенное маленьким шелковым бантиком-бабочкой. Он вспомнил о бюстгальтерах, которые когда-то покупал для Кирсти. Девицы Натана Слейтера научили его всем бельевым премудростям — как отличить скучное от сексуального, как подобрать оттенок в тон коже, какие фасоны подчеркивают изгиб, какие — все достоинства сразу. Он попытался вспомнить, когда Кирсти в последний раз надевала что-нибудь из его подарков, и понял, что не помнит, когда он в последний раз видел ее в нижнем белье. Уж точно не на прошлой неделе. Несколько месяцев назад. И это, конечно же, служило бесспорным доказательством того, что их разделяла целая пропасть. Того, что они медленно, но верно становились чужими друг другу.

Он повернул бюстгальтер и прижал к лицу одну из чашечек, как маску. Тонкий запах стираль-

ного порошка, сухой лаванды. Мало или совсем ничего от Алисы. Он быстро засунул его обратно и плотно задвинул ящик.

— Черт, — сказал он. — Черт, черт, черт.

В детской Элла рассматривала старые игрушки, которые ей демонстрировал Алек. Некоторые из них лежали на столе, словно музейные экспонаты на экспертизе — боксерская перчатка, космический корабль, маленький черный пистолетик. Но вниманием девочки сразу завладела стеклянная колба с проволочным штырем внутри и прикрепленными к нему шестью маленькими квадратными парусами из черно-белого картона. Ларри помнил эту игрушку. Его удивило, что нечто столь хрупкое могло сохраниться так долго.

— Поднеси ее к окну, Эл. От солнца паруса закрутятся.

Она захотела узнать, как называется эта игрушка. Он пожал плечами.

— Придумай сама, — сказал он. — По-моему, ты можешь оставить ее себе. Спроси у дяди Алека.

— Конечно, — сказал Алек. Он вытаскивал из-за кучи коробок крытый сукном колченогий карточный столик.

— Не думаю, чтобы она умела играть в бридж, —

сказал Ларри. — Разве нам не нужно готовиться к маминому приезду?

— А что нам готовить? — возразил Алек. — Готовить нечего.

Он понес стол в коридор, а Элла, торжественно держа солнечную машину перед собой, зашагала следом, словно служка с утварью за священником.

В половине четвертого приехал Деннис Осборн, чтобы вместе с остальными встретить Алису. Принес букет розовых и бордовых пионов из собственного сада. Они с Ларри пожали друг другу руки.

— Как тебя приняла Америка?

— По-королевски, — ответил Ларри.

Все собрались в гостиной. Со времени ее последнего ремонта прошло двадцать лет. Побелка вокруг люстры потрескалась, бирюзовые обои закрутились на стыках.

— Я думал, ты будешь сниматься в другом сериале, — сказал Осборн.

Ларри кивнул, спрашивая себя, как бы Осборн поладил с таким человеком, как Т. Боун, о чем бы они говорили, случись им вдвоем застрять в лифте.

— Это только вопрос времени, — ответил он. —

Я подыскиваю другого агента.

Закапал дождь. Из окна Ларри видел, как оживает сад, искрясь сонмом маленьких водяных всплесков. Он и забыл, какая переменчивая в этих местах погода: настоящая круговерть — только что было светло, и вдруг темнеет.

Элла с Алеком сидели друг напротив друга за карточным столиком. Священник погладил девочку по голове.

— Здравствуйте, юная леди, — сказал он.

Элла улыбнулась в ответ с выражением, которое, Ларри был твердо в этом уверен, она переняла у одного из своих врачей. Перед ней на столе вверх дном стояли три красных пластмассовых стаканчика. Она пыталась отгадать, под каким стаканчиком прячется шарик.

— А как дела у твоей милой женушки?

— У нее все в порядке, — ответил Ларри.

— Когда я думаю о Калифорнии, то представляю длинные дороги, вдоль которых тянутся пальмы. И фиолетовое небо. И Рекса Харрисона, который стоит на балконе и курит сигарету с мундштуком из черного дерева.

— Так оно и есть, — ответил Ларри.

Элла хлопнула по среднему стаканчику, но ошиблась. Алек по-прежнему опережал ее на

пару ходов. Ларри гадал, сколько брату пришлось тренироваться. Он никогда раньше не видел его в роли фокусника.

Каждый раз, когда по дороге за аллеей проезжала машина, внимание взрослых (и может быть, Эллы тоже) на мгновение переключалось на этот шум — настроение собравшихся в комнате беспрестанно колебалось от напряжения к облегчению, и эти колебания становились все невыносимей.

Ларри сказал:

— По-нашему сейчас восемь утра. В этом доме найдется что-нибудь выпить?

— Может, херес, — ответил Алек. — Посмотри в баре под телевизором.

В баре стояла одинокая бутылка «Харвиз бристол крим», почти полная, покрытая тонкой патиной пыли.

— Что случилось с папиными часами? — спросил Ларри.

Его собственные часы только что пропищали очередной час.

— Их нужно завести, — сказал Алек. — Я был занят.

— И я могу это подтвердить, — поддержал его Осборн.

— Что ж, она скоро приедет, — сказал Ларри.

Он налил себе стопку хереса. Осборн решил, что пить еще не время. Ларри знал, что Алеку предлагать бесполезно.

— Когда-то я знал один карточный фокус, — сказал священник. — Все дамы оказывались сверху колоды.

— Эй, так мы можем устроить волшебное представление на бабушкин день рождения! — воскликнул Ларри. — Что ты об этом думаешь, Эл?

— Нужны шарики, — буркнула она, следя за руками Алека, как кошка за мышью.

— Совершенно верно, — согласился Осборн. — Какой же праздник без воздушных шариков.

Алек передвигал стаканчики. По ходу дела он твердил подобающую случаю абракадабру. Ларри шагнул к столу.

— На этот раз она угадает, — сказал он.

Стаканчики встали на свои места. Элла тут же хлопнула по тому, что оказался слева от нее. Алек поднял стаканчик.

— Умница, — похвалил ее Осборн. — Умница.

Не успел Алек приступить к повторению фокуса, как они все услышали шорох едущей по гравию аллеи машины. Замерли на секунду, а

потом дружно бросились из комнаты и выбежали за парадную дверь как раз тогда, когда Уна выключала зажигание. Хотя дождь был очень мелкий, Алек принес из коридора большой зонт, с каким обычно играют в гольф, и раскрыл его над Ларри и Эллой. Священник стоял позади, все еще с пионами в руках. Уна вышла из машины. Ларри выпустил руку Эллы и, обойдя машину, подошел к пассажирской дверце. Открыл ее и наклонился, чтобы помочь Алисе, и несмотря на то, что всего секунду назад она казалась совершенно апатичной — пожилая дама, заблудившаяся в одном из своих печальных воспоминаний, — она внезапно ожила, схватилась за его руки и оторвала себя от сиденья.

— О, Ларри, — простонала она. — Ларри, мальчик мой.

Она припала к нему, вцепившись руками в его рубашку, а он обнимал ее, закрыв глаза, шепча ей на ухо, напевая вполголоса, как влюбленный, в то время как остальные, благоговея при виде такой отчаянной нужды одного человека в другом, смотрели на них, не смея вмешаться. Элла подошла к отцу и просунула палец в петельку для ремня у него на брюках. Ларри высвободил одну руку и прижал девочку к себе. Осборн прошептал

что-то из Библии. Уна улыбнулась Алеку, губы у нее дрожали. Для Алека эта сцена была исполнена самой отчаянной неловкости — такого он еще не видел, — и он уставился под ноги, на гравий, боясь издать какой-нибудь ужасный звук, взвыть от горя.

— Может, войдем в дом? — спросил он.

Но никто не двинулся с места, казалось, они замерли навсегда, оцепенев от избытка чувств.

На следующий день Алиса Валентайн, подобно умирающей королеве в окружении придворных, лежала в своей старой кровати в «Бруклендзе» и объясняла близким, чего она от них требует и как теперь — в последние дни ее жизни — им себя вести. Несмотря на прилагаемые усилия и недостаток воздуха в легких, она говорила внятно и обстоятельно, хотя в число ее лекарств вошли новые, дающие более длинную и густую тень, и она блуждала от света к тьме с нерегулярностью, означавшей, что она больше не может быть уверена в здравости своего ума. Но при всем при этом ее удивило, что единственным человеком, кто ее понимал, оказался Алек.

Она не могла пошевелить правой рукой, а потом увидела, что эту руку держит Ларри, сидящий рядом с ней на краю кровати. У него на коленях

примостилась ее внучка, серьезная, как китайчонок. Девочке следует играть в саду, вместо того чтобы сидеть в доме и смотреть на вещи, от которых ей будут сниться страшные сны. Она спросила, кто принес цветы. Алек кивнул на Денниса Осборна, и она рассмеялась, задохнулась, закашлялась и сказала священнику, что его преподобие располнел и теперь она уж точно не станет его подружкой, даже если он выкопает для нее весь свой сад. Вот Сэмюэль (неужели она это сказала?), Сэмюэль знал, как осчастливить женщину.

Наконец она повернулась к Брандо и велела ему проследить, чтобы все было именно так, как она просила, хотя он довольно грубо выговаривал Уне, стоящей по другую сторону кровати. Она подумала, что может сильно разозлиться, если он сделает это еще раз. Конечно, он ведь иностранец. Кондитер. Она сказала, что не слышала ничего смешнее Кеннета Хорна в «Вокруг Хорна»[44]. Я повторяюсь? Алек ответил, что нет. Спасибо, дорогой. Она сказала ему, что не сердится на то, что он не пришел к ней в больницу. В этих заведениях просто умираешь от избытка созерцаемого горя.

---

[44] Примечания: 44
Популярная в 1960-е годы юмористическая радиопостановка.

А когда ты слабеешь окончательно и не можешь больше за себя постоять, с тобой обращаются, как с вещью. Она сказала, что любит их всех, а теперь не будут ли они так любезны убраться и прийти попозже. Спокойной ночи, сказала она, хотя еще даже не наступил полдень и сквозь подрагивающие от ветра шторы проникал танцующий по стенам свет.

Ларри проводил доктора Брандо до машины, серебристо-голубого «ауди»-универсала, стоящего в тени под деревьями. Поблагодарил его за визит. Потом спросил:

— Что вы об этом думаете?

— Ну, — ответил Брандо, бросая взгляд на часы, — очевидно, она потеряла ориентацию, но это скоро пройдет. Я также уверен, что она скоро перейдет с французского на английский, хотя на крайний случай у вас всегда есть помощник. Как ваш французский?

— Никак, — ответил Ларри.

— Я уверен, что Алек переведет все, что необходимо.

— А что будет дальше? — спросил Ларри.

Брандо вставил ключ в дверцу машины. Когда он повернул его, все замки щелкнули в унисон.

— Прогнозы делать трудно, Ларри. Особенно на

этой стадии. Приступы оказались сильнее, чем я думал. Несомненно, многое зависит от особенностей самого человека, но совершенно ясно, что со временем она будет все больше нуждаться в постоянном уходе. Я слышал, ваша жена собиралась приехать?

— На следующей неделе.

— Значит, в доме будет еще одна женщина. Очень хорошо. Звоните мне, если у вас будут вопросы. И поговорите с Уной. Она знает свое дело. Она всегда даст вам хороший совет.

— Хорошо, — сказал Ларри.

У него были вопросы. О том, как быть с болью. О том, что именно бывает в самом конце. Но доктор спешил, и вопросы пришлось отложить. Он смотрел, как машина едет по аллее, с урчанием двигателя и хрустом гравия под колесами, потом закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Он еще не совсем отошел от смены часовых поясов. Накануне вечером, поговорив с Кирсти («Конечно, конечно. Все замечательно»), он провалился в глубокий сон, но спустя два часа проснулся и провел остаток ночи, прислушиваясь к биению собственного сердца и сопящему дыханию дочери, доносящемуся с соседней кровати. Он знал, что никому ничем не сможет помочь, пока не

расслабится, но занакс оказался бессилен подавить захлестнувший его вихрь эмоций. Он решил принять ванну. Надо полежать в ней подольше, может, тогда напряжение спадет и, может быть, ему удастся часок вздремнуть, чтобы хоть как-то сбросить с плеч груз сонливости. Он вернулся в дом, достал несессер и отправился в ванную, которая располагалась в самом конце коридора на втором этаже. На лестнице — ему удалось удержать взгляд, зацепившийся было за разворот журнала «ПЛИЗ!», — он встретил Эллу со священником, которые шли вниз. По всей видимости, Осборн в то утро брился без помощи зеркала. На шее у него красовался порез, а у левого уха засох кусочек мыльного крема. Когда Ларри спросил Эллу, чем та собирается заняться, она сложила губы бантиком и пожала плечами. Священник сказал, что они пойдут в сад и поищут раннюю вишню.

— Ты взяла ингалятор, Эл? — спросил Ларри.

Она показала его.

— Хорошо. — Он погладил волосы девочки. — Будь умницей.

Алек вышел из комнаты и плотно прикрыл за собой дверь.

— Уна еще с ней? — прошептал Ларри.

Алек кивнул.

Они отошли от двери к окну, выходящему в сад.

— О чем она говорила? — спросил Ларри.

— Уна?

— Мама. Сплошной французский.

— Много всего.

— Например?

— Например, кто принес цветы. Каково было в больнице. Она сказала, что хочет съездить в старый дом. В дом бабушки Уилкокс.

— Ого. Я даже не помню, как туда ехать. Ты помнишь?

— Смутно.

— Ты считаешь, что она сейчас в состоянии куда-нибудь ехать?

— Не знаю.

— Нам пришлось в прямом смысле нести ее вверх по лестнице.

— Это то, чего она хочет.

— А она знает, чего хочет?

— Тебе кажется, что ты знаешь лучше?

— Конечно нет. Господи. Совсем не нужно так на меня кидаться.

Он чуть не сказал: «Она ведь и моя мать». Здесь, дома, он вдруг почувствовал, что ему снова че-

тырнадцать лет.

— Может, обсудить это с Уной? Брандо сказал, что она знает свое дело.

— Она знает. Молчание.

— Я буду в беседке, — сказал Алек.

— Хорошо.

— У нее есть звонок.

— Знаю.

— Она сказала, что рада, что ты вернулся.

— Да. Я тоже.

Проходя по саду, Алек услышал голос священника:

— Шестьдесят один, шестьдесят два, шестьдесят три…

С первой же минуты, как он приехал сюда из Лондона, ему захотелось, чтобы другие разделили с ним это бремя. Защитили его. Но теперь, когда эти другие были здесь, он обнаружил, что скучает по одиночеству прошлой недели, когда источающий умиротворение сад пробуждал в нем нечто схожее, а все эти голоса разрушили это чувство. Было трудно сохранять вежливость. И еще труднее было думать.

В беседке было душно от жары и до одури пахло жимолостью. Он оставил дверь открытой и положил рукопись на стол у окна. На полке, где

когда-то хранились глиняные цветочные горшки, он расставил словари и другие нужные ему книги, включая экземпляры «Короля Сизифа» и «Вспышки» в переводе Элиарда. Его собственные усилия не смогли завести его дальше первой трети первого акта. После случившегося у Алисы приступа, который в его воображении приобрел мифический размах, он просто физически не мог сосредоточиться. Он как будто лежал между молотом и наковальней, стараясь не думать о том, что будет, когда молот опустится. Он не мог переводить. Не помогло даже письмо Марси Штольц, что переслал ему господин Бекква, в котором та признавалась, что «заинтригована» и очень хочет узнать, как продвигается работа. Весь мир за пределами белой калитки «Бруклендза» казался невообразимо далеким, хотя он знал, что Штольц могла позвонить (номер у нее был), и тогда ему придется лгать ей, говоря, как замечательно идет дело и как он счастлив, что выбор пал именно на него.

Он протер очки подолом рубашки, взял карандаш, наточил его и открыл рукопись:

Mineur un: J'ai revé de se moment cent fois. Même quand j 'étais éveillé.

Mineur deux: Et comment termine le rêve?[45]

Вряд ли Ларри хоть что-нибудь понял. Ларри беспокоится о Ларри. Или о Кирсти, или об Америке, или о чем-то еще. Но не об Алисе. Конечно, ему было не все равно, им всем было не все равно, но те, другие, были только зрителями, а этого недостаточно. Он не верил, что кто-нибудь из них видел то же, что видел он: полнейшую невозможность оставить все так, как есть, плыть по течению недели и месяцы. Но что он может сделать? Неужели он до сих пор верит в сказки? В то, что можно случайно отыскать волшебное лекарство? По-видимому, да, и от этого ему стало и смешно, и невероятно грустно, и он рассмеялся над собой в ту самую секунду, когда Уна постучала по косяку распахнутой двери.

— Я и не знала, что это комедия, — заметила она.

— Только местами, — ответил Алек.

Она вошла в хижину.

— Это он? — Она указала на Ласло, стоящего в Люксембургском саду, — Алек приколол фотографию к ребру полки. — Интересно, что у него

---

[45] Примечания: 45

Первый шахтер: Мне сто раз это снилось. Даже тогда, когда я просыпался.

Второй шахтер: И как прекратить этот сон?

в руках?

— Может быть, торт. Или бомба.

— Я бы сказала, что у него доброе лицо, так что, скорее всего, это торт.

— Возможно.

Он изучал ее лицо, пока она изучала лицо Лазара. Нижняя губа чуть больше верхней. Светлые ресницы. Серые глаза, подчеркнутые сиреневыми тенями. Маленький круглый шрам на одном из крыльев носа, словно от сделанного когда-то давно пирсинга. На ней было голубое хлопчатобумажное платье без рукавов, а кожа ее загорелых, медово-коричневых плеч казалась еще темнее по контрасту с чуть заметной простой белой лямкой бюстгальтера. Она наверняка загорает каждые выходные — он представил ее с парнем, может быть врачом, у которого есть яхта или кабриолет. С кем-нибудь вроде молодого Брандо.

— О чем говорила ваша мать? — спросила она.

Он рассказал ей про старый дом.

Она кивнула.

— Давайте посмотрим, как она будет себя чувствовать. Вам теперь придется уделять ей все больше и больше внимания.

— Знаю.

— Я положила на комод дексаметазон и напи-

сала, как его принимать. Вы проследите, чтобы она не забыла про лекарства? Нам бы не хотелось снова класть ее в больницу, если можно этого избежать.

— Я прослежу, — сказал он.

— Мне понравился ваш брат, — сказала она.

— Мы совсем не похожи.

— О, я в этом не уверена, — возразила она. — Вы уже заканчиваете пьесу?

— Да, потихоньку.

— Здорово.

Деннис Осборн, покраснев от непривычной физической нагрузки, пытался спрятаться под хилым фруктовым деревцем. Уна с улыбкой подождала, пока Элла выскочит из высокой травы и поймает его.

— Тебя зовет папочка, — сказала она, протягивая девочке руку. — Извините, что помешала вашей игре, ваше преподобие.

— Мне надо отдышаться, — сказал он. — Как Алиса?

— Снова говорит по-английски. Она стала капризничать, правда?

— Бедная женщина, — сказал священник, неловко усаживаясь на траву. — Я могу чем-то помочь?

— Она уснула. Лучше всего дать ей как следует выспаться.

— Да, — сказал Осборн. — Сон — лучший лекарь. Элла, мы еще увидимся.

— Спасибо, что поиграли со мной, — ответила Элла, основательно натасканная в употреблении подобных реплик.

Она взяла Уну за руку, и они вместе направились в прохладу дома. Уна завела девочку в гостиную и попрощалась. Ей надо было спешить к другому пациенту в Нейлси. Страдающий гемофилией ребенок, у которого к тому же обнаружилась саркома Капоши. Мать сходит с ума. Боится спать. Все время спрашивает почему. Почему он, почему мы. Почему, почему, почему.

— Веди себя хорошо, — сказала она. — Присматривай тут за всеми, пока я не вернусь.

Элла подождала немного. Когда до нее донесся стук закрывшейся входной двери, она включила телевизор и принялась переключать каналы, хотя без пульта дистанционного управления ей было трудновато разобраться, как это делается; однако, даже разобравшись с кнопками, она не смогла найти MTV. Она остановилась на мультфильме и свернулась калачиком на диване, приготовившись смотреть — сумасшедшие гон-

ки, столкновения-взрывы, — когда вошел отец, в белом махровом халате, с несессером в руке. Он выключил телевизор и опустился перед ней на колени.

— Нам нужно поговорить, — сказал он. — Очень серьезно поговорить.

6

Вечером после встречи с Эмилем Беджети Ласло с Куртом пошли поужинать в «Марко Поло» на улице Конде. Заказали *asparagi di campo, risotto alla sbirraglia, tortellini bollognese*[46] — все, чем славился ресторан. Потом пошли домой, рука об руку, мимо церкви Сен-Сюльпис, вдоль Люксембургского сада. Было начало первого. Сквозь сияние фонарей чуть видно проглядывала звездная россыпь, а воздух был насыщен смесью испарений сточных канав, садовой свежести, табачного дыма, ресторанного чада и кислого, но чем-то приятного спертого дыхания метро, прорывавшегося сквозь широкие решетки на тротуаре, — эта благоуханная смесь и придавала парижским ночам их неповторимый привкус.

Курт сжал руку Ласло; Ласло ответил пожатием. Ему всегда было неловко ходить так, и он соглашался на это только в минуты особой нежности, когда требовалось нечто большее, чем просто близость. Не то чтобы он стыдился Курта. Наоборот, он зачастую не верил своему

---

[46] Примечания: 46
Блюда из спаржи, риса и теста с начинкой (ит.).

счастью, не верил, что такой приятный молодой человек согласился разделить с ним свою жизнь. Но Ласло был гомосексуалистом, который тем не менее питал какую-то необъяснимую неприязнь к собственному племени. В Сан-Франциско, где он работал в театре «Арто», он ужаснулся, увидев, как мужчины используют друг друга совсем как собаки — ножку стола, всю эту извращенную и жалкую пародию на дионисии. По правде говоря, он никогда не думал о себе как о голубом, или гее. Или о педике. С ним все не так, думал он. Просто были в его жизни люди, начиная с Петера, которые были ему нужны и которые по чистой случайности оказались мужчинами. Он не хотел делать из этого фетиш, участвовать в демонстрациях, носить значки. И как бы то ни было, он был родом из того времени и места, где само понятие «нетрадиционная ориентация» было под запретом. В Венгрии гомосексуализм преследовался по закону еще долгие годы после того, как Ласло оттуда уехал. Пусть его родители и могли с этим смириться — они были врачами, либералами, людьми начитанными, — но Партия бы его уничтожила. Двое мужчин в одной постели, слившиеся в акте взаимного обожания, были такой же крамолой, как подпольная типография,

да и во Франции в те годы было не лучше — единственным исключением был театр, где всем было наплевать, что кому нравится или кто.

Но этим вечером ему хотелось вспоминать прошлое, которое он делил с Куртом Энгельбрехтом, а не то, что принадлежало только ему, потому что в тех воспоминаниях, и чем дальше, тем больше, он чувствовал себя призраком среди призраков, странником в полях асфоделей. Дома, на авеню Деламбр, он настежь распахнул окна, зажег свечи и достал из бара рядом с книжной полкой бутылку самбуки. Наполнил две стопки, бросил в каждую по кофейному зерну и зажигалкой нагревал поверхность водки, пока на ней не заплясали едва различимые язычки синего пламени. Он протянул одну из этих забавных стопок Курту.

— Венеция, — сказал он.

— Венеция, — ответил Курт, широко улыбаясь.

— «La Fenice e des Artistes»[47]…

— Мурано.

— Сан-Микеле.

— Читта ди Витторио…

— Ах!

Они уже давно этого не делали — не пере-

[47] Примечания: 47

Отель в Венеции. Далее герои называют другие памятные им места в Венеции и ее окрестностях.

бирали те десять — двенадцать историй, что составляли официальную канву их близости. Как обычно, они начали с Венеции, с того утра, когда, проснувшись у себя в отеле, они увидели, что город укутан снегом, как в сказке, и, закутавшись в одеяла, несколько часов не отходили от окна, завороженные этим чудом, словно десятилетние дети.

Потом Севилья — район Триана в четыре часа утра. Со стертыми ногами, злые, безнадежно заблудившиеся, они забрели в бар на речной набережной, чтобы послушать канте хондо[48], и окунулись в толпу, курящую, словно в трансе, увидели певца — мужчину средних лет в темном костюме, стоящего в дальнем конце бара, — его голос то содрогался от горя, то дрожал в экстазе.

— Дальше?

Вена. Час скорби над могилой матери Ласло, за которым последовали крайне двусмысленные и в чем-то комичные выходные в гостях у родителей Курта, славных людей всего на несколько лет старше самого Ласло, которые все время обращались к нему «герр профессор», предпочитая думать — неужели они и в самом деле в это

---

[48] Примечания: 48
Разновидность фламенко, песня испанских цыган.

верили? — что его интерес к их сыну — исключительно педагогический.

И отпуск в Нью-Йорке у брата Ласло, Яноша, разведенного окулиста, который держал у себя в квартире целую свору шнауцеров, гордость собачьих выставок. Для Курта это была первая поездка в Америку, и, когда они в вечерних сумерках ехали в желтом такси из аэропорта, трясясь по плохим дорогам через каньоны из расцвеченных электричеством небоскребов, у него в глазах стояли слезы восторга…

Вечера в театре. Ночи в городе. Выходные на природе. Ты помнишь? Учебник истории, в котором лишь несколько страниц склеены вместе, хотя каждый раз, когда они играли в эту игру, — побуждаемые невысказанным беспокойством? — воспоминания менялись, по мере того как грань между памятью и воображением стиралась или становилась ненужной. Так происходило почти всегда, а если нет, то была самбука, и многое можно было просто придумать. Для того-то, думал Ласло, такие напитки и существуют.

В половине одиннадцатого он наконец позволил своим глазам открыться и посмотреть на дневной свет. Курт уже давно встал, одеяло с его стороны кровати было отброшено, как будто он с

нее спрыгнул. Ласло поплелся в ванную. Он чувствовал себя возбужденным и даже больным, его пенис почти стоял, в левом ухе надсадно гудело, а с языка еще не сошел привкус огненной воды. Он встал под душ, хорошенько прокашлялся, чтобы очистить легкие, побрился, задев кадык, и полчаса спустя вошел в кухню с тремя клочками туалетной бумаги, приклеенными к коже его собственной кровью.

Наклонившись над плитой, он съел croissant beurre[49], проглотил по таблетке обезболивающего и витаминов, надел широкие серые брюки и льняную рубашку и вышел на улицу, чувствуя себя героем Хемингуэя, старым боксером, которого облагородила слабость и который силился выйти на ринг, чтобы провести последний, решающий бой. В этот день нужно было уладить все оставшиеся дела, и именно поэтому он собрался поговорить с Франклином Уайли, хотя вовсе не был уверен в том, что хоть одно из его слов возымеет действие. Устыдит, обнадежит. Было невозможно представить, а уж тем более принять как должное, что их многолетняя дружба закончится молчанием, тупыми взглядами взаимного

[49] Примечания: 49
Круассан со сливочным маслом (фр.).

непонимания.

Он сел в метро на станции «Монпарнас», сделал пересадку на «Севастопольском бульваре» и к полудню уже вышел в Пармантъе. Во фруктовой лавке на углу улицы Жакар он купил большой пакет вишни, потом пошел на улицу Дегерри и набрал код на входной двери, но на пути к лестнице его выследила мадам Барбоссб и замахала, чтобы он подошел к ней. Она видела его уже много раз, знала, что для Уайли он был «все равно что член семьи», и благоговела перед ним как перед деятелем культуры, чье имя иногда мелькает в газетах, хотя не имела ни малейшего представления, чем именно он занимается. Она сказала, что месье Уайли вышел из дома рано, в восемь часов, когда сама она только пришла на работу. Мадам Уайли ушла через два часа после месье, чтобы поехать на обед к матери в Эпинэ[50].

— Мне следовало позвонить, — сказал Ласло, хотя все это очень его удивило: в это время Франклин почти наверняка всегда был дома — работал, или валял дурака от безделья, или даже спал. Он предложил консьержке вишенку. Она смотрела на него, будто он мог, стоит напра-

---

[50] Примечания: 50
Парижский пригород.

вить разговор в нужное русло, поведать ей нечто скандальное, что она могла бы добавить к своей коллекции рассказов о семействе Уайли. Чем могла бы развлечь соседей.

— Дадите мне запасной ключ? — спросил Ласло. Он ничего не имел против того, чтобы посплетничать, но случай был неподходящим. — Я положу вишню в холодильник, а то она станет невкусной.

— Как вам угодно, месье.

Она сходила в привратницкую и принесла ключ. Ласло с одышкой поднялся на пятый этаж и вошел в квартиру. Она была старая, и в ней мало что изменилось с тех пор, как Уайли купили ее году в семьдесят восьмом — семьдесят девятом, выбрав за высокие потолки, красивую церковь перед окнами через дорогу и поток вечернего солнца. Стены коридора, превращенного в маленькую галерею, были плотно увешаны картинами. Несколько вещей Франклина, но большинство полотен — работы умерших друзей, включая Филиппа Гастона[51], там был даже пер-

[51] Примечания: 51

Филипп Гастон (1913–1980) — американский художник, представитель второго поколения абстрактных экспрессионистов.

форманс Бойса[52], изображавший что-то похожее на скорбную голову, может, Орфея, «его обагренный кровью лик», плывущий по водам Геброса.

Он пошел на кухню, где на крюках в стене в несколько рядов висели разнокалиберные сковородки. Сколько раз они ужинали здесь все вместе! Лоранс была первоклассной кухаркой; а еще она была очень аккуратной, до педантизма, и для нее кухня была важным местом, местом, которое следовало уважать, — тем более удивительным и обескураживающим было увидеть на полу разбитую бутылку красного вина, оставленную там, куда она упала, или куда ее уронили, или — один Бог знает наверняка — швырнули. Звездная россыпь осколков, лужицы вина в углублениях между плитками пола, брызги на кухонных столах и шкафчиках. Последствия стычки, не иначе.

Он на цыпочках обошел осколки и положил вишню в холодильник, потом заглянул под раковину, надеясь найти старые газеты, чтобы собрать битое стекло; присев на корточки, он просматривал первую полосу апрельского выпуска «Либерасьон», когда услышал, как откуда-то

[52] Примечания: 52

Джозеф Бойс (1921–1986) — немецкий скульптор-авангардист, автор художественных перформансов, применявший для создания своих работ самые непривычные материалы.

из недр квартиры раздался тихий звук, словно кто-то тихо открыл или закрыл дверь. Он шагнул в коридор.

— Франклин?

Даже бдительность мадам Барбоссб могла дать сбой. Вполне возможно, что Франклин давным-давно вернулся, проскользнув мимо, пока та восхищалась чьей-нибудь собакой или ребенком. Когда хотел, он мог двигаться очень тихо, как рослое привидение, которое подкрадывалось сзади и пугало внезапным хлопком по плечу.

Ласло направился по коридору к студии, которая занимала самую большую комнату с огромными окнами, выходящими на церковь, и дверью в дальнем конце, которая вела в маленькую комнатку с умывальником.

— Франклин?

Вдоль всей стены напротив окон стоял длинный стол — старинный обеденный стол, с поверхностью, покрытой струпьями высохшей краски. На этом столе в жестянках, которых было десятка два, стояли навытяжку кисти и мастихины. Над столом висели полки, полные скрученных алюминиевых тюбиков, аэрозольных баллончиков и пластиковых бутылочек с красками самых фантастических цветов — перечислить

все у Ласло не хватило бы слов. Там же лежали инструменты для резьбы и выскабливания, коробки с древесным углем, печатные валики, пистолет для пристреливания скрепок — вся та художественная атрибутика, которой писатели, приговоренные к ручке, клавиатуре да пепельнице, так сильно завидуют. Но и на мольбертах, и на стенах было пусто — ни единого наброска, хотя на полу стояло штук пять больших натянутых на рамы холстов, лицом к стене, словно в немилости. Ни разбросанных тряпок, ни внушающего уважение беспорядка — ничего, что намекало бы на здоровый труд. Комната выглядела заброшенной, покинутой навсегда. Ласло помнил то время, когда в ней всегда были цветы — лохматые букетики в банках с позеленевшей водой.

Он поставил крайнее из полотен на мольберт и отступил назад. Несмотря на то что работы Франклина были по большей части абстрактными, масштабными, с буйством красок, картина, оказавшаяся перед ним, была написана в образной манере, характерной для немецких экспрессионистов — Кокошки или, может быть, Барлаха, и изображала пару молодоженов на ступенях мэрии. В невесте, платье которой усыпали пышные розы, тут же угадывалась Лоранс Уайли. Не та,

какой она была в молодости (когда ее сущность раскрывалась в улыбке и сияющем теплотой взгляде), а та, какой она стала, Лоранс-мученица, жертва обманувшей ее судьбы. На это было горько смотреть, но Франклин написал ее с таким вниманием, так тщательно изобразил страдание, виновником которого был он сам, что Ласло почувствовал, как у него сжалось горло, а на глаза навернулись слезы. Перед этим лицом, над которым потрудилась гибельная любовь, обвинения или гнев теряли значение. Становились бессмысленными.

Он перевел взгляд с женщины на фигуру рядом. На мужчину в черном костюме, чья голова была замотана чем-то, что при ближайшем рассмотрении оказалось целлофаном или пленкой для хранения пищевых продуктов, отчего черты его лица были искажены и смазаны, как у грабителя под маской из чулка. Его спина согнулась дугой в агонии удушья, кулаки яростно сжаты, но невеста, безучастная к его мукам или просто будучи не в силах хоть чем-то их облегчить, не обращая на него внимания, смотрела вперед, притягивая своим взглядом взгляд зрителя, как будто искала спасения за пределами рамы, хотя в выражении ее лица было что-то еще — немое послание, вы-

писанное в глазах, словно код, который Ласло не сразу смог разобрать. Ему пришлось еще отступить назад — на два шага, на три, — и только тогда он увидел, что в этом взгляде сквозило предостережение.

В телефонной будке, что стояла на углу рядом с церковью, прямо на жестяном полу сидела, подтянув колени к подбородку, арабская девушка, которая курила и непрерывно тараторила в трубку. Ласло посмотрел на часы, прислонился к церковной ограде и принялся смотреть на воробьев — пичужки добросовестно стряхивали воду с перьев и прыгали на солнышке. Через десять минут девушка вышла из будки, а Ласло вошел внутрь. Трубка еще хранила тепло ее руки и легкий запах духов. Он набрал номер, стараясь не ошибиться. После трех гудков ему ответили.

— Франсуаза дома? — спросил он.

7

На «Бруклендз» спустились сумерки. Ларри вышел на террасу и сел в брезентовое кресло напротив брата.

— Элла спит? — спросил Алек.

— Да. А мама?

— Спит. По-моему.

В руках у Ларри была бутылка «Тичерза» из бара в Ковертоне. Он съездил туда перед обедом, взяв машину Алисы, и к вечеру бутылка была уже наполовину пуста. Он наполнил бокал еще на два пальца, отхлебнул половину, наклонился вперед и сказал:

— Элла кое-что взяла.

— Ну, это ведь не в первый раз, — заметил Алек. Он пил чай.

— Нет. Но на этот раз все по-другому. Это не браслет и не кольцо.

— Деньги?

— Она взяла таблетку, — сказал Ларри. — И я не знаю как, но нам нужно ее найти.

— Мамину?

— Мою. Из моего несессера.

— Что это за таблетка?

Ларри покачал головой.

— Обезболивающее? Снотворное?

— Если бы. — Он глубоко вздохнул и начал объяснять, хотя и знал, что любых объяснений будет мало без подробного рассказа о том, в какой заднице он оказался, а как раз об этом он говорить не хотел.

Он сказал, что ездил в Лос-Анджелес обсудить контракт на роль в новом фильме. Умолчав о том, что это был за фильм, он все же в общих чертах рассказал Алеку, что представляли из себя Т. Боун и Ранч, хотя под сенью английского сада это описание больше походило на описание персонажей заморского кабаре. Он упомянул отель, обед и то, что за ним последовало, ванную, аптечку. Таблетки. Он изо всех сил старался, чтобы его рассказ прозвучал обыденно и как можно естественнее, но на самом деле до естественности здесь было далеко.

— Таблетки *для самоубийства?*

Они дружно — рефлекс, уходящий корнями в детство, — подняли головы и посмотрели на окно материнской спальни, как будто там вот-вот вспыхнет свет и Алиса, услыхавшая их секрет, перегнется через подоконник и потребует объяснений.

— Черт… — Ларри поморщился.

Он ничего не сказал о «секс-таблетках». И он не знал, какую именно взяла Элла, потому что забыл, чем они отличаются. В любом случае думать об этом было невыносимо.

Алек какое-то время молчал, спрятавшись за очками.

— Ты уверен, что ее взяла Элла?

— Конечно Элла, кто же еще?

— Ты с ней говорил?

— Целый час, еще вчера, как только я это обнаружил. И сегодня тоже. Оба раза напрасно — она не обращает на мои слова никакого внимания. Когда я сказал, как эта таблетка опасна, она вроде бы поняла, но с Эллой никогда не знаешь наверняка. Я даже звонил Хоффману…

— Хоффману?

— Это ее психоаналитик из Фриско. Он сейчас на какой-то конференции по детским убийствам в Детройте, поэтому я оставил ему сообщение на автоответчик, а потом подумал: что, если он скажет Кирсти? Ты представляешь, что будет? И я оставил еще одно сообщение — сказал, чтобы он ни с кем, кроме меня, об этом не говорил. Но я ему не очень-то доверяю.

— Ты сказал ему, что она стащила?

— Я сказал, что у нее регрессивный эпизод. Если имеешь дело с такими людьми, то постепенно начинаешь говорить их языком.

Алек отхлебнул из чашки. Ларри-спортсмен, Ларри — король вечеринок, Ларри-красавец, Ларри-везунчик, Ларри — счастливый муж. А теперь вот Ларри — человек, который хранит у себя в несессере таблетки для самоубийства. Он не был уверен, что узнает того, рядом с кем сидит.

— Какого черта ты собирался с ними делать? — спросил он.

Ларри пожал плечами:

— Я собирался выбросить их в самолете.

— А почему не выбросил?

— Сейчас это уже не важно. Важно ее найти. Я уверен, что в спальне ее нет. Я перетряхнул матрасы. Вытащил все из комода. Но она умеет прятать. Она могла спрятать ее даже в саду. Поговоришь с ней? Ты ей нравишься.

— И что я скажу? Отдай папочке его таблетку?

— Просто попытайся, чтобы до нее дошло.

— Попытаюсь.

— Спасибо.

— Поверить не могу, что ты хранишь у себя такое.

Ларри потер глаза.

— Такое чувство, словно не спал целый год.

— А с остальными ты что сделал?

— С остальными? Спустил в унитаз. Конечно, лучше было бы сделать это пораньше. — Он вытряс из пачки сигарету и закурил.

— Я и не знал, что дела так плохи, — сказал Алек.

— Все началось с «Солнечной долины». Да нет, еще раньше.

— Ты ничего не говорил.

— Тебе и своих забот хватало.

— Со мной все в порядке.

— Правда?

— Правда.

Ларри рассмеялся — усталость взяла свое, не без помощи виски. Он положил руку на колено брата.

— Выглядишь ты просто хреново, — сказал он.

— Я справлюсь, — сказал Алек.

— Конечно. Помнишь, когда я в первый раз поехал в Америку, ты собирался провести год в Париже? Помнишь?

— Да, — ответил Алек.

— Похоже, мы не говорили по душам с тех самых пор.

— Это было десять лет назад.

— Знаю. Жаль, что так получилось.

Алек пожал плечами.

— Тебе там понравилось?

— Где?

— В Париже.

— Да.

Ларри кивнул:

— Хорошо. — Он посмотрел за картофельное поле, туда, где ночь уже стирала контуры колокольни. За годы юности это зрелище прочно въелось в сетчатку его памяти, и сейчас он расчувствовался. Он увидел себя мальчишкой и Алека тоже. Увидел Алису энергичной женщиной, увидел даже отца — каким он был, пока еще не перешел черту, — по саду заскользила его тень. Их жизни носились вокруг, как маленькие летучие мыши, заныривая под карнизы и вылетая обратно.

— По-моему, нам нужно действовать по плану, — сказал он. Язык у него заплетался. — Как думаешь? Нам нужен план?

8

В четверг вечером Курт вернулся на улицу Деламбр с двумя большими пакетами продуктов. Отнес их на кухню, поставил на стол и позвал Ласло. Он купил еще одну бутылку черносмородиновой настойки, кроме того, в холодильнике было полбутылки белого вина, что они не допили в предыдущий вечер. В восемь часов для аперитива было уже поздно и еще рано.

На дне раковины он увидел тарелку Ласло, его нож и кофейную чашку, оставшиеся от обеда, на тарелке красовались ошметки яблочной кожуры, оливковые косточки и сырные корки. Такая у Ласло была привычка (если подобную мелочь можно назвать привычкой); еще он оставлял брызги зубной пасты на зеркале в ванной и частенько забывал спустить воду в туалете, что слегка раздражало Курта, но он никогда об этом не говорил, считая, что Ласло относится к его собственным промашкам с такой же терпимостью.

Он принялся разбирать первый пакет, складывая овощи на деревянную полку, а фрукты — в большую стеклянную миску. Потом вышел в коридор и позвал во второй и в третий раз.

Ласло могло не быть дома по самым разным причинам: он спустился отправить почту, или пошел в табачную лавку купить тонких сигар (хотя его беспокоили боли в груди и он обещал пока обходиться без курева), или просто отправился побродить по бульвару, чтобы насладиться теплым вечером, купить газету, зайти в кондитерскую поболтать с мадам Фавье. Или выносил мусор. Правдоподобных объяснений хватало, поэтому, когда он потом вспоминал об этом, Курту показалось странным, странным и символичным, что он тут же с бьющимся сердцем пошел в кабинет и, открывая дверь, ощутил приступ благоговейного страха.

Что он ожидал там увидеть? Разбитое стекло? Перевернутый стул? Тело на полу? Но комната, освещенная лучами заходящего солнца, выглядела вполне невинно. Там не было никаких следов спешки или волнения. Никакой угрозы. Но вместо того чтобы успокоить, царящие в кабинете тишина и безупречный порядок убедили его в том, что что-то действительно произошло, и предчувствие, не оставлявшее его всю прошлую неделю — необъяснимый страх, ощущение, что в их размеренную жизнь ворвалось что-то постороннее, — его не обмануло. Листы рукописи на

столе Ласло были сложены аккуратной стопкой, ручки лежали с краю, маленькая пепельница освобождена от окурков и вытерта. Даже стул задвинут — как будто на нем больше не собирались сидеть, как будто со всеми делами разобрались и покончили навсегда.

На его собственном столе стоял, прислоненный к нижнему краю монитора, продолговатый голубой конверт, на котором было написано его имя. Курт секунду постоял, глядя на него, вернулся на кухню и потрогал фарфоровую чашку Ласло, словно надеясь, что она еще хранит частичку его тепла. Потом вымыл ее, вымыл тарелку и нож и убрал их на место. Вокруг горелок газовой плиты виднелись жирные пятна. Он вымыл плиту. На полу под доской для резки хлеба лежали крошки. Он подмел пол, пропылесосил и уже собирался набрать в ведро воды, чтобы его вымыть, когда до него дошло, как глупо он себя ведет. Он поставил ведро в раковину, опустил закатанные рукава рубашки и вернулся в кабинет. Стало темнее. Он включил лампу с зеленым абажуром и, взяв маленький перочинный ножик фирмы «Опинель», который держал в ящике стола, открыл конверт. Внутри лежали два листа бумаги, исписанные с обеих сторон черными чернилами. По почерку он

определил, что писали их медленно, возможно исчеркав не один черновик. Он поднес письмо к окну и начал читать, стоя, прижав кончики пальцев свободной руки к столу Ласло.

Мой дорогой Курт.

Я пишу тебе в некотором смятении, хотя и ни на минуту не сомневаюсь, что поступаю так, как необходимо, и что мне удастся изложить все верно, так, чтобы ты меня понял и одобрил. Ты рассердишься на меня за то, что я не поделился с тобой своими планами, но на это были особые причины, которые не имеют к тебе отношения. Не думай об этом. Я бы без малейшего колебания доверил тебе свою жизнь. В мире нет ничего, в чем я был бы так же уверен.

Я уезжаю на несколько дней — не знаю, на сколько именно, — чтобы выполнить небольшое поручение, которое, я надеюсь, того стоит. Поручение это политическое и секретное, но не опасное и не требует от меня никаких особенных талантов. Конечно, в подобном деле не обойтись без вечного расхождения намерений и последствий — я хочу сказать, что, намереваясь сотворить добро, мы творим зло и должны за него отвечать, — но организация, в чьих интересах я отправляюсь в эту поездку (по лабиринту?),

борется за правое дело, и борьба эта не терпит отлагательства, к тому же я слишком долго стоял в стороне, предоставляя другим действовать за меня, чтобы ни происходило в мире. Я превратил невмешательство в фетиш, как будто любые усилия всегда тщетны, любые попытки что-либо изменить обречены на провал из-за небрежности или предательства — отговорка, причиной которой стал случай из моего прошлого, о котором ты кое-что знаешь, по крайней мере, в общих чертах. Тот далекий день, когда из-за моей слабости один молодой человек потерял свою жизнь. Я так и не смог освободиться от чувства вины и скорби, которые пережил в тот час, и может быть, именно благодаря ему я и стал писателем (ведь этот труд, как никакой другой, требует умения исповедаться), будучи не в силах больше мириться с собственной слабостью. Я не могу — позаимствую образ у Жюля Сюпервьеля[53] — выйти в сад и видеть перед собой только сад. Там всегда есть еще одна тень.

Всегда, как бы ни было тихо, звучит тот крик, на который я не ответил.

Ты думаешь, друг мой, что все можно уладить?

---

[53] Примечания: 53

Жюль Сюпервьель (1921–1986) — французский писатель, поэт, сказочник.

Исправить? Искупить? Древние верили, что это так. Верили, что даже если это невозможно, то все равно необходимо. А может, я просто теряю рассудок? Ведь я не могу прокрутить жизнь назад. Не могу вернуть свои восемнадцать лет. Так кого мне спасать? Что спасать?

Без сомнения, во всем этом есть что-то в высшей степени эгоистическое, но поверишь ли ты мне, если я скажу, что я хочу спасти и нас тоже?

Мы с тобой никогда не были людьми, которые часами уныло смотрят друг другу в глаза. Мы не растрачиваем нашу нежность — вот почему нам удается жить вместе. Но позволь мне сказать эти слова, и, что бы ни случилось, каким бы ни было наше будущее, у тебя будет хоть какое-то представление о том, как я тобой дорожу. Ты подарил мне десять или пятнадцать счастливейших мгновений моего существования. Узнав тебя, я уже не мог разувериться ни в жизни, ни в огромной щедрости человеческого сердца. Я храню в памяти твое лицо, как икону, чтобы тайно поклоняться ей, когда иду в незнакомой толпе. Верь мне. Уничтожь это письмо. Прости меня.

Л.

Дойдя до конца письма, он еще раз перечитал

его, методично разорвал на мелкие кусочки, сложил их в пепельницу и поджег той же зажигалкой, которой Ласло неделю назад поджигал самбуку, а тлеющие остатки стер в черную пыль. Потом придвинул лампу поближе к окну и, наклонившись к стеклу, стал смотреть на юг, на бульвар Эдгара Кинэ и стены кладбища, на котором упокоились Сартр, де Бовуар и славный Беккет.

9

В шесть часов Ларри стоял у плиты, трудясь над приготовлением ужина. Он, нахмурившись, разглядывал содержимое кастрюли, словно прорицатель, исследующий печень зарезанного ягненка в надежде, что ее линии и завитки откроют ему будущее, потом проткнул рис деревянной вилкой, и в его раскрасневшееся лицо ударила струйка пара. Рядом с конфоркой, прислоненная к почти пустой бутылке белого вина, стояла Алисина поваренная книга, составленная некой Элизабет Дэвид, раскрытая на рецепте ризотто, хотя, конечно, ему пришлось найти замену куриному бульону, говяжьим мозгам и кубикам ветчины, — словом, всему тому, что, по его мнению, придавало еде аромат и питательность, но что его жена — «я не ем мертвечину, Ларри» — отказалась бы не только есть, но и трогать.

Он встретил ее утром предыдущего дня — снова старая машина Алека — в четвертом терминале Хитроу, скованную и хрупкую по сравнению с только что прошагавшей к выходу спортивной командой — одетыми в блейзеры молодыми людьми с короткими стрижками,

которые, несмотря на ранний час, перебрасывались громкими шутками. Он выкрикнул ее имя, но ей потребовалась почти минута, чтобы его найти, и, когда она вглядывалась в лица стоящих у турникета людей, ее взгляд выражал неподдельное страдание, словно она была не в обычном аэропорту обычной страны, а в месте ненадежном и опасном, и голос из толпы служил ей — не отошедшей еще ото сна, заплутавшей во времени — маяком. Но потом она увидела Эллу, у нее вырвалось радостное: «Привет!» — и на какое-то время они стали похожи на любую другую воссоединившуюся после разлуки семью, широко улыбаясь и обнимая друг друга. Только очень наметанный глаз смог бы разглядеть то, что за этим скрывалось: нежность, пробившуюся сквозь их страхи, общие и каждого в отдельности. Сейчас она была наверху, в комнате у него над головой, и ухаживала за его матерью.

Он сверился с рецептом и добавил в рис еще один половник бульона. Он повязал на себя синий холщовый фартук Алисы и управлялся с продуктами с такой хвастливо-небрежной ловкостью, что даже подумал, а не подойдет ли он для какой-нибудь малобюджетной кулинарной программы. Кечпоул в роли повара: классиче-

ская английская кухня — от стейка и почек до йоркширского пудинга — в исполнении самого обожаемого медика на телевидении. Как оказалось, существовал неиссякаемый спрос на всякого рода ярких типов, которые болтают в камеру, нарезая перец и встряхивая в воке тайские креветки. В свете трудностей, с которыми ему пришлось столкнуться, эта идея казалась не такой уж нелепой, и, несмотря на то что он не считал роль телеповара действительно достойным способом зарабатывать на жизнь, эта роль была все же предпочтительнее, чем та, что ждала его в прохладе гаража в Сан-Фернандо. Особенно когда ШКДБ в очередной раз выкинет лозунг «Возьмите-свою-дочь-на-работу».

Элла была на террасе; сквозь открытые стеклянные двери он слышал, как она, обдумывая по обыкновению каждое слово, болтает с Алеком. Ее упрямство в деле с пропавшей капсулой подвигло Ларри на крайние меры. Он предложил ей деньги (двадцать долларов). Он пригрозил ее отшлепать (хотя они оба знали, что он этого не сделает). Он шпионил за ней сквозь замочную скважину в ванной и даже крался за ней по саду, наблюдая, как она бегает между деревьями, собирает маргаритки и лютики, садится на корточки, чтобы

перевернуть прутиком жука, напевает себе под нос. Знала ли она, что он за ней следит? Или то была искренняя, неподдельная невинность, и он напрасно обвинил ребенка в том, чего тот не совершал? Что, если капсула скатилась с полки в туалете самолета? Мог ли он этого не заметить? Доверял ли он себе настолько, чтобы полностью исключить такую ошибку? Мог ли положиться на собственное мнение? Алек по-дружески с ней поболтал. Без сомнения, она пропустила его слова мимо ушей, ничем не выказав, что знает, о чем тот говорит. А потом позвонил Хоффман, который вернулся из Детройта, и, заявив Ларри, что звонит за его счет, поговорил с Эллой, которая стояла посреди кухни, держа трубку обеими руками, широко раскрыв глаза, и кивала, говоря «да», «нет», «да», «обещаю», «хорошо», «угу», «хорошо». Безрезультатно. Она напоминала девочку из мультфильма Эдварда Гори, малышку в нарядном тафтяном платьице, которая расхаживала по дому с пистолетом в руке.

— Алек!

Алек заглянул в кухню.

— Все будет готово через двадцать минут. Пора спускать маму.

— Хорошо, — сказал Алек, не двинувшись с

места.

— Ты этим займешься? Или будешь мешать рис, а я пойду наверх?

— Я не против, — ответил Алек, но тут же подошел к плите и взял из рук Ларри деревянную вилку.

— Следи, чтобы он не пересох, — сказал Ларри. — И давай зажжем свечи. Устроим настоящий ужин.

— Хорошая мысль, — сказал Алек без малейшего энтузиазма.

— А ты, — начал Ларри, когда в дверях показалась Элла и, наклонив голову набок, подняла на него свой проницательный взгляд, — а ты…

Но он так и не нашел что сказать.

В комнате наверху Кирсти Валентайн, единственная дочь, единственное дитя Эррола и Нэнси Фримен (когда-то их фамилия звучала как Фрибергс) из Ла-Финки, Лемон-Коув, штат Калифорния, сидела на табуретке у изножья кровати и разминала ступни свекрови большими пальцами, как ее учили в дневном центре в Сан-Франциско. Алиса лежала на горе подушек, уже одетая к ужину в столовой. Днем заезжала ее парикмахерша, Тони Каскик, со своими ножницами, зажимами, феном и пуделем, — она

тщательно расчесала Алисе волосы и, по ее просьбе, заплела их в аккуратный серебряный жгут.

Эта прическа вместе с румянами, которые она втерла в безжизненную белизну своих щек, напомнили Кирсти фильм с Бетти Дэвис[54], который она недавно смотрела, — один из почитаемых геями сериалов на канале голливудской классики. Но этот стиль чем-то подходил к наивной вульгарности ее пристального взгляда, к поразительной тупости ее вопросов: «Почему вы не заводите второго ребенка?», «Ты еще любишь его?», «Вы верны друг другу?».

Возможно, это было «растормаживание» — Кирсти наткнулась на этот термин, просматривая книги о раке в магазине «Барнс энд Ноубл»: опухоль разрастается и пожирает здравость взрослых суждений, подобно долгоносику в крупе, — непреодолимый, необратимый распад, который заканчивается полным слабоумием, когда сознание становится таким же бесполезным, как зеркало в темноте. Уж лучше — и неизмеримо утешительнее — думать, что в новой прямоте Алисы есть что-то от дзен, что в том, как она себя держит, повинен не слабеющий разум, а нетер-

[54] Примечания: 54

Бетти Дэвис (1908–1989) — выдающаяся драматическая и комедийная киноактриса.

пимость к условностям. Если люди смертны — а Кирсти была слишком американка, чтобы принимать как должное абсолютную непреложность этого факта, — пусть целью их жизни станет накопление мудрости и дающих свободу знаний. Когда же еще быть мудрым, если не в самом конце? Но за последние сутки она несколько раз видела, как на голубые глаза Алисы падает тень пустоты или отчаяния, и в глубине души понимала, что перед ней лежит женщина, запертая внутри себя. Уже одно то, что она выносила такое, было героизмом.

Но как ответить на ее вопросы? Дело было не только в необходимости соблюсти равновесие между тактом и честностью, помнить, что разговариваешь с безнадежно больным человеком, но и в ее собственной болезненной неуверенности в том, что ей следует отвечать. Действительно ли она все еще любит Ларри? Ей казалось, что да, но ее «да, конечно» таило в себе смутную оговорку, как будто она сказала «возможно», или «не всегда», или «не так, как раньше». Трудность заключалась в том, что ей все реже удавалось понять его, составить о нем ясное, цельное представление. В последнее время он мерцал, как свеча, казался одновременно и тем самым чело-

веком, вместе с которым они бродили по пляжам Муира в недели перед свадьбой, пьяные своей любовью, ликующие оттого, что им удалось поймать птицу счастья, и незнакомцем, который слонялся по дому в шортах и футболке (на его любимой красовалась надпись «Забегаловка Барни»), с бокалом спиртного в одной руке и сигаретой в другой. Иногда он напоминал ей — он еще не утратил своего атлетического сложения — боксера, который в ночь перед боем непонятно отчего потерял самообладание и начинает это понимать. В чем его проблема? Что заставило его окончательно потерять форму? Отец? Выпивка? Потеря работы? Или просто что-то нашло? Обида на весь свет? Так что же она может сказать в ответ?

На вопрос Алисы о том, почему бы им не завести второго ребенка, она ответила: «Думаю, сейчас не самое подходящее время». Но в действительности все было намного проще и печальней: как они могли завести ребенка, если уже несколько месяцев по ночам их разделяет стена? (Даже две стены: между спальнями был коридор.) А как же ребенок, которого они уже завели? Вечером накануне вылета ей позвонил Хоффман и сказал что-то насчет очередного эпизода, хотя, как это ни

странно, его больше заботило состояние Ларри, который, по его словам, «изо всех сил старается реагировать соответствующим образом». Она не совсем поняла, что он хотел этим сказать, но решила не спрашивать, хотя эта фраза вертелась у нее в голове весь полет, пока не обрела зловещий, почти мистический смысл, угрожая мигренью. Хуже всего было то, что она казалась ответом на ее тайные опасения, на печальный факт: ей становилось все труднее и труднее оставлять Эллу наедине с Ларри. Она видела, как он переходит дорогу — беспечно виляет в потоке машин, даже не пытаясь привлечь к себе внимание водителей, расслабленно и равнодушно, играя с опасностью. А то, как он смеялся, сидя перед телевизором — над выпусками новостей, грустными фильмами, — ее просто пугало. Когда Наташа Хан, ее давняя подруга из Сансет, спросила, есть ли у Ларри пистолет (Наташин бывший прятал в игровой комнате боевую винтовку), она тут же вернулась домой и вывалила на пол все содержимое комода в спальне для гостей, обнаружив несколько порно- и спортивных журналов, кварту бурбона, расписание самолетов (Сан-Франциско — Ванкувер) и — эта находка была самой жалкой — свои собственные трусики,

даже не стиранные, которые он наверняка выудил из корзины с грязным бельем в душевой. Но никакого пистолета. А потом, в Хитроу, она увидела Ларри с Эллой на плечах — девочка держала лист бумаги с надписью: «ПРИВЕТ, МАМОЧКА!» — они так хорошо смотрелись вместе, просто здорово, и ей стало стыдно за свои мысли. Кем бы ни был Ларри, в кого бы он ни превращался, в нем осталось много хорошего, и с ее стороны было низко думать иначе. Возможно, дело было в Хоффмане, это Хоффману ей не стоило доверять. Ларри позвал с лестницы:

— Вы готовы?

— Мы готовы! — пропела Кирсти.

Он вошел в комнату, весь раскрасневшийся, и она сразу же поняла почему.

— Что ты делаешь? — спросил он.

— Ей будет легче ходить, — ответила она.

Он кивнул:

— Ужин через пятнадцать минут. Давай обуваться, мама.

Они надели на нее пару белых кроссовок, огромных и мягких, с липучками вместо шнурков. Это было предложение Уны, и, несмотря на то, что на исхудавших ногах Алисы они смотрелись карикатурно, ей было в них удобно, и, походив в них

раз, она больше не жаловалась на их уродство. Она даже улыбалась при мысли, что носить такие кроссовки было в некотором роде модно.

— Дать вам кислорода? — спросила Кирсти. Индустриально-черный баллон лежал на кровати на расстоянии вытянутой руки.

— Только ингалятор, милая.

Ларри передал ей ингалятор и посмотрел, как она поднесла его ко рту и дважды нажала на распылитель; за недостаточно сильным вдохом последовал неизбежный, жалкий кашель. Он просунул руки ей под мышки и поднял. Она постояла, положив голову ему на грудь, и они зашаркали к лестнице.

— Я отведу Эллу вымыть руки, — сказала Кирсти.

Ларри спросил:

— Как тебе удобней спускаться?

— Медленно, — ответила Алиса. — Очень медленно. Лестница была слишком узкая, чтобы идти бок о бок, поэтому Ларри пошел впереди, чтобы, идя двумя ступеньками выше, она держалась за его плечи. Руки ее дрожали, и Ларри почувствовал себя так, будто по его телу пропустили слабый электрический ток. Когда они добрались до столовой, все остальные уже стояли вокруг стола.

— Вот и я, — прошептала она.

Ларри подвел ее к стулу во главе стола. Алек отыскал свечи и вставил их в серебряные подсвечники, но пламя — бледнее, чем льющийся в окна свет — было едва заметно.

Еще пять минут ушло на то, чтобы устроить ее поудобнее, подложить подушку под спину, заткнуть салфетку за ворот платья. Иногда, когда она двигалась, у нее вырывался тихий, невольный стон.

— Эй, — сказала Кирсти, — ведь правда у Алисы замечательная прическа? Я была бы просто счастлива, если бы у меня тоже был кто-нибудь вроде вашей Тони. Правда, у нее замечательная прическа, Алек?

— Да, — ответил Алек. — Тони — настоящая мастерица.

— О, он не знает, — сказала Алиса. — Бедняга, все для него — темный лес.

Она посмотрела на Алека, который сидел слева от нее. Ларри, раскладывающий по тарелкам ризотто, заметил этот взгляд: на прошлой неделе он перехватил три-четыре подобных, часть непрекращающегося разговора без слов. В котором он не участвовал. Ему это не нравилось.

— Я надеюсь, Эл, что ты это съешь. — Он поло-

жил на тарелку половник клейкого риса, передал тарелку девочке и сел напротив нее. — Всем *bon appétit!* Видишь, мама, сколько я уже выучил.

— В школе Элла разучила пару милых французских песенок, — сказала Кирсти. — Как зовут твоего учителя, детка? Их так рано начинают всему учить.

— Это гриб? — спросила Элла, поддевая вилкой серую закорючку.

— Да, — ответил Ларри. — Это особый вид очень вкусных грибов. Попробуй.

Элла соскребла гриб на край тарелки и принялась выуживать остальные.

— Элла!

Он повернулся к Кирсти:

— Сделай так, чтобы она хоть что-нибудь съела.

— Ты хочешь сказать, что мне нужно ее заставить?

— Я хочу сказать, что она уже достаточно взрослая, чтобы не играть с едой.

— Значит, она не любит грибы. Это не так уж страшно, Ларри.

— Посмотрите на него, — сказала Алиса. Она кивнула на стоящую на серванте фотографию дедушки Уилкокса в военной форме. — Посмотрите,

он смотрит на нас.

— Мы поедем в тот дом, верно? — спросила Кирсти. О поездке договорились на прошлой неделе. Ларри удалось связаться с супружеской парой, которая теперь там жила, Рупертом и Стефанией Гэдд. Он объяснил им все, и они отнеслись к его просьбе с пониманием, Руперт Гэдд пообещал, что в следующее воскресенье они «будут во всеоружии». По всей видимости, они только что приехали из Италии.

— Я помню, как бабушка Уилкокс показывала мне дедушкину медаль, — сказал Ларри. — Помнишь, Алек?

— Помню.

— Это было «Пурпурное сердце» или еще что-то?

— Орден «За боевые заслуги», — ответил Алек.

— Ого.

— Где она сейчас? — спросил Ларри.

— Арнем, — произнесла Алиса. Она зачерпнула вилкой риса, но еще ничего не съела. — Спас своего сержанта. Спас от смерти.

— Думаю, он был настоящим человеком, — сказала Кирсти.

Ларри навинчивал штопор на бутылку «Монтепульчиано». Пил только он один.

— Ты полегче сегодня, — тихо сказала ему Кирсти.

Ларри улыбнулся в ответ:

— А ты знаешь, на чьей стороне воевал твой дед? Старик Фрибергс.

— Бо-же, — проговорила Кирсти, закатывая глаза.

— Латыши сражались на стороне фашистов, — пояснил Ларри.

— Они по ряду причин больше ненавидели русских, чем немцев, — сказал Алек.

— Как этот твой писатель? — спросила Кирсти.

— Лазар? Он, наверное, пристрелил пару русских, по крайней мере, мне так кажется.

— Если я правильно помню, они называли себя «Легионом кондоров», — сказал Ларри. — Да? Или «Белыми орлами». Это было что-то вроде латышского СС.

Кирсти бросила на него яростный взгляд:

— Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Кроме того, мой отец воевал в Корее, так что не смей называть мою семью фашистами.

Элла, которая потеряла к ризотто всякий интерес, спросила, можно ли ей взять банан. Ларри ответил «нет», но Кирсти взяла банан из вазы с фруктами и сама его очистила.

— Терпеть не могу подобные разговоры, — сказала она. — Я не хочу, чтобы Элле, когда она вырастет, приходилось думать об этих вещах.

— Великая американская традиция, — съязвил Ларри. Он отодвинул тарелку и потянулся за стаканом, но вино было слишком слабым. Ему нужно было выпить по-настоящему. Выбраться на свободу.

— Бабушка плачет, — сказала Элла.

Так и было. Алиса склонила голову над нетронутым ужином, с ее носа капелькой свисала липкая слеза.

— Эй, эй… что случилось? — Кирсти подошла к ней и обняла за плечи. Она сама чуть не плакала. — Вы устали? А?

Ларри обошел стул с другой стороны и нагнулся к матери. Алиса что-то говорила, но он не мог разобрать, что именно.

— Хотите отдохнуть? — спросила Кирсти. — Хотите пойти обратно наверх?

— Она только что спустилась, — заметил Ларри.

— Бога ради! Если она хочет, пусть поднимется обратно. Вы хотите подняться обратно, Алиса?

Алиса шумно всхлипнула.

— Простите меня, — сказала она. — Это так

неприятно.

— Хорошо, — сказал Ларри, — посидим в другой вечер.

Он взял мать за руки, помогая ей встать со стула. Потом прошипел через плечо:

— Где Алек?

Кирсти огляделась вокруг и пожала плечами. Элла, рот которой был набит бананом, указала на открытую дверь.

Вечер пошел своим чередом. Эллу усадили перед телевизором, как будто это было вполне естественно и именно так полагалось поступать с ребенком в критических ситуациях. Кирсти осталась наверху с Алисой и спустилась лишь через полчаса, чтобы приготовить ей фруктовый чай. Алек, затаившись на кухне, знал, что ему следует подняться и проверить коробку с лекарствами. Это была его обязанность, единственное, за что он нес ответственность, но войти сейчас в эту комнату, где он рискует поймать взгляд Алисы, оказаться беззащитным перед тем, что он там увидит, дать ей увидеть, как он разрывается между жалостью и отвращением, — это было ему не под силу. И в самом деле, разве имеет значение, принимает она лекарства или нет? Лекарства — да будь они *прокляты.* Алек почти никогда

не ругался, даже мысленно, но сейчас, наедине с грязными тарелками, он не мог остановиться, бормоча над мыльной пеной, как одержимый. *Чертов* Ларри со своей чертовой женой. Их идиотское *чертово* поведение. Его собственное поведение. Его собственная *чертова* глупость. Его *чертова* трусость.

— Нельзя сказать, что ужин имел успех. — В кухню неожиданно вошел Ларри с подносом в руках.

— Тебя это удивляет? — спросил Алек. — После того, что ты устроил?

Он не смотрел на Ларри, но услышал, как тот задохнулся от обиды.

— Что именно?

— Перебранку.

— Это кто устроил перебранку?

— А ты как думаешь?

— Так значит, это я виноват?

— Разве ты не видишь, как серьезно она больна?

— Конечно, я это вижу! И что я, по-твоему, должен делать?

— Проявить хоть чуточку внимания.

— По-моему, ты проявляешь его за нас обоих, — сказал Ларри, толкая брата в плечо, как будто

желая напомнить ему, кто из них двоих обладал большей физической силой. — Куда ты спряталась? А? Куда это ты сбежал?

— Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? — спросил Алек, надраивая антипригарную кастрюлю из-под риса. — Папу.

— А я все думал, когда же кто-нибудь сунется ко мне с этим дерьмом. Не знал только, что это будешь ты. Боже! Пара порций виски пошла бы тебе на пользу.

— Ага. Тебе-то пользы от него было много.

— И попытайся хоть иногда с кем-нибудь трахаться. Я даже денег тебе одолжу.

— Именно этим ты и занимаешься? Вы поэтому больше говорить друг с другом не можете?

— Не суй свой нос, куда не просят, Алек.

— Ты полагал, что я не замечу?

— Иди к черту!

— Сам иди к черту!

— Что здесь происходит? — спросила Кирсти.

— Ничего, — ответил Ларри.

Он взял полотенце и с преувеличенной тщательностью принялся вытирать бокал.

Кирсти нахмурилась, потом опустила кружку Алисы в мыльную воду и положила руку Алеку на плечо.

— По-моему, она приняла все, что нужно.

— Спасибо, — сказал Алек.

— Она говорила какие-то странности, когда мы с ней были в ванной. Я думаю, она просто устала.

— Какие странности? — спросил Ларри.

— Такие же, какие говоришь ты, когда устаешь.

Она зевнула:

— Пойду уложу Эллу.

Через час она тоже легла спать. Они с Эллой поселились в комнате на первом этаже; Ларри перенес свои пожитки наверх к Алеку и устроился на старомодной раскладушке из металлических трубок и проволочной сетки. В комнате для гостей были только односпальные кровати, и предполагалось, что такое перераспределение объясняется чисто практическими соображениями, хотя кого это могло обдурить или успокоить, Ларри не знал.

Братья закончили с уборкой и уселись на диван в гостиной, чтобы посмотреть вечерние новости. После майских выборов правительство принималось за дело: объявляло «год зеро», спасало будущее страны, делая ее современной и модной. В речах дававших интервью политиков до странности назойливо мелькало слово «новый».

— Думаешь, это сработает? — спросил Ларри.

— Plus ça change[55], — ответил Алек. Но он восхищался ими уже за то, что они пытались. Хоть что-то делали.

Ларри сказал, что они напоминают ему красных кхмеров и что он намерен посетить старый добрый английский паб, а то, чего доброго, будет поздно — ни одного не останется. Он вспомнил одно местечко под названием «Синее пламя» в пятнадцати минутах ходьбы через поле. Пол из каменных плит, деревянные бочки, не особенно чисто. Там продавали маринованные яйца и дешевые сигареты.

— Ты не против? — Подразумевалось, что одному из них придется присмотреть за Алисой.

Алек помотал головой:

— Мне все равно нужно работать.

— Не злишься за то, что я тебе устроил?

— Не злюсь.

— Просто выпустили пар. Это должно было случиться.

— Знаю.

— Ну, тогда я пойду.

— Давай.

---

[55] Примечания: 55

Часть французской пословицы «Plus ça change plus ça reste» («Чем больше это меняется, тем больше остается неизменным»).

Когда он ушел, Алек выключил телевизор. Из тишины донесся материнский кашель — приглушенный, отрывистый и сухой, потом надрывный, он постепенно затих. Он бросился в сад, выбежал на лужайку и стал взахлеб глотать теплый ночной воздух. В беседке он чиркнул спичкой, зажег ветроустойчивый фонарь и поставил его на полку рядом с портретом Лазара. Потом заточил карандаши, открыл рукопись «Oxygène» и на целых двадцать минут якобы погрузился в работу, но потом обман стал совершенно невыносим, и он принялся качаться на ножках стула, наблюдая за насекомыми, летящими на свет в открытое окно, — среди них была пара больших кремовых мотыльков, которые сбивали пыльцу с крылышек о стеклянную талию фонаря и, подобно спятившим ангелам, вились над головой писателя.

В начале первого вернулся Ларри, напевая под нос что-то из вестерн-кантри, вскарабкался по ступенькам через изгородь и поплелся в дом. Алек потушил фонарь и остался сидеть в темноте, выждав достаточно, как ему казалось, чтобы Ларри улегся в постель. Этой ночью ему больше не хотелось с ним говорить. Хотя они и заключили перемирие, его все еще трясло от скандала

на кухне, он все еще чувствовал боль от удара в плечо. «А куда ты спрятался? Иди к черту!» Они часто дрались, когда были детьми, подростками — тузили друг друга от всей души, по полчаса кряду. Но сегодня в этом было что-то новое: боль, сродни его собственной, бездна страданий, о которых он ничего не знал и которым не мог найти объяснения. В ту ночь, когда он звонил в Сан-Франциско, Кирсти была права (а он ошибался): люди меняются. И как же легкомысленно с его стороны, как невероятно наивно было думать, что его брат останется прежним, что его не коснется бесчинство времени, которое оставляет след в жизни каждого, у каждого в свой срок. Но как же ему теперь понять самого себя? Разве мог он измениться разительнее, чем если бы стал таким человеком, каким перестал быть Ларри? Он сам никогда не задавался таким вопросом. Может, задавался кто-нибудь другой? Подходить к себе со старой меркой было проще всего. И что теперь? Если Ларри больше не «Ларри», то кто же Алек?

Без четверти час он снова вышел в сад. Головки цветов отливали серебром на темном фоне листвы, ночь была вязкой и влажной, звезды плавали в мутном мареве. Возможно, это предвещало пе-

ремену погоды, густую утреннюю росу. Он запер двери террасы, выпил стакан воды из-под крана и уже собирался погасить свет в гостиной, когда зацепился взглядом за карточный столик в нише под лестницей. Он поставил его туда в день, когда Алису выписали из больницы, и тогда же убрал обратно в коробку приспособления для фокуса с шариком. Но теперь кто-то их снова вытащил: три красных стаканчика выстроились в ряд в центре стола. Он подошел ближе. Кто их сюда поставил? Ларри? С чего бы? И определенно не Кирсти. Тогда Элла. Конечно Элла. Прежде всего ее выдала собственная дотошность: расстояния между стаканчиками были одинаковыми, не больше одного-двух сантиметров. Но когда? И с кем она собиралась играть? Он присел на корточки и стал рассматривать стаканчики один за другим, а потом приподнял тот, что стоял в середине.

— Ты выиграла, — прошептал он. И поднял стаканчик справа. Опять ничего. Он взялся за последний.

На мягком сукне, подобно яйцу гигантской осы или стрекозы, лежала капсула — блестящая, синяя с красным. Он поднял ее. Она была почти невесомой, сквозь слегка ребристую глицерино-

вую оболочку просвечивал заряд химического вещества. Волосы у него на затылке зашевелились, и он круто обернулся, словно ожидая увидеть за спиной Ларри или Эллу, или, упаси боже, Алису — они стоят в дверях, смотрят на него, видят выражение его лица и понимают, о чем он подумал. Но он был один. Никто не собирался ему мешать.

Он зажал капсулу губами, оторвал полоску от вечерней газеты, завернул в нее капсулу и сунул в нагрудный карман рубашки. Потом убрал стаканчики, закрыл коробку, погасил свет и пошел наверх, где, борясь с нахлынувшими чувствами, на мгновение задержался перед комнатой матери.

10

В 8.45 утра, жмурясь от слепящего солнечного света, Ласло Лазар ступил на платформу Вестбанхофа[56]. В одной руке у него была старая синяя «пилотская» сумка; в другой — черный портплед из жесткого кожзаменителя, который накануне вечером на Восточном вокзале ему вручил совершенно незнакомый мужчина средних лет.

Это, конечно же, были не деньги — их передадут позже, — и когда он заглянул внутрь, запершись в туалете в поезде, то обнаружил, что в портпледе нет ничего, кроме десятка газет — «Монд дипломатик» — и двух больших белых махровых полотенец, по всей видимости для объема. В Вене он оставил портплед при себе, сдав синюю сумку в камеру хранения, проехал на такси до здания Оперы и, чтобы убить время, прогулялся пешком по Картнер-штрассе, Зингер-штрассе и Хоэ-маркт. Несколько раз он останавливался перед витринами и оглядывал улицу, пытался хоть мельком увидеть в пестрой толпе прохожих фигуру, которая остановилась тогда же, когда остановился он,

---

[56] Примечания: 56
Западный вокзал в Вене.

но единственное назойливо маячащее за стеклом лицо, которое всякий раз виновато замирало, застигнутое врасплох (оно напоминало лужицу молока на столе из темного дерева), было его собственным.

В половине первого он вернулся в Вестбанхоф и сел за столик привокзального ресторана — между колонной и большим растением в кадке, откуда были хорошо видны стеклянно-металлические двери. До встречи оставалось еще двадцать пять минут, но на этот раз он не желал вздрагивать оттого, что к нему подошли неожиданно, как получилось на вокзале в Париже, когда он обернулся и увидел прямо перед собой чужое лицо, цепкостью взгляда напоминавшее лицо полицейского, и услышал голос, который заученно произнес: «Франсуаза велела вам передать», — с акцентом, к которому он уже почти привык.

Подошла официантка, рыхлая девица, изнывающая от скуки, и встала над ним, с блокнотом наизготовку. Аппетита у него не было: утомительная прогулка с портпледом по раскаленному городу, которым он никогда особо не восхищался, разбудила ноющую головную боль, но он наугад выбрал из меню несколько блюд и заказал бутылку пива «Кайзер». Пиво официантка принесла

сразу же. Оно было холодным, и Ласло все же стало лучше. Он расслабился, закрыл глаза и попытался примириться с фактом, что он целиком и полностью здесь — в Вене! — в то время как в более здравом и упорядоченном мире он сидел бы за своим столом в Париже, правил реплики диалога и размышлял, чем из содержимого холодильника можно пообедать.

У него в висках все еще стучал ритм поезда — чувство отдаленно знакомое, потому что когда-то он часто ездил этим ночным поездом. Четыре-пять раз в год — к матери и дяде Эрно. «Восточный экспресс» — крайне странное название для средства передвижения, которое не было ни роскошным, ни даже быстрым. Шесть спальных мест в купе, одиннадцать купе в вагоне, по всей длине которого шел узкий коридор, где пассажиры курили и просто стояли у окон, мрачно взирая на темно-синие поля и огни незнакомых городов.

И ни разу не обходилось без происшествий, без какого-нибудь необычного знакомства. На этот раз, когда они ехали по Восточной Франции, он целый час пытался развеять страхи рыжеволосой американской девушки, которая наслушалась рассказов или, может быть, вычитала в каком-

нибудь нудном путеводителе, без которых никто просто не в состоянии выйти из дома, о шайках бандитов, которые пускают в спальные вагоны нервно-паралитический газ и грабят или даже убивают потерявших сознание пассажиров. Он не был силен в английском — в последний раз ему приходилось объясняться на нем в Сан-Франциско, — а она не говорила ни на каком другом языке, но в конце концов, с помощью нескольких порций шнапса, ему удалось заставить ее понять, как абсурдны ее опасения, хотя в глубине души он вполне допускал, что дальше к востоку (в Румынии?) такие банды действительно существуют, особенно в нынешние неспокойные времена.

Когда девушка уснула, а француз на нижней полке перестал скрипеть зубами, Ласло растянулся на полке и принялся вспоминать свою последнюю поездку на «Восточном экспрессе» зимой восемьдесят девятого, когда он ездил в Вену, чтобы проводить свою мать в последний путь. Янош прилетел из Нью-Йорка (где в судебных коридорах заканчивался его брак с Пэгги), и они вдвоем три дня дежурили у материнской постели в городской больнице; Янош шептал Ласло на ухо про любовь, правосудие и частных детективов, а Ласло смотрел, как серебристо-се-

рый февральский снег строит маленькие сугробы на подоконнике узкого окна над головой его матери.

Такой конец люди обычно называют «мирным»: старая женщина, которую месяцы изнурительной болезни превратили в скелет, вдруг просто перестала быть, испустив последний вздох и закрыв глаза, как фараон. Быстрый, ничем не омраченный уход. Но в ту же секунду его потрясло чувство, что в этом сжатом, занавешенном пространстве в конце палаты произошло нечто похожее на откровение, нечто божественное, и он ухватился за это чувство в надежде, что его горе обретет смысл, что в этом возвышенном порыве он примирится с волей Всевышнего. Но этот миг был краток. Он был слишком материалистом, воспитанным на принципах диалектики, «единственно верного» пути, победы социализма. У него не было даже зачатков религиозного воспитания — ни заученных в детстве текстов, которые помогли бы ему облечь свое чувство в слова, ни утешительных образов возносящихся к небу душ. Поэтому ее смерть, как и та, другая смерть в Будапеште, осталась для него тем, чем была: неподвластной рассудку загадкой — и на какое-то время погрузила его в совершенное одиночество,

которое нагоняло на него отчаянный страх.

Потом, когда все формальности были выполнены, все бумаги подписаны и санитары увезли ее тело в морг (на запястье игла капельницы оставила маленький синий цветок), братья сцепились в объятиях в коридоре перед палатой — два немолодых уже человека, небритых, с покрасневшими глазами, иностранцы, не в силах сдержать ярости оттого, что не совладали со смертью, а мимо них спешили по своим делам медсестры, обутые в туфли на мягкой подошве, отчего шагов было почти не слышно.

— Bitte?[57]

Принесли заказанную еду: кусок свинины, окруженный какой-то зеленой массой, в которой он, сверившись с меню, признал пюре из шпината. Он взял вилку из опасения, что, если он не сделает хотя бы попытки съесть то, что заказал, это покажется подозрительным, но после первого же куска решил, что намного подозрительнее есть подобную гадость, и отодвинул тарелку, подняв взгляд от стола именно в ту секунду, когда в дверях появился его связной.

Она подстриглась и покрасила волосы (в тем-

---

[57] Примечания: 57
Здесь: разрешите? (нем.)

но-рыжий), оделась в полинявшие джинсы и голубую мужскую рубашку с рукавами, закатанными до локтей, но не узнать ее он не мог: подруга Эмиля, хотя и без той ауры суровости, которая в Париже окружала ее подобно дымовой завесе. Сейчас она походила на чью-нибудь любимую племянницу — почему бы и не его? — которая, улыбаясь и самоуверенно покачивая бедрами, шла через зал к его столику. На плече у нее висела сумка, похожая на ту, что была у него, хотя по натяжению ремня и по тому, с какой осторожностью она опустила ее на пол за его стулом, было ясно, что сумка эта намного тяжелей.

Она расцеловала его в обе щеки.

— Как доехали?

— Хорошо, спасибо.

Она уселась напротив и закурила. Заказала официантке колу.

— Вам нужно поесть, — сказала она, глядя на его тарелку.

Ласло пожал плечами:

— Жара…

— Может начаться гроза, — заметила она.

— Вы так думаете?

Ему бы очень хотелось знать правила игры, знать, нужно ли ему считаться с тем, что их мо-

гут подслушать, хотя столики вокруг них были пусты, а из спрятанных в стенах колонок лилась музыка — неизбежный наскучивший вальс. Он подумал, что им следовало бы проинструктировать его на этот счет в Париже. Ему не хотелось выглядеть дураком.

Он наклонился к ней.

— Вы поедете со мной?

— Нет, — ответила она. В ее голосе послышались нотки прежней нетерпеливости. — Конечно нет.

Она выпила колу и разгрызла зубами кубик льда.

— Слушайте, — сказала она. — Поезд на Будапешт отбывает в двадцать минут третьего. Когда вы приедете в город, остановитесь в отеле «Опера» на улице Реваи. Вы знаете, где это?

— Знаю. Рядом с Базиликой.

— Верно.

— И что я там буду делать?

— Осматривать достопримечательности.

— И как долго?

— Два-три дня. Оставьте сумку в сейфе отеля.

— Может, будет безопаснее держать ее при себе?

— Очень важно, чтобы вы делали все именно

так, как мы вам говорим. Ни больше ни меньше. Когда все будет готово, с вами свяжутся.

— Как?

— Это решат те, кому положено.

Она потушила сигарету, потом потянулась рукой вниз и совершенно естественным жестом взялась за ремень его сумки.

— Вы все узнали, что хотели?

— Это зависит от вас, — сказал Ласло.

Она позволила себе мимолетную улыбку.

— Приятного отпуска.

Ему захотелось спросить ее, увидятся ли они снова, но тут же с уверенностью подумал, что нет. Ему было жаль. Пусть в их первую встречу она пробудила в нем глубокую неприязнь, но сейчас эта неприязнь сменилась подлинным восхищением, настолько она была безупречна — как лезвие бритвы, хотя он подозревал, что эта безупречность может однажды подвигнуть ее на то, чтобы оставить взрывное устройство в многолюдном баре. Шарлотта Корде, Ульрика Майнхоф[58], Жанна д'Арк! Как странно, что он стал ее сообщником. Он смотрел, как она уходит.

---

[58] Примечания: 58

Ульрика Майнхоф — немецкая журналистка, примкнувшая к террористической группировке Фракция Красной армии и ставшая одним из ее лидеров; в 1976 г. покончила с собой в тюрьме.

Она и есть «Франсуаза»? Уже давно женщина не интересовала его так. Он порадовался, что это еще возможно.

Он помахал рукой, чтобы ему принесли счет, расплатился наличными, оставив на чай, и приподнял сумку, но она оказалась поразительно тяжелой. Ему пришлось ухватиться за нее поудобнее и слегка присесть — только тогда он смог повесить ее на плечо. Сколько же денег могут столько весить? Четверть миллиона? Полмиллиона? Конечно, невозможно угадать сумму, не зная валюты. Вероятно, немецкие марки или доллары. Крюгерранды?[59] Почему бы и нет. В любом случае диаспора наверняка не поскупилась, хотя большинство ее членов были гастарбайтерами, и такие пожертвования не могли не ударить их по карману. Что до остальных, то магнаты вроде Беджета Паколли[60] могли бы нагрузить сумку потяжелее этой, ничем особо не жертвуя. Как и те, которые нажили богатство не таким честным путем (ходили слухи, что героиновым бизнесом

---

[59] Примечания: 59
Валюта ЮАР.

[60] Примечания: 60
Глава швейцарской фирмы «Мабетекс», получившей подряд на реконструкцию Московского Кремля, участник нескольких громких судебных разбирательств в России в конце 90-х, обвинялся в «отмывании денег».

в Цюрихе заправляют албанцы, и главари этой мафии наверняка обрадовались возможности купить себе толику политического влияния). Вряд ли Эмиля Беджети и его друзей чересчур волнует происхождение этих денег. В трудные времена твердая валюта сама себе оправдание.

Он купил билет в зале вокзала, забрал пилотскую сумку из камеры хранения и направился к платформе, куда, в соответствии с расписанием, уже подходил поезд («Бела Барток») — локомотив и десятка два пыльных вагонов вползали под удлинившуюся после полудня вокзальную тень. Ласло вошел в вагон и пошел по проходу в поисках более или менее свободного купе, пока не нашел то, что искал: в нем было два свободных кресла, развернутых вперед. Он пристроил синюю сумку на полку у себя над головой и сел у окна, поставив черную сумку в ноги и обмотав наплечный ремень вокруг запястья. Позади него два голоса по-венгерски, с городским акцентом, как и у него, но пересыпавшие речь не всегда понятным сленгом, обсуждали последнюю игру «Ференцвароша». В вагоне было душно — старый состав без кондиционеров, — и его потянуло в сон, но проснуться в Будапеште без сумки было бы слишком дорогой ошибкой. В буквальном

смысле дороже, чем его жизнь.

Раздался свисток, ребенка на платформе взяли на руки помахать на прощание, в приоткрытые окна подул слабый ветерок. Он откинулся назад, глубоко вздохнул, или, по крайней мере, попытался это сделать, но легкие словно склеились, и когда он с усилием предпринял вторую попытку, то почувствовал боль, словно под его левым плечом меж ребер продернули бахрому из раздраженных нервных окончаний. Теперь можно будет потешиться еще одной мыслью. Как ни крути, не будет ничего удивительного, если человека его возраста хватит сердечный приступ, тем более в такой жаркий день, в поездке. Случись с ним такое, в его сумку обязательно заглянут, в поисках лекарства или просто из любопытства — ведь она такая тяжелая. Жаль, что ему не удастся увидеть выражение их лиц.

Он надел темные очки и вытащил из-под переднего сиденья смятый экземпляр «Ди пресс». Он начинал злиться на самого себя, на беспрестанную озабоченность своим состоянием, на фантазии об обмороке: он смотрит с пола на незнакомые лица и кто-то — всегда найдется кто-нибудь — кричит: «Не двигайте его!» Неужели он этого правда хочет? Оплошность, которая

извинила бы все остальные. Бедняга Ласло! Ну что он мог сделать? Ведь он больной человек! Беспомощный!

В Хедьешхаломе, через час после выезда из Вены, в поезд вошли таможенники. Австрийцы в своих щеголеватых беретах и сине-серых мундирах смотрелись почти элегантно; по контрасту с ними венгерская троица в фуражках и мятом хаки походила на новобранцев-неудачников, хотя военная форма, какой бы она ни была, все еще пробуждала в Ласло старые страхи: люди в мундирах казались ему пауками, плетущими паутину закона, чей интерес мог затащить его в силки, выбраться из которых он бы не смог. Он размотал ремень на запястье и снял темные очки.

— Француз? — спросил по-английски один из венгров, когда Ласло протянул паспорт, который в семьдесят первом году, после успеха «Короля Сизифа», французское правительство наконец-то сочло возможным ему даровать.

— Из Будапешта, — по-венгерски ответил Ласло.

— Из Будапешта?

— Сорок лет назад.

Он спросил себя, понял ли его таможенник.

Много ли он знает про пятьдесят шестой год? Люди не будут помнить о нем вечно. Еще одно поколение — и от тех событий останется только параграф в учебнике, который школьники будут учить наизусть ради экзаменационной оценки.

— Вы много путешествуете, — заметил молодой человек, изучая штампы в паспорте.

— По работе, — сказал Ласло и приготовился доходчиво объяснить, в чем заключается его работа.

Он знал по опыту, что таможенники зачастую настороженно относятся к писателям, особенно в странах, где тех привыкли держать под замком и где привычка к травле, как рефлекс, изживалась труднее всего. Но потом он понял, что молодой человек просто завидует этим маленьким влекущим штампам и что ему, по правде говоря, совсем не интересно, кто едет в Венгрию, а кто обратно. Венгрия скоро вступит в Сообщество, станет еще одним отделом великого европейского универмага. Мир шагнул далеко вперед; люди с хмурыми лицами в плащах, припорошенных инеем, затерялись в той самой истории, хозяевами которой себя мнили. Теперь страна открыта, хотя Ласло сомневался, что когда-нибудь к этому привыкнет. Слишком поздно для его поколения.

Поезд сделал еще одну остановку — в Дьёре — и снова помчался по равнине, где над лугами и полями от жары поднималась серебристая дымка. Мимо проплывали приземистые сельские домики, машины, терпеливо выстроившиеся в очередь перед шлагбаумом, тени, неподвижные, как вода во рву, окружавшем почерневшие от времени стены старого завода советских времен. Ласло прислонился головой к стеклу и заснул. Ему тут же приснился сон: смутно знакомая улица, городской пейзаж, который его подсознание сложило из десятка разных городов — тех мест, где он жил или которые видел из окна такси или на киноэкране. Он был одет в мешковатый черный костюм, как у клоуна в цирке, и тащил за собой огромный, набитый до отказа чемодан, обмотанный ремнями. На углу, в наряде мексиканского *бандидо,* стоял, прислонившись к стене, Эмиль Беджети и обнимал за плечи красивую женщину, которая пронзительно хохотала при виде спотыкающегося в пыли Ласло. Но сон не оставлял тягостного впечатления. Даже понимая, что вряд ли сможет долго тащить свою ношу, он был доволен, почти счастлив, с упорством человека, который подчиняется своей судьбе, зная, что другой ему не дано. Внезапно город исчез, и

он очутился посреди равнины, волоча чемодан — в котором он смутно признал тот самый чемодан, с которым покинул Венгрию, чемодан его отца, из блестящей кожи, с инициалами «А. Л.» на крышке — по белой дороге, петляющей до самого горизонта: белая лента, продернутая сквозь пустынную аркадию, которая безошибочно приведет его к последней в его жизни цели…

Когда он проснулся, поезд уже подходил к вокзалу Келати, и чарующее, неожиданное умиротворение его сна сменилось шквалом звуков и мелькающих перед глазами фигур. В панике он бросился шарить руками по полу, кляня себя на чем свет стоит и путаясь в страницах газеты, которая свалилась у него с колен, пока он спал, и с облегчением, во весь голос рассмеялся, когда его пальцы нащупали гладкий бок сумки.

Он выбрался со своим багажом на платформу и, петляя из стороны в сторону, принялся обходить кучки зазывал, в основном грубоватых с виду женщин с табличками «Сдается комната» на английском, немецком и итальянском языках. Над их головами вились голуби, крылья которых мелькали в потоке света, падавшего из огромного, похожего на раскрытый веер окна над выходом в город. Эмигрант, драматург, между-

народный курьер, Ласло Лазар вернулся на свою старую родину и тихо приветствовал ее на своем родном языке.

11

В воскресенье утром Алиса Валентайн сидела и ждала на диване в гостиной «Бруклендза». На ней было зимнее пальто горчичного цвета, вокруг шеи обмотана норковая горжетка, с обоих концов которой красовались высушенные звериные мордочки. Эта горжетка принадлежала еще ее матери и пятьдесят лет назад, наверное, придавала шику молодой женщине в вечернем платье с напудренным декольте, но время и полчища моли сделали свое черное дело. Зверьки, с их стеклянными глазами и ушами, превратившимися в бахрому, дошли до последней стадии облысения, чем напомнили Алеку старую собачью шкуру из лампедузовского «Леопарда»[61], которую в конце романа вышвыривают за окно. Но Алиса захотела надеть горжетку, и после долгих поисков он отыскал ее в шляпной картонке в глубине платяного шкафа у лестницы. Никто не знал, почему она захотела ее надеть; может быть, в память о матери по случаю поездки в старый дом. Никто

[61] Примечания: 61

Имеется в виду роман «Леопард» итальянского писателя Джузеппе Томази ди Лампедуза (1896–1957).

больше не просил ее ничего объяснять.

Они выехали без четверти двенадцать: Ларри, Элла и Кирсти на заднем сиденье, причем Ларри почти упирался коленями себе в подбородок, Алиса — на переднем, со своей тростью, кислородом, бумажными носовыми платками, пластиковым пакетом из супермаркета, полным флаконов с таблетками. Ехали по проселочным дорогам в мелькающей тени деревьев; Алек склонился над рулем, как игрок над колодой карт, хотя встречных машин почти не было. Элла в зеленом платьице и сандаликах сидела между родителями, спокойная и молчаливая. Ларри потрепал ее по затылку, и она повернулась к нему.

— Ну, как ты? — прошептал он. — Как мы?

Он уже поговорил с ней о возвращении капсулы («наш секрет»), хотя в его словах было больше благодарности, чем упрека. Алеку он тоже был благодарен. Очевидно, его беседа с девочкой принесла больше пользы, чем они думали. Теперь этой штуковины больше нет — Алек отправил ее туда же, куда и остальные (удивительно, чего только люди не спускают в унитаз!), так что на этот раз опасность миновала. Он получил неожиданную передышку, спасение воодушевило его, и первый раз за долгие месяцы

он почувствовал, что еще не все потеряно. Он мог бы вернуться к выпивке, порошку, колесам, переменам настроения, лжи, но, похоже, на этот раз ему удастся воспротивиться этим затянувшимся излишествам и вернуться к нормальной жизни. Но придется постараться, чтобы перемены оказались убедительными для него самого. Они должны пронизать все его существо, а иначе — сколько бы раз человек ни обещал измениться, всегда может наступить момент, когда слова «я изменюсь» превратятся в «я хочу измениться, но не могу». Не исключено, конечно, что он опоздал: Кирсти практически вычеркнула его из своих мыслей и вряд ли намерена снова впустить его туда. Единственное, что он знал, так это то, что она уже переговорила кое с кем в Штатах, с каким-то адвокатом, и что дома его ждут соответствующие бумаги. Она целую неделю была предоставлена самой себе, и эта стерва Хан могла подбить ее на что угодно. Но инстинкт подсказывал ему, что у него еще оставался шанс — последний, — и он собирался его использовать.

Положив левую руку на спинку сиденья — его пальцы оказались прямо за шеей жены: откинься она назад, и он бы коснулся ее, — он посмотрел в окно и увидел, как по полю врассыпную несутся

кролики. Пощипывали траву овцы, пегие коровы помахивали хвостами у лоханей с водой под сенью деревьев. Колосились хлеба, поспевал рапс, красные сенокосилки тянули за собой тучи пыли. Вокруг выросли автострады, миллионы новых домов, но здесь природа сохранила свое богатство, свою хрупкую прелесть. Торопясь покинуть Англию, он совсем этого не ценил. Теперь же он вновь почувствовал притяжение этой земли, как будто открывшийся ему пейзаж — первое, что он увидел в жизни, — заявил на него права, пробудил голос крови, к которому он наконец-то был готов прислушаться.

Он взглянул на мать, сгорбившуюся в кресле, как будто воздух был слишком для нее тяжел. Радовалась ли она тому, что видела? Или ей уже все равно? Она уже давно никуда не выезжала — любая поездка означала для нее поездку в больницу, — и когда они с Кирсти принесли ей утренний чай (в занавешенную комнату, которую, казалось, никакой ветер не в силах был освежить), она так смутилась и замешкалась, что они почти решили отложить поездку. Она горько пожаловалась, что никак не может удобно улечься, как ночью хотела повернуться на бок, но боялась задохнуться. Потом, когда Кирсти

оставила их одних — Элла закричала снизу: «Мама!» — она сказала, что знает, как поступил бы «добрый доктор», — слова, которые Ларри отказывался понимать, хотя она упорно сверлила его взглядом, пока Кирсти не вернулась и не дала ему возможность улизнуть в сад и выкурить сигарету.

Уже несколько дней (или месяцев?) он пытался собраться с мужеством и поговорить с ней. Он хотел — очень хотел — показаться ей таким, каким он был на самом деле, дать ей увидеть себя не сверкающим предметом ее давней гордости, а человеком, оказавшимся не в силах справиться со своими собственными недостатками, о существовании которых пять лет назад он лишь смутно подозревал. И хотя он был почти уверен в том, что она уже смирилась с потерей своей давней мечты, к осуществлению которой они оба так дружно стремились, он боялся, что она уйдет (скажи «умрет», Ларри!), и между ними навсегда останется тень притворства. Ему было нужно, чтобы его приняли таким, каков он есть. Всего лишь момент, не больше: поднять руку в благословении, но этот момент нужно было еще улучить. И не откладывая.

Справа от дороги развернулась долина Солсбе-

ри: низкие светло-зеленые холмы, сращенные с небом отрезками плотного темного леса. Когда они были милях в двадцати от старого дома, Алиса начала узнавать места и называть их. Церковь, где она однажды была подружкой невесты. Паб с привидениями. Ворота имения, за которыми влачила остаток дней какая-то местная знаменитость.

Кирсти объяснила Элле:

— Здесь бабушка жила, когда была маленькой девочкой.

— Понятно, — ответила Элла и посмотрела по сторонам с напускным интересом — мало что может впечатлить ребенка из Норт-Бич, который видел и каньоны, и горы, и гигантскую секвойю.

Когда Алек пропустил поворот, Алиса замахала на него скомканным носовым платком и обозвала дураком, как будто они ездили по этой дороге каждую неделю. Он извинился, дал задний ход и выехал на проселок, по краям которого зеленела нестриженая трава, а в колеях и рытвинах голубели лужицы от прошедшего на прошлой неделе дождя.

— Ого, — заметила Кирсти, — настоящая деревня.

— Тут и медведи водятся, — сказал Ларри. —

Мама, тебе лучше поднять стекло.

Но она больше никого не слышала. Не обращала внимания на болтовню. Сейчас она ни с кем не хотела себя делить.

Ларри потянулся вперед и тронул брата за плечо:

— Помнишь?

Алек кивнул. На этом лугу они когда-то играли, пачкая колени в траве. На здешних фермах работали на каникулах и по выходным, сгребали сено или давили сидр, чтобы заработать несколько фунтов, а потом, когда для работы становилось слишком темно, пили молоко на кухне в хозяйском доме. Они растрогались, снова оказавшись в этих местах, увидев дорогу, уходящую в холмистую даль, как само время, и в свои последние пятнадцать минут путешествие стало тихим и торжественным, как ритуальная процессия: никто не произнес ни слова.

Дом стоял в стороне от дороги на самом краю деревни: двухэтажное здание из красного кирпича, над входной дверью надпись черной краской: «1907». По крайней мере, снаружи он почти не изменился, хотя некоторые новшества все же были: высокие ворота, ярко-желтый пожарный ящик у окна на втором этаже и маленький фонтан перед

главным входом — херувим с урной, — как в деревенской гостинице. Алек припарковал машину между «рейндж-ровером» и зеленой «эм-джи», и братья осторожно подняли мать с сиденья; им навстречу по гравию заковылял старый Лабрадор и обнюхал подол Алисы, — можно подумать, норка, ставшая горжеткой полвека назад, все еще издавала звериный запах.

— Фу, — выдохнула Алиса, но собаку переполняло собачье любопытство, и она проводила ее до самого входа.

Ларри потянул за искусно сделанную металлическую ручку (во времена бабушки Уилкокс на ее месте был простой электрический звонок) — раздалось треньканье, и минуту спустя в дверях появился молодой человек лет двадцати — двадцати двух с бледным миловидным лицом, в рубашке, расстегнутой до пупа, и молча уставился на гостей, как будто хорошие манеры подразумевали невосприимчивость к внешним раздражителям, граничившую с тупостью. Судя по всему, никто не предупредил его о том, кто эта исхудавшая, странно одетая женщина. Он прислонился к косяку и, растягивая слова, произнес:

— Меня зовут Том.

— Хорошо, — ответила Алиса и, выпустив руки

сыновей, нетвердой походкой прошла мимо него в темноту холла.

— Мы приехали с визитом, — сказал Алек и поспешил за ней, испугавшись, что она вот-вот рухнет на выложенный плитками пол.

— В родовое гнездо Валентайнов, — добавил Ларри, широко улыбаясь при виде замешательства юноши, и в свою очередь вошел в дом.

— Мы тоже Валентайны! — заявила Кирсти. — У вас найдется уборная для моей малышки?

Когда они все вошли внутрь, из комнат первого этажа появилась Стефани Гэдд, женщина лет пятидесяти, моложавая, энергичная, просто, но со вкусом одетая в широкие брюки цвета морской волны и шифоновую блузку. На шее у нее висела нитка жемчуга, которую она теребила пальцами во время разговора.

— А вот и вы! — воскликнула она. — Наверное, поездка была ужасной? Том каждый раз сворачивает не туда, когда едет из Лондона. — Она одарила сына долгой улыбкой и, не оборачиваясь, указала на мужчину у себя за спиной. — Это Руперт, моя вторая половина.

— Очень рад, что вы до нас добрались, — сказал Руперт.

С подобающим случаю выражением лица он

пожал Алеку и Ларри руки, постаравшись вложить в рукопожатие как можно больше силы, словно хотел таким молчаливым образом подчеркнуть свою искренность, хотя, когда Ларри в ответ сжал его руку, с лица пожилого человека сбежала вся краска.

Тому было велено проводить Эллу с Кирсти в уборную для гостей. Остальных пригласили в столовую, где на белоснежных скатертях был накрыт изысканный стол а-ля фуршет.

— Боюсь, здесь в основном бутерброды, — сказала Стефани. — Мне подумалось, что в такую теплую погоду можно обойтись без существенных блюд.

Алису усадили между Алеком и Рупертом. Она не пожелала снять ни пальто, ни горжетку и сидела на своем стуле, как постаревшая голливудская старлетка или одна из погубленных абсентом женщин с полотен Тулуз-Лотрека.

Когда Кирсти с Эллой вернулись, Стефани раздала всем тарелки и пригласила угощаться кто чем захочет. По воскресеньям они стараются обедать по-простому, и она надеется, что гости ее простят. Руперт вытащил штопор из бутылки с вином и поднес ее к свету. Оказалось, что он член винного клуба — «ничего серьезного, просто

ради общения», — но, несмотря на эту оговорку, выбранное им перуанское красное произвело впечатление.

— Просто разлей его, дорогой, — сказала Стефани. Она взглянула на Кирсти с прочувствованным выражением женской солидарности, и та постаралась ответить ей тем же.

Том Гэдд, все еще расстегнутый, с элегантностью осужденного занял свой стул в конце стола перед окном и, повертев в руках сначала ломтик пармской ветчины, потом фаршированную оливку, вульгарно зевнул, после чего откланялся, сославшись на то, что ему нужно срочно позвонить.

Алиса сделана несколько глотков минеральной воды, но есть не стала. За несколько минут до конца обеда она даже задремала, но, когда Стефани вернулась из кухни с подносом, полным нарезанных персиков и свежеиспеченных меренг, извиняясь, что не может предложить ничего больше, а только такие мелочи, которые годятся лишь на то, чтобы «заморить червячка», Алиса дрожащим от натуги голосом перебила ее:

— *Пожалуйста!* Пожалуйста, можно мне посмотреть дом?

Последовало минутное замешательство. Лицо

Стефани вытянулось, как будто ее выдержка оказалась более хрупкой, чем можно было судить по ее манерам. Но она тут же пришла в себя, поставила поднос на стол и ухватилась за свой жемчуг.

— Как это глупо с моей стороны, — сказала она. — Конечно, вы можете осмотреть дом. Руперт!

— Да-да, конечно, — отозвался Руперт, вскакивая со стула. — Мы пойдем вместе, ведь так?

Они начали с гостиной, войдя туда вслед за Стефани, которая, разводя руками, объясняла, как они разбивали стены, расширяли пространство и наконец сумели придать этим простым комнатам немного роскоши. В каждой комнате наступал момент, когда все окружали Алису, словно желая стать свидетелями акта воспоминания, но ее взгляд оставался растерянным. Она хмурилась, будто ее привезли не в тот дом или будто искала что-то особенное и не могла найти — обрывок тонкой нити, который привел бы ее в прошлое.

Потом поднялись на второй этаж: Алиса — впереди, цепляясь за руку Ларри, остальные за ними, стараясь идти как можно медленнее.

— У вас очень красивый дом, — сказала Кирсти.

— Это так мило с вашей стороны, — ответила

Стефани. — У нас есть квартирка в Лондоне, но Лондон сейчас уже не тот, что прежде.

— Невозможно купить утреннюю газету, — пояснил Руперт, — если не говоришь на португальском или урду.

— *Un moment!* — вдруг воскликнула Стефани, вырываясь во главу колонны. Она открыла дверь в дальнем конце коридора и пригласила гостей в хозяйскую спальню. — Это зеркало мы привезли из Италии, — сказала она. И обратилась к Алеку: — Вы хорошо знаете Сиену?

Ларри, который втайне потешался над этими людьми, взял в руки фотографию, что стояла на каминной полке рядом с зеркалом. Двое мальчишек в форме для крикета на спортивной площадке английской частной школы. В мальчике с битой безошибочно узнавался медлительный Том. Второй мальчик, постарше, со светло-каштановой прядью, упавшей на глаз, стоял, держа мяч на вытянутой вверх руке, как будто только что разбил пять воротец подряд, и изо всех сил старался унять самодовольство. Слева на заднем плане виднелся зеленый край женского платья и поля темно-зеленой шляпки. Ларри поставил фотографию обратно на каминную полку, поймав в зеркале взгляд Стефани Гэдд, которая смотрела на

него с выражением, какое он в последний раз видел на лице Бетти Боун в долине Сан-Фернандо.

Стоя у окна, Алиса пристально разглядывала сад. Он был меньше, чем в «Бруклендзе», не такой запущенный, и под небольшим уклоном сбегал между буковых изгородей к берегу ручья. Остальные присоединились к ней.

— Там, — произнесла Алиса едва слышным голосом. — Туда…

— Вы говорите про старую иву? — спросила Стефани. Алиса кивнула, прижимая к стеклу кончики пальцев.

— Ты хочешь выйти в сад, мама? — спросил Алек.

Она повернулась к нему и улыбнулась, ее лицо просияло, словно от удивления, что он оказался рядом с ней и что именно благодаря его предложению выйти в сад она сможет наконец это сделать.

— Ты ангел, — сказала она. Потом повернулась к Стефани Гэдд и повторила: — Мой сын просто ангел.

— Да, — ответила Стефани, снова потянувшись рукой к нитке жемчуга. — Я это вижу.

На несколько минут сад вдохнул в Алису новые силы. С тростью, без чьей-либо поддержки,

она прошла по ухоженному газону с энергией, какой не выказывала уже несколько недель. День начинал клониться к вечеру — бархатный час. В пределах видимости воздух был серебристо-серым; ближе к горизонту его цвет сгущался, становился почти пурпурным. Там, на горизонте, что-то затевалось — перемена погоды, — но это было еще слишком далеко и могло ничем не кончиться.

— В такой день дом выглядит совсем неплохо, — сказал Руперт.

Они с Кирсти стояли в тени.

— По-моему, здесь очаровательно, — сказала она.

— Все благодаря старому садовнику из деревни. Мы не понимаем ни слова из того, что он говорит, но на него можно положиться. Стеф прикладывает к саду мозги, он — руки.

— Вы были так добры, что позволили нам приехать.

— Не стоит благодарности.

— Мне кажется, она в порядке, — заметила Кирсти, наблюдая, как Алиса, остановившись, уткнулась лицом в большую чайную розу.

— И все же, — сказал Руперт, — она наверняка чувствует себя ужасно.

И добавил изменившимся голосом:

— Мы потеряли брата Тома два года назад, он умер от лейкемии. У Тома брали костный мозг на пересадку, но это не помогло. — Он усмехнулся, хотя лицо плохо его слушалось. — Бедняга Томми считает, что это его вина. Знаете, как бывает. Думает, что он должен был сделать больше.

Когда движения Алисы замедлились, словно у игрушки, которой требовался подзавод, ей принесли стул и попытались уговорить ее пойти в тень. Но ни заботливая настойчивость, ни осторожные упреки — ей не следует так перенапрягаться — ни к чему не привели: она потребовала, чтобы стул поставили на траву перед ивой. Алек помог ей сесть. Она сжала его руку и сказала, что именно ради сада хотела сюда приехать. Ничто в доме не помогло ей — кто эти люди? — но дерево осталось прежним, и это чудесно. Оно надежно хранит свои секреты! Это то самое дерево, которое она каждое утро видела из своего окна, собираясь в школу. То самое дерево, под сенью которого она обнималась с Сэмюэлем, опуская голову ему на плечо, по воскресеньям, когда во второй половине дня он спешил на лондонский поезд. То самое дерево, под которым она стояла в тот вечер, когда вышла спасти отца. В

тот вечер, когда он сказал ей про огнеметы. Знает ли он об этом?

Алек кивнул. Он понятия не имел, о чем она говорит. Да и то ли это дерево? Вряд ли. Но тут ее лицо обрело ту особую восковую бледность, которая возвещала о том, что скоро снова нахлынет боль.

— Нам пора ехать, — сказал он.

Она протестующе взмахнула рукой. Ей хотелось побыть здесь еще. Посидеть в одиночестве. Она ждала кого-то. Она не знала кого. Пока не знала. Но кто-то должен был прийти.

— Я очень устала, — сказала она. — Мне кажется, я не смогу встать.

— Я помогу тебе, когда ты будешь готова, — сказал он.

— Поможешь?

— Когда ты будешь готова.

Он прошел через сад и присоединился к остальным, которые сидели в патио под большим зонтом от солнца.

— Все в порядке?

— Да, — ответил он.

Стефани принесла кувшин домашнего лимонада, и минут двадцать они вели светскую беседу, обмениваясь навязшими в зубах любезностями,

чего только Элла смогла избежать, изворачиваясь на стуле, чтобы получше рассмотреть спину Алисы, на которую с плеч свешивались головы забавных зверьков с хищными мордочками — их стеклянные глаза словно жмурились от яркого солнца. Эту сцену она будет помнить всю жизнь, даже когда позабудет и сам дом, и людей, которые в нем жили, и даже зачем они туда ездили. Она спросила об этом у матери, когда та приехала в Нью-Йорк навестить ее и своих внуков (в День благодарения две тысячи тридцать седьмого года), но Кирсти совсем не запомнила норочьих голов, хотя, по ее словам, помнила ясно, как день, грозу, которая застигла их по пути домой, и, конечно же, день рождения свекрови, отмечавшийся неделю спустя. И все, что случилось потом.

12

Когда зазвонил телефон, он тут же схватил трубку, в полной уверенности, что это его связной, который назовет ему время и место для передачи сумки, но это был всего лишь автоматический будильник, сообщавший, что уже половина девятого. Он снова откинулся на подушки. Он лежал на большой кровати, застеленной чистым бельем, в большой чистой комнате. Приглушенные тона, все новое. Большое окно с тюлевой занавеской выходило на узкую улочку. Шума практически не было. На стол со стеклянной столешницей падал профильтрованный солнечный свет.

Подремав еще с полчаса, он стянул с себя простыни и направился в ванную, где открыл гостиничные флакончики с гелем, шампунем и кондиционером и принял душ, подставляя лицо под тугие струи воды. По его подсчетам, за последние двадцать лет ему приходилось останавливаться более чем в двухстах разных отелях, иногда ради удовольствия, но в большинстве случаев — по делу (как будто у него было «дело»!). Ждать собеседования, встречи с продюсером,

звонка из дома. Арендованное пространство, где зачастую еще оставались следы предыдущего обитателя: запах табачного дыма или волосок, закрутившийся вокруг цепочки в ванне. Эти следы бывали и более явными. В отеле в Лондоне он однажды обнаружил каплю крови на кафеле в ванной комнате, а в хорошем, рекомендованном отеле Дублина — несмываемый нарост дерьма в унитазе.

В отеле «Опера» на улице Реваи завтрак включался в стоимость номера и подавался в ресторане на первом этаже. Проходя мимо стойки, Ласло помахал рукой, чтобы поздороваться с одетым в жилет администратором, которому накануне вечером сдал на хранение черную сумку (после того, как заглянул в нее у себя в номере) — он был разочарован, обнаружив, что содержимое ее, каким бы оно ни было, тщательно упаковано: под внешним слоем из вощеной бумаги прощупывался еще один слой из толстого пластика. Уже поддавшись искушению сделать маленький надрез — только чтобы посмотреть, что там, — и, встав перед сумкой на колени с маникюрными ножницами в руках, он вдруг оробел, испугавшись, что его посягательство обнаружат и как-нибудь накажут. Квитанция на сумку лежала

у него в бумажнике — зеленая полоска бумаги, похожая на те, что выдают в химчистках.

В ресторане было полно посетителей. Повсюду слышалась немецкая речь, реже — английская, иногда — японская. Когда он попросил показать ему свободный столик, официантка слегка удивилась, что к ней обратились по-венгерски. Она нашла ему спокойное место рядом с двумя сухопарыми седовласыми дамами, которых Ласло немедленно причислил к помешанным на искусстве старым девам — они собирались провести весь день в Национальной галерее, уделив особое внимание фрагментам створчатого алтаря. Дамы приветствовали его бодрым «Grüss Gott!»[62]. Он кивнул в ответ, улыбнулся и направился к шведскому столу выбирать себе завтрак. Салями, манго, французские сырки, завернутые в фольгу. Сахарные кексы. Богатые клетчаткой злаковые хлопья. Яйца вкрутую. Все это выглядело до странности неаппетитно, сваленное в кучу, живая иллюстрация представления управляющего об изобилии.

Он выпил две чашки кофе (слишком слабый), съел половинку грейпфрута (неплохо) и вернул-

---

[62] Примечания: 62
Добрый день! (Южногерманское приветствие.)

ся в номер, где почистил зубы щеткой, а между зубами — ниткой. Он заказал этот номер на три ночи, с условием, что сможет остаться и дольше, хотя, помоги господи, все должно закончиться в этот срок. Оставалось только ждать, а он терпеть не мог ждать. Он снова бросился на постель, растирая грудную клетку и думая о тысяче и одной причине, которые могут помешать его планам. Потом застегнул рубашку, надел синий костюм от Нино Даниели, посмотрелся в зеркало, нахмурил брови и отправился искать спасения на улицах города.

Конечно, Эмиль был прав: за шесть лет город не особенно изменился. Стало больше машин, больше рекламных плакатов с названиями известных марок, которые привычнее смотрелись в Париже или в Нью-Йорке. Больше баров, казино и секс-клубов (их зазывные неоновые вывески — «Полюбуйтесь на обнаженных красоток!» — почти полностью меркли на ярком солнце). И, конечно же, больше туристов, которые целыми толпами, нахлобучив панамы и нацепив рюкзаки, глазели на здания, пялились в меню и тараторили невпопад, как будто хотели еще больше походить на туристов. Но по широким тротуарам проспекта Андраши все так же ходи-

ли, взяв друг друга под руку с точно отмеренной долей сексуального вызова, молодые женщины, а в тени по-прежнему курили и сплетничали мужчины, словно дружелюбные тени умерших у врат Дантова ада. Все та же атмосфера беспечной грусти, непонятного юмора. Это все еще был Будапешт.

Он зашел в «Лавку писателей» на площади Ференца Листа, выпил чашку эспрессо в кафе магазина, потом свернул к реке, прошел мимо нового, облицованного мрамором здания Банковского центра на проспекте Яноша Арани, пересек площадь Свободы и оказался на улице Имре Штейндля, где тут же почувствовал странный перепад давления в атмосфере, как будто плотность известного, знакомого, укоренившегося в памяти неуловимо повысилась. Несмотря на слой свежей краски и ряды немецких и американских машин (конечно, не самых последних моделей, и среди них было легко отыскать старые «шкоды» и «трабанты»), это был тот старый район, где легко, словно яркие буквы под бумажной салфеткой, читалось прошлое полувековой давности. Именно здесь в девяносто первом чей-то голос выкрикнул его имя, и, обернувшись, он увидел лицо своего старого школьного друга, Шандора Доби — Шан-

дора Любопытного! — и, хотя это лицо одрябло от времени, потемнело, утратило решительное выражение, Ласло без колебаний его узнал. Они обнялись и за обедом напились, как студенты, сбивчиво рассказывая друг другу о том, как прожили жизнь. Шандор провел двадцать лет в Америке — занимался строительством, потом был хозяином ресторанчика — и в Миннеаполисе у него остались две дочери и две бывшие жены, с которыми он сохранил замечательные отношения. «Прекрасные времена, — сказал он, когда они откупорили новую бутылку Палинки. — Но, милый мой Лаци, в конце концов все равно нужно вернуться домой. Никакое место в мире не наполнит так твое сердце, как то, где ты появился на свет».

Жив ли еще Шандор? Он признался тогда, что у него проблемы с простатой («Год назад, друг мой, я считал, что „простата“ — это что-то из области юриспруденции!»). Имел ли он в виду рак? Сколько их еще осталось, развеянных, как пепел, по просторам земли? Такие испытания, какие выпали им, не способствуют особому долголетию.

В конце улицы густая тень кончилась, и он вышел на яркий солнечный свет. Перед ним лежали холмы Буды, Рыбацкий бастион, собор

Матьяша, а еще дальше, справа, река разбивалась о нос острова Маргит, выплескивая тонны воды под пролеты моста. Прогулочные катера, надраенные до блеска, излучающие карнавальный дух, унизывали оба берега, рекламируя поездки в Вишеград и Эстергом, некоторые предлагали обильные ужины и даже эротические шоу, как будто, наблюдая за русской или румынской девчонкой-подростком, виляющей бедрами в такт записанным на магнитофонную ленту цыганским скрипкам, можно было постичь самый дух старинной венгерской романтики.

Жилой дом на набережной Сечени облачился в новую ливрею из бледно-зеленой краски, хотя впечатление было подпорчено каким-то граффитистом, который украсил одну из стен здания неразборчивыми красными каракулями. Ласло подошел к тяжелой двустворчатой двери и стал читать таблички рядом с кнопками звонков: «Биндер», «Шерфлек», «Костка», «Доктор Кёниг». В девяносто первом он нашел среди этих фамилий по крайней мере одну, которую, как ему показалось, он узнал; теперь же не было и ее, хотя он никак не мог отделаться от чувства, что, посмотри он еще раз, протри глаза и приглядись повнимательнее, он нашел бы табличку с фа-

милией ЛАЗАР, нажат бы полустертую кнопку и поднялся в старую квартиру, где его отец слушает по радио спортивные новости, мать раскатывает в ладонях жгут теста для клецок, Янош вычесывает свалявшуюся шерсть из шкуры пса Тото, а тетя Габи — какая у нее была пышная грудь! — жалуется, что вены у нее на ногах стали толще шнурков, и — Андраш, послушай, Андраш, нет ли у тебя какого-нибудь чудесного крема? Ты ведь вроде собираешься стать доктором?

Прервав его грезы, дверь отворилась, и из коридорного мрака выплыли две Персефоны[63] с корзинами для покупок. Они подозрительно покосились на него — бледного, щуплого человека в элегантном пиджаке — и, перейдя через дорогу, сели в трамвай номер два, который подошел к остановке, позвякивая натянутыми проводами, словно гигантский желтый кузнечик, складывающий железные лапки. Дверь захлопнулась, и он отвернулся. Ему нужно было посидеть в прохладном месте, где прошлое не будет на него давить, и, вернувшись обратно тем же путем, на площади с южной стороны Базилики он наткнулся на ресторанчик с деревянными перегородками,

[63] Примечания: 63

Персефона — в греческой мифологии богиня плодородия и царства мертвых.

хлопчатобумажными скатертями и без единого туриста. Он сел за столик у окна и заказал свое любимое блюдо — гусиную печень в сметане с картофельным пюре и репчатым луком — и в ожидании принялся пролистывать вчерашний выпуск «Хирлапа»[64], пытаясь развлечься описанием правительственных эскапад, хотя это была та же мышиная возня, что и везде, от которой он так устал. Однако, когда он долистал газету до середины, его внимание привлекли два сюжета. Первый — короткая статья о Балканах с предупреждением о грядущем взрыве в Косово, где произвол сербов вышел за всякие рамки. Милошевич, по словам журналиста, уцелел как политическая фигура благодаря самолично сфабрикованным кризисам, и теперь ему нужна новая война. Любая война, как бы пагубны ни были ее последствия, сослужит ему лучшую службу, чем мир, который даст его противникам время, чтобы организовать сопротивление. Рядом с заметкой была фотография командира боевиков Аркана в берете и солдатской робе, с автоматом через плечо, с волевым подбородком — настоящий народный герой. Посмотрев на него, Ласло

---

[64] Примечания: 64

«Мадьяр хирлап» («Венгерский вестник») — еженедельная газета.

вдруг обнаружил, что голоса сомнения, до этой минуты все еще звучавшие у него в голове, мгновенно утихли. Аркан заставлял посмотреть на вопросы добра и зла, «за» и «против», намного проще: противостоять такому человеку хотелось инстинктивно — не требовалось даже особого мужества, — и если деньги в сумке помогут отправить этого бандита в ад, тем лучше. Такая цель оправдывает любые средства.

Вторая статья, по всей видимости юмористическая, была посвящена скандальному происшествию в одной из старых бань — местного правительственного чиновника застали flagrante delicto[65] в купальне Кирая на улице Фё с одним из тех безымянных, с запавшими глазами юнцов, которые всегда околачиваются в подобных местах. История была скабрезная и грустная, но, читая заметку, Ласло невольно перенесся мыслями назад, к своим собственным приключениям в купальнях, этих неспешно текущих мирах, пережитках Оттоманской империи, неведомо как уцелевших в сердце Народной Утопии, словно орхидеи на комиссарском лацкане. Он снова был там! Худой мальчишка, съежившийся на

[65] Примечания: 65
На месте преступления (лат.).

дощатой скамье парной в окружении пожилых мужчин с отвисшими яйцами, набрякшими сплетениями фиолетовых вен, мокрыми газетами…

Он ходил в купальни с отцом или с дядей Эрно, иногда с семьей Петера — по выходным, — и именно в купальне отеля «Геллерт», самой роскошной из всех, Петер впервые поцеловал его, когда они переодевались, чтобы идти домой, пока дядя Петера, Миклош, одевался в соседней кабинке, насвистывая народные песенки. Этот поцелуй был словно капля дождя с чистого неба, разбившаяся о его плечо, повергнув в оцепенение.

Они обошлись без слов. Да и что можно было сказать, если Миклош влезал в свой фланелевый костюм всего в полуметре от них? Но дома, ночью, когда Янош крепко спал, а в окне справа налево странствовала луна, Ласло сидел на кровати, лихорадочно пытаясь пропустить тот миг сквозь мясорубку разума, потому что уже тогда, в шестнадцать, он был обречен стать мыслителем, обладал сознанием, которое постоянно копалось само в себе. Что с ним случилось? Ему и в голову не пришло искать в этом сексуальную подоплеку: он еще слишком плохо разбирался в таких вещах, — как и для всякого школьника, они были для него лишь предметом пошлых

шуточек. Этот поцелуй, решил он, наверняка был выражением той истинной дружбы, которую, как говорил товарищ Биску[66], должны питать друг к другу пионеры, и это успокоило его ненадолго, заглушило нервную дрожь. Но его мечты о жарких спорах, об эпохальных шахматных матчах и велосипедных гонках по бездорожью уступали место — поначалу робко, потом все смелее — откровенным эротическим фантазиям: жажде обнаженной кожи, невнятного шепота и других проявлений близости, названия которых он выуживал в родительских медицинских справочниках, а позже, с еще большим пылом, — в романах зарубежных писателей, которые они тайно прятали в чемодане у себя под кроватью. Золя, Милош, Томас Манн…

Дяде Миклошу предстояло сыграть еще одну роль, так как именно в его квартире в Седьмом районе, более просторной, чем квартиры Ласло и Петера (в ней было легче уединиться), они наконец занялись любовью, неумело и воровато, словно пара взломщиков-подмастерьев, расстегивая друг другу пуговицы на кровати с поющими пружинами и коричневым шерстя-

[66] Примечания: 66

Сподвижник Яноша Кадара, партийный и государственный деятель социалистической Венгрии.

ным покрывалом в рубчик, от которого пахло девятнадцатым веком.

Что знал о них старик Миклош? Этот холостяк и либерал старой закатки, обожавший устраивать карточные вечера и ронявший слезы при первых нотах Рапсодии Бартока. Подсматривал ли он за ними? Может, это щекотало ему нервы? Как бы то ни было, он уже давно умер — вскрыл вены на ногах опасной бритвой и умер в ванне с розово-красной водой зимой после восстания в Праге. Тело обнаружила его экономка, Магда, и когда мать позвонила Ласло в Париж, чтобы сообщить об этом, то была удивлена долгому молчанию в трубке, скорби, которую тот оказался не в силах от нее скрыть.

Пообедав, он вернулся в отель.

— Сообщения?

Никаких. Он поднялся к себе в номер, посмотрел новости по TV1 и уснул над книгой, подложив руку под голову, с лицом, застывшим в торжественном покое. Временами на выдохе у него вырывались звуки, похожие на обрывки слов. После этого он хмурился, на секунду напряженно застывал и снова проваливался в сон.

Когда он проснулся, в комнате царил полумрак. Он отлежал руку. Ему пришлось подвигать ее дру-

гой рукой, как деревяшку, чтобы расшевелить.

Он бросил взгляд на лампочку телефона, гадая, не проспал ли он звонок, но лампочка не мигала. Может, еще не все подготовлено? Или что-то пошло не так? Предупредят ли его? Он спросил себя, сколько еще людей, мужчин и женщин, в таких же, как у него, номерах, изнывающие от скуки или снедаемые беспокойством, сейчас ждут сигнала, записки под дверью, хлопка по плечу.

Он включил настольную лампу, задрал рубашку и внимательно изучил свою грудную клетку, глядя в одно из зеркал, которых у него в номере было несколько. Он не мог решить, то ли его таинственный «недуг» чуть отпустил его, то ли незаметно усугубился, хотя он не ощущал никакого особенного дискомфорта, ничего, что заставило бы его глотать обезболивающее вместе с аперитивом. И все-таки его не отпускали мысли о затемнениях в легких, об эмфиземе, о разрастающихся препонах в его дыхательных путях. Когда он вернется в Париж, нужно будет обязательно сделать рентген; и он сел на кровать, перебирая в памяти имена всех знакомых врачей.

13

В ночь после поездки в дом бабушки Уилкокс Алека разбудил шум, происхождение которого он не смог сразу определить. Он лежал в постели, вглядываясь в сероватую мглу, и прислушивался, но разобрать мог только стук своего сердца, дыхание брата и едва слышный механический бас водонапорной станции за домом Джоев. Но что бы то ни было, оно его разбудило, вырвало из объятий сна, заставило вздрогнуть, и где-то глубоко он знал, что ждал этого всю ночь — возможно, уже много ночей подряд, — отслеживая в мире звуков тот, которому не сможет найти невинного объяснения.

Он сел и приподнял уголок занавески. Гроза, застигшая их по пути домой (обрушив на ветровое стекло шквал сизых потоков дождя), уже кончилась, оставив после себя ясную, безлунную прохладу. Было еще очень рано — три-четыре часа утра, — но будильник со светящимися в темноте стрелками, стоявший на столе, был развернут в сторону раскладушки.

— Ларри?

— Да, — ответил Ларри, — мне кажется, я тоже

что-то слышал.

— Что?

— Понятия не имею.

Ларри нащупал шнур с выключателем, включил ночник и расстегнул спальный мешок.

— Ты встаешь? — спросил Алек.

— Пойду отлить. — Он зевнул с дрожью, отозвавшейся во всем теле, рукой зачесал волосы назад и направился к двери. Из одежды на нем были только семейные трусы с портретом кота Феликса. — Сейчас вернусь.

Алек услышал, как он щелкнул выключателем на лестнице. Потом пауза в три-четыре секунды, и он вернулся — заглянул в комнату с изменившимся выражением лица.

— Мама, — сказал он и снова исчез.

Алек слез с кровати. Он чувствовал себя маленьким, беспомощным и совершенно не готовым к чему бы то ни было. Надел очки. Спрятаться было решительно негде. Помедлив пару секунд, он вышел в коридор.

Алиса лежала в дверях своей спальни лицом вниз, ночная рубашка задрана до самых бедер, трусы спутались вокруг лодыжек. Ноги в потеках поноса, ковер пестрит черными лужицами. Было нетрудно догадаться о том, что случилось. Заме-

шательство. Блуждание в темноте. Последняя отчаянная попытка не выпачкаться в собственных нечистотах. Звала ли она на помощь? Не этот ли зов они слышали?

Ларри склонился над ней, приложив пальцы к шее, чтобы проверить пульс. Потом поднял глаза на Алека.

— Иди вниз и позвони Уне. Расскажи, что случилось, хотя, кажется, она ничего себе не сломала. И что она в сознании. Скажи, что я уложу ее в постель…

— А ее можно двигать?

— Я не оставлю ее на полу. Ни за что.

— Конечно, — сказал Алек.

Вонь была невыносимая. Запах гнили. Смердящий, отвратительный, словно запах самой болезни.

— Спроси, не нужно ли сделать еще чего-нибудь. Может быть, дать какое-нибудь лекарство. А когда пойдешь обратно, захвати все, что найдешь, для уборки. Понял? Давай!

Оставшись наедине с матерью, Ларри шепотом сказал ей, что обо всем позаботится. Он еще раз ощупал ее, чтобы убедиться, что, падая, она не нанесла себе никаких повреждений, — он однажды проводил подобное обследование в качестве

доктора Барри, хотя тогда его пациенткой была женщина-спасатель, которую взревновавший любовник выкинул из мчащегося лимузина, — потом встал, нагнулся, поднял ее, как ребенка, на руки и понес в спальню. Ноги у нее были ледяные. Ему подумалось: «Она сейчас умрет у меня на руках. Я опоздал».

Он уложил ее на кровать, накрыл ноги одеялом и пошел в смежную со спальней ванную. Краем глаза увидел в зеркале самого себя, суматошно хватающего полотенца и губки. Под руку ему попался розовый пластмассовый таз. Он положил в него кусок мыла и налил теплой воды.

Когда он вернулся в спальню, Алиса зашевелилась, из последних сил дергая за ночную рубашку. Дышать она стала намного громче, хотя хорошо это или плохо, Ларри не имел ни малейшего понятия. Он положил на кровать баллон с кислородом, открыл клапан и прижал ей к лицу маску. Вначале она как будто испугалась, наверное решив, что он хочет ее задушить, но, вдохнув газ, успокоилась.

— Все хорошо, — сказал он. — Все просто замечательно.

Он стянул с нее грязные трусы и бросил их на пол рядом с кроватью.

— Сейчас мы тебя вымоем, — сказал он. — Ладно?

Он окунул губку в таз, выжал и начал вытирать ей ноги. Он делал это методичными движениями, вытирая губкой и промокая насухо полотенцем. Вымыл между ног, вытер покрасневшие, в пупырышках от холода ягодицы, подмывая ее, как иногда подмывал Эллу. Его не тревожили никакие чувства, кроме охватившей их обоих неодолимой нежности. Бормоча вполголоса, он рассказывал ей вещи, которых прежде не рассказывал никому. Минуты позора. Животные подробности шатаний по барам и мотелям Америки. Полные тайного страха минуты наедине с выпитой на две трети бутылкой, в те ночи, когда, даже напившись, не получаешь желаемого. Он называл ей имена, описывал поступки — все, что мог выжать из памяти, включая сделку с Т. Боуном и Ранчем. Гараж в Сан-Фернандо. Маску гориллы.

— И это все я, — сказал он, — тот, кем я стал. Того, другого, уже давно нет. Я все продул. Понимаешь? Я все продул и уже не могу стать прежним. Прости, мама. Мне очень, очень жаль.

Говоря все это, он продолжал мыть ее, вытирать полотенцем обмякшие мышцы, иссохшую,

как бумажная салфетка, кожу, черные с проседью волосы на лобке, которые все так же буйно выбивались из недр ее женского естества. Когда ему показалось, что уже хватит, он принес из комода чистую ночную рубашку, выбрав шерстяную, потеплее. Он заторопился. Она была такая холодная. Ее исхудавшие руки совершенно ее не слушались, и ему пришлось самому вдеть их в рукава рубашки, следя, чтобы пальцы ни за что не зацепились.

— Ларри?

Это была Кирсти. Она стояла у открытой двери в длинной футболке, в которой спала. Он спросил себя, как же он сейчас выглядит в ее глазах — лицо мокрое от слез, руки в засохшем дерьме. Не иначе как сумасшедший.

Она подошла ближе, склонилась над Алисой с другой стороны кровати.

— Как она? — спросила она шепотом.

Он покачал головой:

— Не знаю.

— Я говорила с Алеком. Уна приедет, как только сможет. Мы должны еще раз ей позвонить, если, ну, знаешь, мы будем волноваться.

— А сам Алек где?

Она прикоснулась к его щеке:

— Он не может с собой справиться. Ну ты понимаешь.

Он кивнул. На правом предплечье Алисы начала проступать татуировка из багровых синяков, но на голове никаких ушибов не было.

— Ты посиди с ней, — сказала Кирсти. — А я все приберу.

— Как Элла? — спросил он.

— Спит.

— Это хорошо.

— Ты говорил с ней, — сказала Кирсти. — С Алисой.

— Говорил. Хотя вряд ли она что-нибудь услышала.

— Лучше думай, что услышала.

— Да.

— Малыш? Поговори со мной. Ладно? Поговори со мной как-нибудь.

Она направилась к лестнице.

— Боже, как ты меня напугал, — вырвалось у нее.

Алек стоял на коленях на верхней ступеньке лестницы в розовых резиновых перчатках миссис Сэмсон, со щеткой в одной руке и синей тряпкой для пыли в другой. Очки он снял, и при льющемся с потолка белом свете лампы ему нельзя было

дать больше шестнадцати. Он показал Кирсти яркую пластмассовую бутыль с дезинфицирующим спреем, которую нашел на кухне под раковиной, и спросил, подойдет ли это средство для ковра или же он полиняет.

— Давай помогу, — предложила она, думая его успокоить, но, посмотрев несколько секунд, как он работает, поежилась и проскользнула мимо, чтобы спуститься на первый этаж.

14

В понедельник после обеда, когда Ласло уже практически убедил себя в том, что миссия провалилась и ему придется везти сумку обратно в Париж, чтобы передать ее Эмилю, с ним вышли на связь.

Он шел по теневой стороне улицы Реваи и был уже в нескольких метрах от входа в отель — возвращался из ресторана, — как вдруг какой-то ребенок, мальчик лет восьми-девяти, перебежал дорогу с солнечной стороны улицы и протянул ему конверт.

— Для меня? — удивился Ласло.

Мальчик сунул конверт ему в руку и умчался прочь, в сторону Базилики. Ласло посмотрел в конец улицы, и ему показалось, что он увидел мужчину, который торопливо отступил за угол, но свет слишком слепил глаза, чтобы можно было утверждать это наверняка.

На ступеньках отеля к нему обратился швейцар:

— Мальчишка клянчил деньги?

— Нет, — ответил Ласло.

— А то они иногда пристают к иностранцам.

Поднявшись в номер, Ласло прочитал записку, а потом взял коробок гостиничных спичек и сжег ее в пепельнице. Запомнить нужно было всего две строчки: место — Парк скульптур — и время — три часа дня, вторник. Он слышал об этом парке, но никогда там не был. Пришлось спросить у администраторши. Она сказала, что этот парк находится в двадцать втором округе на другом берегу реки. Он хочет туда поехать? Ему закажут такси.

— Завтра, — ответил Ласло. — И мне понадобится моя сумка. Черная.

— Хорошо, — ответила она.

Если он даст ей квитанцию, завтра сумка будет его ждать. Он отдал квитанцию, хотя ему очень не хотелось выпускать ее из рук. Теперь у него не оставалось ничего — ничего вещественного, — что связывало бы его с лежащими в сумке деньгами. Что, если завтра будет другая смена? Что, если от него потребуют каких-нибудь *подтверждений,* что сумка — его? Но назавтра дежурила та же девушка, и сумка ждала его под стойкой.

— Тяжелее, чем кажется! — заметила администраторша, подавая ему сумку.

— Вы правы, — ответил Ласло, и они пожелали

друг другу хорошего дня, точно пара американцев.

Такси остановилось у ступенек отеля. Водитель, в рубашке с коротким рукавом и темных очках, представился Цибором. Ласло сел на заднее сиденье, поставив сумку вплотную рядом с собой.

Они пересекли реку, въехали на холмы, и перед ними открылся вид на городскую окраину. Пыльная трава на обочинах. Без двадцати три. Маленький золотой крестик, висевший на зеркале заднего вида, закачался из стороны в сторону, когда Цибор на полном ходу вписался в поворот, подрезав грузовик, груженный строительным камнем, (Как правило, Ласло старался избегать машин с религиозными побрякушками, после того как однажды в Испании чуть не погиб в такси, на приборной доске которого красовался целый алтарь. Для подобных людей безрассудство было способом испытать свою веру.)

У въезда в парк не было никакой особой рекламы, просто щит с вывеской в сотне метров перед поворотом. Машина снизила скорость — слегка — и въехала в пустой внешний двор, припарковавшись у недостроенного с виду фасада из красного кирпича в неоклассическом стиле. Живописного, но нелепого.

— Подождать вас? — спросил Цибор.

— Да, я вернусь через полчаса.

— Сумку оставите?

— Это мои камеры, — сказал Ласло, выбираясь из машины. — Возможно, я здесь немного поснимаю.

— Желаю встретить девчонок посимпатичнее, — крикнул Цибор, выглянув из окна.

Ласло помахал поднятой рукой, но не обернулся.

В билетном киоске женщина средних лет читала журнал. Туфли она сняла и подняла затянутые в чулки ноги на табуретку. Увидев Ласло, она закрыла журнал, со стоном сняла ноги с табуретки и включила проигрыватель компакт-дисков у себя за спиной. Из динамиков в полную мощь грянул хор мужских голосов — Ласло вздрогнул, и, пока она отрывала ему билет, он увидел, что эти диски продаются. «Советские гимны — 1». «Советские гимны — 2». Кроме них, в киоске можно было купить всевозможные значки с коммунистической символикой, красные звездочки и даже удостоверения личности, похожие на то, что он сжег в Париже на улице Кюжас через несколько дней после своего приезда. Неужели этот хлам кто-нибудь покупает? Это что, такой

юмор? Ирония? Он взял билет и путеводитель и, пройдя через турникет, вошел в парк. Музыка резко оборвалась. Как он и думал, кроме него, здесь никого не было.

Открытое пространство величиной с футбольное поле. Скорее бывший сад, чем парк, хотя в нем не было ни единого дерева, даже цветка. Посыпанные белым песком дорожки бежали от одной поросшей зеленой травой круглой площадки к другой: по краям этих площадок, словно образцы устарелой военной техники, сверкали на солнце статуи — те, что уцелели в ликующем пламени паяльных ламп. Солдаты, политические вожди, фигуры идеальных граждан, отлитые в монументальной бронзе, выкованные из остроугольной стали, высеченные из камня — руки подняты в приветствии, тела застыли, устремленные вперед, навстречу будущему. Некоторые он узнал. Другие, установленные после пятьдесят шестого, были ему в диковинку. Но на ярком солнце они по-прежнему производили глубокое впечатление, излучая крупицы былой мощи. Свет играл на их массивных плечах, на штыках, на стальных подбородках. Странно было видеть их всех вместе — казалось, они вот-вот вырвутся на свободу и займут свои прежние места на го-

родских площадях. Тот, кто сохранил эти статуи, принял мудрое решение. В этом публичном крахе было что-то унизительное для памятников, как будто они могли испытывать стыд. И как же быстро они стати уделом истории! Какое сокрушительное поражение понесли! Однако, бродя среди них, Ласло ощутил отголосок тревоги — так выживший в морском сражении и выброшенный на берег вместе с телами врагов боится, что кто-нибудь из них вдруг застонет, поднимется на ноги и захочет ему отомстить.

Это наваждение рассеялось (как это всегда бывает) от раздавшегося поблизости смеха. Подошел туристический автобус, и парк, смеясь, наводнили ученики какой-то международной летней школы, которые принялись носиться по дорожкам, размахивая тетрадями и бейсболками, перекрикиваясь на французском, итальянском и английском языках и фотографируя друг друга на фоне статуй. Какое им дело до этого металлолома? Коммунизм был чем-то, о чем знали их отцы и деды, чего те, возможно, боялись. Теперь же от этого старого волка, или, если угодно, от косматого медведя, осталась только шкура, изъеденная молью, место которой на свалке. Удивляло ли их то, что в прошлом людей было

так легко одурачить? Что находились глупцы, способные поверить в общественное владение средствами производства, в отмену классов, в равное распределение благ? Их поколение менее наивное, более знающее, но вместе с тем, думал Ласло, и ребячески несерьезное по сравнению с поколением, к которому принадлежал он сам. Ему нравилась их непочтительность — никакой призрак черноусого отца народов не витал над ними, следя, чтобы *они* держали строй, — вот только что они будут делать с этой свободой? Он тревожился за них. *Les enfants du paradis*[67]. Парочка подростков, обнимавшихся за мемориалом Героям Народной власти («Те, кто был верен народу и Партии, навсегда останутся в нашей памяти…»), подозрительно на него уставились, словно гадая, мусорщик он или извращенец, и он прибавил шаг, чтобы побыстрее пройти мимо.

Было семь минут четвертого. Усевшись на сумку, он примостился в тени Ленина — эта инкарнация вождя когда-то приветствовала рабочих сталеплавильного завода Манфреда Вайса — и прислонился головой к подолу диктаторской шинели. Его мучила жажда, голова кружилась, и

---

[67] Примечания: 67
Дети рая (фр.).

мучительно хотелось избавиться от этой сумки и оказаться в парижском поезде — поехать домой. Простит ли его Курт? Сможет ли понять, что потянуло его на эти климактерические приключения? Что это всего лишь запоздавший кризис среднего возраста? Он задумчиво посмотрел на носки своих туфель, на застрявший в замше песок. В такую жару соображалось с трудом, и он начинал чувствовать себя фигурой на заднем плане картины — два-три мазка кистью, лица нет вообще, — нужной лишь для равновесия композиции или цвета, в то время как на переднем плане гарцует императорская конница.

Связной появился в двадцать минут четвертого. Высокая, одетая в темное фигура неспешно двигалась среди школьников с очередной черной сумкой через плечо. Странно не знать ничего о том, с кем тебе предстоит встретиться. На этот раз это был человек с прямыми длинными волосами, щетинистым подбородком, легкой и довольно приятной улыбкой, который мог сойти за пианиста, играющего джаз в ночном клубе.

— Вы — друг Франсуазы? — спросил он, останавливаясь рядом с Ласло, но не слишком близко.

Ласло встал на ноги.

— Мне, — сказал человек, указывая взглядом на

Ленина, — всегда казалось, что он голосует, чтобы поймать такси. Только место выбрал неудачное. Долго ждать придется.

— Куда она поедет теперь? — спросил Ласло, кивнув на свою сумку.

— Еще дальше, — ответил человек. — Но ваше дело сделано. Были неприятности?

— У меня такое чувство, словно я вообще ничего не сделал.

— Так и должно быть. — Он поставил свою сумку рядом с сумкой Ласло. — Знаете, им бы следовало чем-нибудь его обсадить. Например, вьющимися розами. Или это чересчур романтично?

— Да нет, это было бы здорово, — ответил Ласло. — Но нам придется согласовать это с соответствующей комиссией.

Человек издал тихий смешок.

— Конечно, товарищ. Нам придется пройти соответствующие инстанции.

Он потянулся вниз и, подняв сумку Ласло, повесил ее через плечо.

— Она тяжелая, — заметил Ласло.

— Это хорошо. У вас есть машина?

— Да.

— Тогда езжайте первым.

— Пожмем руки?

— Это вовсе не обязательно, — ответил человек. Потом протянул руку: — До встречи.

На стоянке Цибор болтал с водителем туристического автобуса. Кроме такси и автобуса, там стояла лишь маленькая, слегка помятая «тойота», которая, по всей видимости, принадлежала связному.

— Вас, наверное, жара достала? — спросил Цибор, открывая заднюю дверцу.

— Есть немного, — ответил Ласло. Его рубашка прилипла к спине, и ему казалось, что из его грудной клетки слышится отчетливый присвист, как у несчастных астматиков, что он встречал на улице или в метро, которые постоянно лезут в карман за ингалятором. А встречал он их все чаще. Прямо какая-то скрытая эпидемия.

Цибор завел двигатель. Заработал кондиционер.

— Куда едем? — спросил он. — Обратно в отель?

— Нет, — ответил Ласло. — Подбросьте меня к «Геллерту». Пройдусь до отеля пешком. Это пойдет мне на пользу.

— Как скажете, — сказал Цибор и рванул с места так стремительно, что задние колеса машины

взбили облачко пыли, которое рассеялось лишь через несколько секунд.

Перед кафе на террасе отеля «Геллерт» Ласло рассчитался с водителем и пошел пешком к мосту Петефи, повернул направо на улицу Лайоша, откуда вошел на территорию Технического университета, где расслаблялись на солнышке студенты — кто расположился на деревянных скамейках, кто прямо на траве — читали, болтали, флиртовали.

Петер учился здесь на первом курсе, хотел стать инженером-электриком. Ласло часто приходил к нему, и в памяти у него остались зеленые коридоры с высокими потолками, запах припоя, механический шум, доносившийся из демонстрационных аудиторий. Петер даже пытался убедить Ласло поступить на тот же факультет, но у Ласло были совсем другие цели. Юноша с острым взглядом и цепким умом, тщеславный, робкий и разговорчивый одновременно, он лелеял смелые мечты об артистической славе. Ему казалось, что он может стать великим режиссером (он был завсегдатаем кинотеатра «Корвин») или кем-то вроде венгерского Пикассо. Он хотел жить свободной жизнью, иметь виллу на озере Балатон, а если повезет, то работать в Голливуде,

как Михай Кертеш[68]. В то лето, единственный раз в жизни (и успех, и неудачи были еще впереди), все казалось ему возможным. Почему бы и нет? Ему было семнадцать лет, его вдохновляла любовь, и все вокруг, словно сама история пустила корни в радостном возбуждении его сердца, вся страна, так долго спавшая, подобно заколдованному королевству из сказки, тоже начинала пробуждаться.

В июле пятьдесят шестого Первый секретарь Ракоши, в высшей степени отвратительная личность, ярый сталинист, был смещен со своего поста по решению московского Политбюро. В октябре прах Ласло Райка, повешенного в результате показного процесса в сорок девятом (старый друг Кадар уговорил его «покаяться»), был перезахоронен с государственными почестями на Керепешском кладбище. В Варшаве поляки бросили вызов Хрущеву, и с первыми заморозками, когда деревья на набережных Дуная покрылись сверкающим инеем, по всему Будапешту начались первые массовые митинги. Здесь, в Техническом университете, вечером двадцать второго ноября Йожеф Силади с Иштваном

[68] Примечания: 68

Венгерский режиссер Майкл Кертиц (настоящее имя — Михай Кертеш), плодотворно работавший в Австрии, Германии и США.

Марианом выступили с речью о «начале новой страницы в истории Венгрии», и уже на следующий день толпы студентов и рабочих (многие из которых пришли прямо из цехов заводов и фабрик, даже не переодевшись) пошли с маршем к памятнику польскому герою генералу Бему и дальше — через мост к Парламентской площади. Они скандировали: «Теперь или никогда!», «Русские — вон! Надь — в правительство!»

Считавшие, что от них ничего не зависит, люди вдруг обрели уверенность в своей силе. Вероятно, чтобы изменить мир, не требуется ничего, кроме веры в то, что такая перемена возможна. За считанные часы в сознании тысяч людей расцвела одна и та же чудесная мысль — свобода. На одной из крыш над площадью Ласло увидел молодую женщину, которая размахивала венгерским триколором с вырванной из середины советской эмблемой. К вечеру бронзовый Сталин, стоявший в городском парке, был свален, радиостанция взята в осаду. Правительство запаниковало, пригрозило суровыми мерами, призывало к спокойствию, предлагало амнистию, но никто больше не обращал на него внимания. Толпа громила книжные магазины, и на улицах горели костры из русских книг. Создавали советы. Граби-

ли склады оружия. На бульварах русские танки, скользя в лужах собственного разлитого топлива, извергая облака дизельных паров, преследовали невидимого врага. Город полнился слухами о новых боях, о резне, о победе. А под останками разрушенных снарядами жилых домов и сгоревших дотла магазинов, под раскореженными трамвайными линиями и красно-золотой листвой разбитых в щепки деревьев в позах, доступных лишь мертвым, лежали трупы, среди которых было множество тел новобранцев Красной армии — таких же, как Ласло, мальчишек из Харькова и Киева, которые наверняка перед смертью гадали, чем заслужили такую ненависть, почему в них стреляют дети.

Ласло стер пот, заливавший глаза, и пошел вдоль подъездной аллеи туда, где ее пересекал двойной ряд приземистых каменных колонн-опор, поддерживающих переход из главного здания в смежное. Он поставил сумку на землю и, прищурившись, посмотрел вперед: аллея поворачивала ко вторым воротам, которые сейчас, как и тогда, были скрыты за строем деревьев. Ему все не верилось, что он сюда вернулся. Может быть, здесь, в земле, уцелело хоть что-нибудь: обрывок материи, патронная гильза, — что подтвердило

бы его воспоминания? Но это действительно было то самое место. *Здесь* он стоял в тот серый ноябрьский день, дожидаясь возвращения Петера и Золи. Они взяли «шкоду» — старенький черный «Спартак» — и поехали к казармам Сенткирайи за боеприпасами. Остальная часть группы — Фери, Йошка, Карчи и Анна — была в университетской типографии, печатали очередную пачку листовок с воззваниями и требованиями, чтобы с наступлением темноты разбросать их по городу. Ласло стоял на страже (была его очередь), спрятавшись за колоннами, в кожаной кепке и куртке, перетянутой ремнем, от холода у него текло из носа и из ушей. Ему вручили драгоценный автомат, и Фери, самый старший из группы (ему было двадцать два года) и единственный среди них, кто прошел хоть какую-то военную подготовку, объяснил, как им пользоваться.

— Не надо палить как гангстер, Лаци. Стреляй с плеча. Короткими очередями. В магазине семьдесят две пули, этого хватит, чтобы удержать батальон. И если его заклинит, бога ради, не смотри в дуло, не то снесешь себе голову. Понял?

Понял.

Он не предполагал, что автоматом придется воспользоваться. До сих пор он старался не брать

оружие в руки — всегда хватало других, кому не терпелось его заполучить, — и приносил пользу, крутя баранку, таская носилки и выполняя другие поручения. Но когда он услышал машину и по скорости, с какой она ехала, понял, что что-то случилось, то стянул автомат с плеча, снял с предохранителя и решил, что готов ко всему. Из ворот, выходящих на площадь Будафоки, донесся скрежет металла, и несколькими секундами позже показалась «шкода» с Золи за рулем — он изо всех сил пытался удержать ее на дороге, но ехал для этого слишком быстро и, сворачивая в сторону от деревьев, задел одно из них — машина отскочила, завалилась на бок со стороны водительского сиденья, чиркнула об асфальт, выбив сноп искр, и остановилась.

Почти сразу же в разбитое окно пассажирской дверцы протиснулся Петер. Он увидел Ласло и выкрикнул предупреждение, указывая рукой на аллею у себя за спиной, хотя все и так было ясно. Ласло уже увидел русский армейский автомобиль с закрытым кузовом, остановившийся метрах в двадцати от «шкоды», с тремя пассажирами (двое в военной форме, один в штатском), которые распахнули дверцы и принялись палить из пистолетов. Сейчас, представив, как все это было,

видя расстояние, с которого они стреляли, Ласло подумал, как невероятно то, что, пусть даже в сумерках, они так долго промахивались. Застрявший в дверце Петер был легкой мишенью, и все же им потребовалось с десяток выстрелов, чтобы его ранить. Петер на секунду перестал сражаться с дверцей и замер, словно пуля была не пулей, а мыслью, внезапно пришедшей ему в голову, самой невероятной из всех, какие являлись ему до сих пор. Вторая пуля настигла его, когда он соскальзывал вниз по черному днищу машины. Он закричал. В этом крике были возмущение и обида. Яростный протест человека, который понял, что его ждет. Третья свалила его на колени, хотя даже тогда он не остановился, продолжая ползти к спасительным колоннам.

Все это Ласло видел в прицел автомата. Он поднял его и прижал к плечу, как учил Фери. Мысленно провел линию над головой Петера к человеку в штатском, самому опасному из трех, тому, кто стрелял с особой неторопливостью. Им так хотелось убить Петера, они горели такой ненасытной жадностью, что даже не заметили Ласло, затерявшегося в тени колонн, темную фигуру на фоне темного камня. Но едва его палец прикоснулся к изгибу спускового крючка, он

понял, что никогда на него не нажмет. В чем бы ни заключалось свойство человеческой природы, которое позволяет людям уничтожать себе подобных, Ласло этим свойством не обладал. Это было выше его сил. Он не мог убить. Не мог. И он узнал это в ту самую минуту, когда самое обожаемое им человеческое существо расстреливали те, кто *заслуживал* смерти, но кому он не в силах был причинить вред.

Как долго это длилось? Да столько, подумалось ему, сколько нужно времени на рассказ об этом. Довольно долго. Потом — сухой треск винтовочных выстрелов из окна на первом этаже справа, человек в штатском неуклюже оседает перед машиной, те, что в форме, втискивают его на заднее сиденье, и большой автомобиль на всей скорости дает задний ход, вильнув бронированным кузовом, словно неповоротливое животное, потревоженное у водопоя. Из двойной двери за спиной у Ласло выбежал Фери, вырвал у него автомат и бросился вдогонку, дико крича и по-гангстерски стреляя с бедра. Запертые в разбитой «шкоде» Карчи с Йошкой выбили прикладами винтовок ветровое стекло и вытащили потерявшего сознание Золи. Анна, выкрикивая его имя, бежала туда, где между машиной и колонна-

ми лежал Петер — ниже ребер его куртка была растерзана в клочья, и столько крови кругом, и такой сильный запах крови — наверное, одна из пуль разорвала ему печень. Она опустилась перед ним на колени, прижалась щекой к его губам, потом повернулась к Ласло, и такую непостижимую силу излучал ее взгляд, что он понял — пронзительный шок, смесь смущения и благодарности, — что она все знала, знала наверняка, кем был для него Петер, и уже давно. Их тайна! Может быть, она тогда поняла (с истинно женским величием перед лицом смерти), почему он не смог нажать на курок? Почему оставил своего друга убийцам?

Когда Фери вернулся, они завернули тело Петера в брезент, отнесли в пустую аудиторию и положили на стол. Никто не сказал Ласло ни слова упрека — на его лице было написано такое глубокое немое страдание, что обвинения были бы бессмысленны, — но он провел ту ночь отдельно от остальных, сжавшись в комок под своим плащом и дрожа от холода и горя, пока под доносившиеся издалека редкие пушечные выстрелы истекали последние часы революции. Надь бежал; генерал Малетер захвачен русскими; и хотя по радио продолжали передавать воззва-

ния, мир смотрел куда-то в другую сторону, и Венгрия ждала напрасно — не будет никакой помощи, никакого чудесного вмешательства извне. На следующий вечер в сражении у казарм Киллиан погиб Фери — от взрыва гранаты. В конце ноября арестовали Йошку и Анну — их избивали несколько дней подряд, а потом отправили в лагерь для интернированных в Тёкёле по обвинению в участии в вооруженном заговоре. Золи скрылся. Карчи бежал из страны. В тот год уехали двести тысяч, и Ласло среди них, они брели по зимним болотам, волоча за собой свои чемоданы, узлы, разбитые жизни.

Девушка с черными волосами и маленьким серебряным гвоздиком в ноздре положила руку на локоть Ласло и спросила, хорошо ли он себя чувствует.

— Это от жары, — ответил Ласло.

— Сядьте в тень, — сказала она, подводя его к скамье под деревьями. — Мне показалось, что вы сейчас упадете в обморок.

— Мне просто нужно отдышаться, — сказал он. — Мне действительно уже намного лучше.

— Принести вам воды?

— Мне уже лучше, — сказал он. — Спасибо, вы очень добры.

— Уверены?

— Да, еще раз спасибо.

Они улыбнулись друг другу, и она ушла, оставив его сидеть на скамейке. Он в последний раз взглянул туда, за колонны, где ветерок раздувал кроны каштанов. Он сделал это. Он вернулся и покаялся в своем грехе. Отдал долг памяти и любви. Сделал все, что возможно. И хотя он знал, что никогда окончательно не простит себя за смерть Петера Кошари и, разумеется, не сможет ничего исправить сорок лет спустя после того, как это случилось, уже не сможет нажать на тот курок, ему была нужна свобода. Единственная роковая минута держала его в плену две трети жизни, и пора было положить этому конец.

Он по-буддистски сложил руки и склонил голову. И сам удивился своему жесту. Может, он видел, как Курт делал это, занимаясь йогой? Но порыв был искренним, и его покаянию нужен был ритуал. Потом он встал, повесил сумку на плечо, помахал девушке на траве и вернулся на дорогу, а перед его внутренним взором, словно ожившее в воображении прорицание, возникла другая сумка, та, что еще недавно оттягивала ему плечо, — она снова переходила из рук в руки (еще одна встреча, еще один бесстрастный обмен), по-

ка не попала к людям, что разъезжают на «БМВ» с тонированными стеклами, к новым хозяевам старой советской империи, и сделка свершилась, и теперь Эмиль Беджети со своими друзьями смогут спуститься с гор и молчаливыми колоннами пересечь границу. По крайней мере, он свою роль сыграл. Кто знает, что ему еще предстоит? Странно, что такая крупица веры может зажечь свет в таком пожилом человеке, что неудачное начало можно в конце концов преодолеть. Ласло Отважный? Его забавляла мысль о том, что теперь он сможет умереть с верой в идеалы, человеком действия, и когда он переходил по мосту Сабадшаг в Пешт, его тень на коричневой воде широкими шагами летела за мелькающими перекладинами парапета — она была свободна.

15

Все утро несли цветы; друзья заказывали букеты в «Интерфлоре» или приносили сами со словами: «Я загляну попозже». Когда Ларри открывал дверь, они напоминали ему, как их зовут, и говорили, что очень рады снова с ним повидаться, и как спокойно должно быть Алисе теперь, когда он вернулся домой. «Передавайте ей привет».

— Передам.

— Скажите, что мы все переживаем за нее.

— Обязательно.

Цветов было так много, что не хватило ваз. В ход пошли ведра, кастрюли. Даже раковина в туалете на первом этаже — в ней расцвел куст лилий.

На кухне Элла с Кирсти пекли торт. Они написали «С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, БАБУШКА!» розовой глазурью, а точки над «ё» сделали из лимонных цукатов. В полдень прибыла миссис Сэмсон. Она повязала фартук, закатала рукава и наделала сандвичей с кресс-салатом, и напекла лепешек, которые полагалось есть с заварным кремом и остатками прошлогоднего ежевичного варенья. За работой ей нравилось слушать радио — стан-

цию, которая передавала популярные песенки и местные новости. По прогнозу день обещал быть ясным, температура — от двадцати до двадцати пяти градусов Цельсия, с наступлением темноты — небольшая вероятность дождя.

Алек с Ларри вынесли стол (обычно служивший козлами) из мастерской в сад. Поставили его на обычное место — лампочки по-прежнему висели над головой, хотя сейчас от них не было никакого проку, — и накрыли заштопанными белыми скатертями, потом принесли из столовой стулья — темное дерево и темная кожа на ярком садовом фоне смотрелись странно и смешно, как мужчины в сюртуках в «Déjeuner sur l'herbe»[69]. Ларри закурил сигарету и уселся за стол. Он уже успел выпить, чуть-чуть. Алек сел напротив.

— Сегодня знаменательный день, — сказал Ларри. Алек кивнул. На нем были черные широкие брюки из хлопчатобумажной саржи и темная рубашка без воротника. На очки он прикрепил солнцезащитный экран.

— Приезжай в Америку, — сказал Ларри.

— Ладно, — ответил Алек.

— Я серьезно.

---

[69] Примечания: 69

Полотно французского живописца Эдуарда Мане «Завтрак на траве» (1863).

— Ладно.

— Будем жить как одна семья. Научишься кататься на серфе. Займешься йогой. — Он тихо рассмеялся. — Элла будет в восторге.

— А что мне там делать?

— Да то же, что и здесь. По-моему, тебе даже не понадобится вид на жительство. Подумай как следует.

— Подумаю.

— В самом деле.

— А как насчет тебя? — спросил Алек. — Почему бы тебе не переехать сюда? Ты же больше не снимаешься в сериале.

Ларри покачал головой:

— У меня на подходе пара других проектов.

— Что это за проекты?

— Я все равно не впишусь в эту жизнь.

— Но ведь раньше вписывался.

— Я помню.

— Раньше ты прекрасно в нее вписывался.

— Это было сто лет назад.

— Мне казалось, что у тебя там не все гладко. Что сейчас как раз подходящий момент.

Ларри поморщился:

— Я подумывал об этом. Но уже слишком поздно. Все это «возвращение блудного сына» — про-

сто дерьмо. Там у меня дом. Семья! А вернуться назад — значит пустить всю прожитую жизнь коту под хвост. Признать, что ошибался. — Он отшвырнул сигарету. — Америка — единственное, о чем я мечтал. Отказаться от нее — это как отказаться от счастья, от приключений, черт знает от чего еще. От крутых машин, от крутого секса. От любви. — Он перегнулся через стол. — Америка вселяет в меня надежду. Понимаешь?

Алек кивнул, но Ларри мог бы поспорить, что из всей его тирады до того дошло не больше трех слов. Его брат был не тем, что раньше, в нем произошли какие-то тревожные перемены, и началось это после той их ссоры на кухне. Это была не просто растерянность, из-за которой казалось, что он вглядывается куда-то, пытаясь отгадать неразрешимую загадку, — в нем появилось самообладание, выдержка, которая временами, казалось, переходила в навязчивую идею, но нисколько от этого не теряла. Испуганный детский взгляд исчез, исчезла аура беспомощности и неуверенности на грани отчаяния, что было особенно заметно в Хитроу. Что стало причиной этих перемен, трудно сказать, но позапрошлым вечером, выйдя из дому, чтобы покурить под звездами и привести в порядок *собственные* мыс-

ли, в окне беседки Ларри увидел, что брат словно ведет с *кем-то* оживленный спор — машет руками, гримасничает, сжимает руками лоб, — хотя вокруг нет ни души. Неприятное зрелище (он бы предпочел вовсе этого не видеть), и что же это за дело, которое требует такого напряженного и страстного обсуждения?

Он поднял руку и помахал Уне, которая шла к ним, одетая в платье цвета травы.

— Знаете, о чем мы сейчас говорили? — спросил Ларри. — Алек собирается уехать в Америку.

— Правда?

— Но он не поедет туда без вас, — добавил Ларри.

Она широко улыбнулась и поправила волосы.

— Когда придут гости?

— Около трех, — ответил Алек. — Но толпы не будет.

— Как вы считаете, мама сможет остаться в саду подольше? — спросил Ларри.

— Я бы сказала, что с час она выдержит. Пойду проверю, как она. Поможете ей спуститься, когда все будет готово?

— Позовите меня, — ответил Ларри.

В полутемной спальне Алисы нарезала круги жужжащая муха. Уна раздвинула шторы и при-

села на стул у кровати, подняла с покрывала руку Алисы и накрыла ее своей. Несмотря на то что Алиса не пострадала при падении, пережитое потрясение что-то сломало в ней, хотя этого не показали бы ни рентген, ни компьютерная томография. Какой-то проводок или хрупкий клапан, наподобие деталей старого телевизора, которые нельзя починить, а можно лишь оставить как есть, оставить ее разрываться между желанием жить и желанием умереть, в ожидании еще одного падения, еще одного приступа, еще одного ночного кризиса.

В день после того случая, когда к ней наконец вернулись речь и рассудок, она сказала: «Смерть забирает меня по кусочку», — и расплакалась так жалобно, что Уна отвернулась, испугавшись того чувства, что эти слова пробудили в ней, отвернулась, чтобы скрыть горе, которое лилось из ее собственных глаз. Здесь, у Валентайнов, она перешла черту. Потеряла бдительность, и теперь ей приходится за это платить, горевать самой, вместо того чтобы утешать собравшуюся вокруг семью. Это было как раз то, от чего их предостерегали на тренинге. Неуместная потеря душевного равновесия. Это было непрофессионально и совершенно бесполезно, не помогало ей стать более

знающей медсестрой. Но разве можно совладать с этим? Сердцу не прикажешь: до сих пор — и дальше ни шагу. Это не по-человечески.

Она пожала руку Алисы и отвернула простыни, чтобы посмотреть, нет ли у той пролежней, и, обнаружив на спине — над копчиком — пятно, обработала его грануфлексом. Худоба выставила скелет Алисы напоказ во всех деталях. Длинные, выпирающие из-под кожи кости, утонувшие в глазницах глаза. После падения она перестала есть твердую пищу, и ее тело пожирало само себя, пытаясь протянуть еще неделю или месяц на остатках белков, жиров, последних молекулах глюкозы. Жизнь, которую ребенок мог бы вышибить одним пальцем, проявляла необъяснимое упорство, плоть оказалась прочнее воли, желаний, целесообразности, подчиняясь велению некого биохимического императива, чего-то созданного в самом начале, еще до того, как человек обретет развитый мозг и ловкие руки. Стойкость, которая совершенно слепа.

Она закинула волосы за уши и посмотрела на муху, которая ползла по зеркалу на комоде. Покой — вот единственное, что еще имело значение. Нужно было найти в пузырьках и флакончиках что-нибудь, что облегчило бы страдания Алисы,

не вызвав у нее рвоту и пугающих галлюцинаций. Что еще? Поставить за нее свечку? Прочитать молитву? Она давно оставила эти занятия. «Богородице дево радуйся» и все такое. Она не молилась со времен своего детства в Дерри, когда вся ее семья опускалась на колени в гостиной под перезвон колоколов по телевизору и отец читал молитвы по четкам. Теперь все это было для нее позади, как игра света на поверхности моря, и добродушные шутки, и контрольно-пропускные пункты на дорогах. У нее дома был Будда, полая медная статуэтка, наполовину домашний божок, наполовину пресс-папье, и она иногда клала перед ним цветы, хотя очень мало знала о буддизме, разве только что это добрая религия, не такая запугивающая, как другие. О чем она знала много, так это о питании, о медицинском уходе, обо всяких болезнях. То, что обычно узнаешь о психологии горя и мужества, наблюдая последние часы сорока, пятидесяти человек, сидя рядом с ними, держа их за руку. Но что в действительности это значило (медленное угасание такой женщины, как Алиса Валентайн), она никак не могла понять. Боже, ей уже двадцать семь. Она живет одна в маленькой съемной квартирке, которая ей не особенно нравится, и два, а то и три раза в неделю

пьет на ночь темазепам, чтобы не видеть во сне тех, кого она проводила в последний путь.

Кирсти поднялась, чтобы помочь с одеванием (молодые женщины прониклись друг к другу симпатией и охотно делили обязанности), и, хотя среди вещей Алисы осталось очень мало того, что она еще могла носить, им удалось отыскать летнее платье из хлопка сине-белой расцветки и кремовую шерстяную шаль, чтобы накинуть на плечи. Пока они одевали ее, осторожно переворачивая с боку на бок, Алиса еще дремала, бормоча сквозь сон, а когда проснулась, то удивилась, обнаружив себя преображенной: волосы тщательно причесаны, ноги в больших белых кроссовках. Кирсти поцеловала ее в щеку и побежала вниз, чтобы позвать Ларри.

— Вам не обязательно выходить, Алиса, — сказала Уна. — Если вам хочется остаться здесь, то оставайтесь.

— Выходить? — повторила Алиса, шире открывая глаза. — Куда?

— В сад. На праздник.

Алиса кивнула.

— Кто его устраивает? — спросила она.

— Ну… Пусть это будут Алек и Ларри, вы не против?

— Напиши, — сказала Алиса, вытягивая руку.

Уна взяла фломастер, которым обычно делала записи, попробовала его на своей руке и написала на ладони Алисы «праздник — Алек и Ларри».

— Так пойдет? — спросила она.

Ларри, подняв мать на руки, отнес ее вниз и усадил в стоявшее у лестницы кресло-каталку, поднял ее ноги на подножку с фиксаторами и покатил через гостиную в кухню.

— С днем рождения, миссис Ви! — поздравила ее миссис Сэмсон, мимолетно прикоснувшись к плечу Алисы и оставив на синеве платья тонкую полоску муки.

Алиса показала ей свою ладонь.

— Все верно, — согласилась миссис Сэмсон. — Мальчики отлично справляются.

Маневрируя между мебелью, они подкатили ее к террасе, но переправиться на лужайку из-за ступенек оказалось не так-то просто. Алек приподнял маленькие передние колеса, наклонив кресло назад, а Ларри принял вес сзади.

— Я вам помогу! — крикнул Осборн, спускаясь по ступенькам через ограду и подбегая к ним. — С днем рождения, — запыхавшись, выдохнул он.

— А где Стивен? — спросила она.

— Пожалуйста, Деннис, возьмитесь с этой сто-

роны, — сказал Ларри.

— Сейчас-сейчас.

Они сгрудились вокруг кресла, поднимая его на ступеньки, словно сицилийские крестьяне, выбирающиеся из моря с мадонной на руках в ритуальной постановке некого полузабытого чуда. Элла смотрела на них, стоя на насыпи, у нее в руке был алый воздушный шарик.

Скатерти украшал узор из листвяной тени. Ларри установил кресло с матерью во главе стола. Уна вышла из дома, держа в руках большую соломенную шляпу от солнца с лентами, которые завязывались под подбородком. Лицо Алисы почти исчезло под ее широкими полями. На ее неподвижно лежащую руку опустилась бабочка, но тут же вспорхнула и, петляя то в одну сторону, то в другую, полетела прочь сквозь пронизанную светом зелень листвы.

— Принимайте гостей! — крикнула Кирсти.

Это были Джудит и Кристофер Джой, которые пришли пешком от своего дома в одинаковых льняных жакетах и панамах. Они принесли подарки: баночку роскошного крема для рук из бутика «Джолли» в Бате и большой округлый камень-голыш, который Джудит подобрала на пляже в графстве Голуэй и собственноручно рас-

красила в благотворно влияющие на здоровье цвета. Следующей была миссис Дзержински. Ее подарком было иллюстрированное, в переплете из телячьей кожи издание «Пророка» Халиля Гибрана[70], и, когда она вкладывала его в руки Алисы, Алек расслышал несколько слов, сказанных шепотом на языке, явно не английском, может, благословение или что-то из народной мудрости ее старой родины, в каком бы краю она ни была. Он заметил, что у тех, кто общался с Алисой, все чаще возникало желание поведать ей о самом сокровенном, облечь в слова ту серьезность, которую она в них будила, словно поразивший ее недуг смывал с их жизней налет банальности, превращая в мистиков и философов.

Последней гостьей была учительница рисования мисс Линн. Она заявила, что происходящее напоминает ей сцены из бесконечно длинных, но очаровательных итальянских фильмов. Потом сунула голову под поля Алисиной шляпы, чтобы поцеловать ее. И наконец сказала, что с удовольствием бы нарисовала все это.

Миссис Сэмсон вынесла поднос, на котором

---

[70] Примечания: 70
Книга по эзотерике.

стояли два больших чайника. Ларри принес сандвичи и лепешки. Уна села справа от Алисы с коробкой бумажных носовых платков на коленях, чтобы вытирать ей подбородок, когда сок, который та тянула через соломинку, проливался сквозь ее ослабевшие губы. Позади них на траве, похожий на неразорвавшуюся бомбу, лежал баллон с кислородом.

Когда с лепешками было покончено, Элла с Кирсти пошли на кухню и торжественно вынесли торт. Ларри щелкнул своей «Зиппо» и зажег свечки — по одной на каждый год Алисиной жизни, — и все стоя пропели «С днем рождения!», завершив песню громкими аплодисментами. Элла задула свечки. Все снова захлопали и взяли по куску торта, а потом, съев каждый свою порцию сахарного бисквита и похвалив его, гости начали расходиться.

Миссис Дзержински винила в своих слезах сенную лихорадку («Каждый год все хуже и хуже!»). Мисс Линн опустилась на колени рядом с креслом-каталкой, но тут же поднялась и ушла, наскоро помахав рукой, к стоящей за деревьями машине. Кристофер Джой решительно стянул с головы панаму и весьма галантно поцеловал Алисе руку. Осборн вызвался помочь с уборкой

и, удалившись на кухню и кинув пиджак на спинку стула, пытался принести пользу, подавая бумажные салфетки миссис Сэмсон, которая в голос рыдала, заворачивая оставшиеся сандвичи в пищевую пленку.

Уна откатила Алису в тень и, развязав шляпу, дала ей несколько минут подышать кислородом из баллона. Алек, вышедший в сад за последними тарелками, недолго постоял за деревьями, вглядываясь в эту сцену, как будто когда-нибудь его попросят припомнить все до мельчайшей детали. Осы, вьющиеся над крошками торта. Серебристые полосы на траве от колес кресла-каталки. Кошка, крадущаяся по одному ей ведомому коридору пространства. А в сердце картины — его мать, глаза закрыты над пластмассовой кислородной маской, веки серые, безжизненные, словно сдувшийся шарик. Жалел бы он ее больше, если бы она была ему чужой? Просто женщиной, чьего имени он не знал и кому не должен был ничего, кроме обычного сочувствия? Тогда, по крайней мере, он мог бы совладать со своими чувствами, не то что с этим клубком жалости и страха, с детским отвращением, которое было как оружие, которое он не знал, на кого направить — на себя или на нее. Так почему не уехать, как остальные

гости? Сесть в машину — и уехать. Он уже делал так раньше, сбежав из ГУЛАГа в образе школы, где он преподавал (тридцать пять четырнадцатилетних подростков, некоторые совершенно бешеные); это была фуга длиной в неделю, из которой он помнил разве что звук в голове, похожий на урчание двигателя, и образ, удивительно красивый, в котором огни эспланады отражались на влажной прибрежной гальке, по которой он шел. Никто бы не удивился, случись это снова. Все словно ждали чего-то подобного.

— Кто здесь? — спросила Уна, прикрывая глаза от солнца ладонью.

— Это я, — ответил он. Потом подошел ближе и начал складывать тарелки стопкой. Она искоса взглянула на него, улыбнулась, и он увидел, что солнце рассыпало по ее лицу с десяток веснушек — на носу и на щеках, — и от этого она казалась моложе и как-то легкомысленнее.

Он поставил на стол плетеный поднос и быстро сгрузил на него посуду. Ему не хотелось мешать им — он считал, что сейчас их нужно оставить одних, — но, едва он направился к дому, Алиса открыла глаза, стянула с лица маску и выкрикнула что-то ему вслед, единственное сдавленное слово протеста, которое заставило его замереть

на полпути.

— Мама?

Но, что бы она ни произнесла, повторять это она не собиралась. От напряжения у нее начался новый приступ удушья, и ей снова потребовался газ, кислород. Прошло несколько минут, прежде чем Алек понял, что слово это было «menteur» и что она назвала его лжецом.

В половине шестого Уна зашла в беседку, чтобы попрощаться. Она сказала, что Алиса вернулась в постель и сейчас отдыхает. Алек поблагодарил ее за то, что она пробыла у них так долго. Он решил, что после этого она уйдет (он не знал, что еще ей сказать), но она не ушла, а принялась разглядывать комнату, как будто никогда раньше в ней не была.

— Я и сама бы не прочь устроить себе норку, — сказала она. — Вроде вашей.

Она подошла к стулу, на котором он сидел, и, протянув руку через его плечо, открыла лежащую на столе рукопись.

— Забавно, — сказала она, переворачивая одну страницу за другой. — Для вас эти буквы имеют смысл, а для меня — никакого. Что здесь написано? Вот здесь?

Он повернулся на стуле и посмотрел туда, куда

указывал ее палец.

— Здесь написано: «Кто из вас, здесь стоящих, способен повернуться спиной к брату? Оставить под землей отца? Бросить возлюбленного в аду?»

— Вам не нравится, что я на это смотрю… — сказала она, отступая назад.

Алек подтолкнул рукопись к краю стола.

— Просто это напоминает мне, как много я еще должен сделать. Вот и все.

— Вы все сделаете.

— Придется.

— Вы справитесь.

— Вы так добры к нам, — сказал он.

— Я не делаю ничего особенного.

— Неправда. — Он покачал головой. — Вы действительно очень добры.

— Это моя работа, — ответила она.

— Даже если так.

— Можно? — Она осторожно сняла с него очки. — Мне трудно с вами разговаривать, когда на вас эти стекла. В них вы похожи на наемного убийцу.

— Извините.

Он взял у нее очки и отцепил солнцезащитный экран. Уна прислонилась к побеленной стене, наблюдая за ним.

— Я знаю, вам всем сейчас тяжко приходится, — сказала она. — Люди иногда думают, что так будет длиться вечно. Всегда одно и то же. Но это неправда. — Она остановилась, словно для того, чтобы убедиться, что он ее понимает. — Они думают, что уже никогда не будут счастливы.

— Счастливы?

— Да, — сказала она, широко улыбнувшись. — Помните, что такое счастье?

— Я даже не знаю, что вы обо мне думаете, — сказал он.

— А вам как кажется, что я думаю?

Он покачал головой.

— Ну… — Она запнулась. — Мне кажется, вы — хороший человек.

— В самом деле?

— Вы хороший сын. Для вас это такая неожиданность?

— Возможно.

— Ну и зря.

— А вы — счастливы? — спросил он.

— Мой отец говорил, что счастье и горе — это две собаки, которые гоняются друг за другом. Если видишь одну, то и другая недалеко. На самом деле он не верил в счастье. Как во что-то, за чем гоняешься всю жизнь.

— Во что же он верил?

Она пожала плечами:

— В римского папу. Верил, что не нужно влезать в долги. Что нужно чистить каблуки туфель так же тщательно, как и носы. Наверное, он приберегал семейную мудрость для сыновей.

Она замолчала, глядя на него.

— Вы о чем-то задумались, — сказала она.

— Простите.

— Хотите, я попрошу Ларри дать ей сегодня лекарства?

— Мне это проще, — ответил он.

— Уверены?

— Уверен.

Он проводил ее до двери беседки. Ветерок, с теплым озоновым привкусом, напоенный запахами травы, земли, разметал кончики волос по ее щекам.

— Вы знаете, как меня найти, — сказала она. — Справитесь?

Когда она наконец ушла, он на секунду задержался в дверях, а потом бросился к столу и открыл «Oxygène» на последней странице («Удары молотков, стук металла о камень…»), где к картонному переплету клейкой лентой был прикреплен газетный «фунтик». Он поддел скотч ногтем, раз-

вернул капсулу и покатал ее по ладони. Услышал голос Эллы и, выглянув в окно, увидел, как она прошла мимо рука об руку с Кирсти. Они были в добрых тридцати футах от беседки и вряд ли что-нибудь видели. Да и что они могли увидеть? Скорее всего, теперь, когда спала жара, они собирались полить сад.

Он положил рукопись обратно на полку рядом со словарями и на секунду прислонился головой к корешкам книг, словно, прикоснувшись к ним, он обретал помощь. Утешение. Все встало на свои места. В руке он держал нить, которая проведет его через лабиринт, оставалось только крепче ее держать. Больше нет решений, которые нужно принимать или не принимать; кончилось ожидание кошмара. В мыслях его царили спокойствие и тишина, невероятное умиротворение. Он взглянул на Лазара, который смотрел на него из своего зимнего дня в Люксембургском саду. Понял бы он? Что никто не обязан всегда быть слабым. Однажды, подумал Алек, он во всем ему признается где-нибудь в парижском баре или лондонском отеле и посмотрит, как отнесется к его признанию этот человек, державший в руках автомат.

Входя в дом, он столкнулся с братом, который

из него выходил.

— Видел Кирсти с Эллой?

— В конце сада, — ответил Алек.

Он обратил внимание, что Ларри надел свежую рубашку и нес в руке, спрятав за бедро, маленький букетик из цветов и трав — жимолость, лаванда, розмарин, — стебли которого были завернуты в кусок фольги. От него веяло раскаянием и чувствовалось, что он едва сдерживает волнение.

— Мы еще поговорим, — сказал он, широко улыбаясь, и они разошлись в разные стороны: один брат вышел наружу на свет террасы, другой вошел в дом, поднялся по лестнице и открыл дверь в комнату матери.

16

Что же еще оставалось делать? Вернувшись, Ласло обнаружил, что он прощен, понят, любим по-прежнему — Одиссей с налитыми кровью глазами, а соперников разгонять не нужно. О своих приключениях он поведал все, что можно было поведать, не подвергая риску ни слушателя, ни себя, и ответил на те несколько вопросов, что задал ему Курт. Ему даже подумалось, что он был бы рад упрекам. Такая щедрость, такое великодушие слегка его обескуражили. Заслужить такое доверие! Не слишком ли он легко отделался? Но, взяв лицо молодого человека в ладони и вглядевшись в него в поисках какой-нибудь задней мысли, невысказанного сомнения, он не нашел в его глазах ничего, кроме сияющей чистотой глубины, той части улыбки, за которую отвечает взгляд.

В первую ночь после своего возвращения Ласло проспал тринадцать часов и, проснувшись, почувствовал, что его жизнь изменилась. Он казался себе другим человеком. Он сбросил старую кожу, обнаружив, что даже на пятьдесят девятом году жизни можно по-прежнему упруго отвечать

на выпады судьбы.

На следующий вечер щербатая луна поднималась над городом, подчиняясь доносившимся до нее ритмам. Был праздник музыки, и все бары, все кафе, большие и маленькие — французские, бразильские, арабские, русские, вьетнамские, даже те безымянные забегаловки на боковых улочках, где вечер почитается удачным, если продано полдюжины стаканов мятного чая или бутылочек rouge[71], — вдруг закипели музыкой и танцами. Духовые оркестры, фламенко, напевающие вполголоса черноглазые певицы, все виды барабанов, какие только можно вообразить. Чтобы потанцевать, не нужно было никуда идти — достаточно найти свободное место на тротуаре и начать раскачиваться в такт. К десяти вечера многие улицы стали непроезжими, но никто не жаловался. Полицейские держались поодаль, припарковав машины там, где их не было видно, курили и дразнили своих собак. Словно праздновали конец войны, только неофициально, как будто каждый выиграл свою собственную войну, личную войну против личного врага, став — по крайней мере на одну ночь — победителем после

[71] Примечания: 71
Красного вина (фр.).

долгой кампании.

Для Ласло, который вместе с Куртом продирался сквозь толпу на улице Оберкампф[72], оставалась лишь одна тревожащая его вещь, последний камушек в башмаке. Пока его не было, звонила Лоранс Уайли, сказала, что хочет его видеть, что он ей очень нужен, а потом, узнав, что он в отъезде, жутко разозлилась и совершенно вышла из себя. По возвращении он несколько раз пробовал дозвониться до нее, но смог поговорить только с автоответчиком, и звук ее голоса, выводящий «говорите-после-сигнала», показался ему до боли пронзительным. Было невыносимо видеть, как судьба ломает такую женщину, невыносимо, несправедливо, неправильно. В последнем сообщении, которое он оставил в этот день после обеда, он попросил дождаться его дома. Он к ним зайдет. Они откроют бутылку вина. Посидят, потом пойдут погулять. Будут делать все, что захочется.

В глубине души он надеялся поделиться с ними своей новой энергией, новой верой. Вновь обретенным мужеством! И если бы ему удалось вытащить их сегодня куда-нибудь, они наверня-

---

[72] Примечания: 72
Богемная улица в Париже.

ка бы принялись вытанцовывать вальс — они любили танцевать и были такой парой, что другие танцоры останавливались, чтобы ими полюбоваться, — а потом вспомнили бы шутки и легкость прежних дней, и их бедные израненные сердца отогрелись бы.

Дойдя до улицы Сен-Мор, они протиснулись сквозь ряды музыкантов маленького оркестра, игравшего сальсу, и пошли дальше — на улицу Дегерри, где несколько минут кряду барабанили в дверь квартиры Уайли. Ласло пожал плечами, но уже начинал волноваться. Куда, черт возьми, они могли подеваться?

— Давай зайдем в «Лё Робинэ», — предложил Курт. — Если они вышли выпить, то рано или поздно туда заглянут.

И они вернулись назад к музыке, к улицам, до сих пор хранящим дневное тепло, и проложили себе путь к находившемуся поблизости бульвару Менильмонтан, где затерявшийся среди закусочных и кондитерских «Лё Робинэ», сверкающий фонариками, словно объятый пламенем кораблик, служил сценой для еще одной импровизированной вечеринки. По правде говоря, его можно было назвать баром лишь с большой

натяжкой: десяток столов, изогнутая comptoir[73] слева от двери, тесная, полная пара кухонька в заднем помещении, но, несомненно проигрывая в размере и удобстве, он выигрывал в качестве и, по всеобщему мнению (глашатаями которого были дотошные в таких вопросах гуляки и завсегдатаи баров Одиннадцатого округа), превосходил всех своих конкурентов.

— Ласло!

Его окликнула Анжела — la patronne[74], махая рукой со ступеньки рядом с прилавком, со своего капитанского мостика. Ласло пробрался к ней, и они поцеловались.

— Ты видела Лоранс? Или Франклина?

— Не видела уже целую неделю, — сказала она. И добавила: — Не ты один их ищешь.

Она указала в дальний конец бара. Вон тот господин — Как-там-его?

За столиком у кухонного окошечка правил бал Кароль, окруженный кучкой молодежи, юношей и девушек — почитателей культуры, которых разноликий шарм старого писателя притягивал, словно пламя свечи — мотыльков. На коленях у

---

[73] Примечания: 73
Стойка, прилавок (фр.).

[74] Примечания: 74
Хозяйка (фр.).

него сидела одна из официанток (девушек сплошь высокообразованных), но, приметив Ласло, он легонько столкнул ее, встал, разминая затекшие ноги, и сжал драматурга в объятиях.

— Ты изменился, — сказал он, слегка отклоняясь назад, чтобы получше рассмотреть друга.

— Даже в моем возрасте, — рассмеялся Ласло, — я все еще расту.

— В твоем возрасте, — передразнил его Кароль. — Мальчишка!

Он повернулся к сидящим за столом.

— Вот кто настоящий творец. Позвольте представить мэтра Ласло Лазара и его преданного спутника, герра Энгельбрехта.

Заказали еще море вина. Для Ласло освободили место на скамье, и он получил свою долю почитания, такого искреннего и душевного, что поневоле спросил себя, что же видела в нем эта молодежь, или ей казалось, что видит. Это кружило голову. Даже теперь, спустя столько лет, ему трудно было связать то, над чем он работал в тиши кабинета и что казалось ему таким личным, с приемом, какой ему оказывали в подобных случаях. Неужели он действительно был им интересен? Что он мог им дать? Но для серьезного разговора было слишком шумно, к тому же Анже-

ла, женщина, формам которой Энгр, несомненно, отдал бы должное, подняла их на ноги.

— Вы что, разучились танцевать? — кричала она. — Или хотите заговорить друг друга до смерти?

И они пошли танцевать, пятьдесят человек или даже больше, сбившись в кучу в жаре и в дыму. Ласло оказался нос к носу, бедро к бедру с женщиной арабской внешности, настоящей красавицей с таким суровым выражением лица, что дух захватывало. Кароль раскачивался из стороны в сторону с царственной Анжелой, а у Курта, двигавшегося в своей очаровательной, мягко сексуальной манере, не было отбоя от партнеров обоего пола и самых разнообразных убеждений. Играли два аккордеониста — Ласло часто видел, как они играют в метро; дети Чаушеску или Хоксы, они коротали дни, перебегая из вагона в вагон, одним глазом всегда следя, не приближается ли полицейский патруль, а одним ухом — за криком «Газеты!». Они сыграли несколько вещей Пиаф — «Джонни», «Толпа», «Под небом Парижа», — а потом цыганскую музыку. Цыгане! Они знали, чего хочет публика, а в такой вечер любой музыкант мог растрогать толпу до слез или ввергнуть в неистовство. Это

изматывало, но останавливаться никто не хотел. Зачем останавливаться, когда еще осталось пиво, и вино, и ром? Зачем останавливаться, если еще играет музыка?

В пять утра Анжела решила, что уже хватит. И, особенно не церемонясь, быстро очистила бар от публики, хотя некоторым любимчикам было позволено посидеть еще, выпить кофе и отдышаться. Ласло, Курт и Кароль ушли в числе последних, остался лишь безмятежно напившийся англичанин, который, судя по всему, жил в баре и, наверное, надеялся, что вечеринка вот-вот чудесным образом возобновится.

На улице трое друзей встали под деревьями пешеходной аллеи в центре бульвара и принялись глотать прохладный воздух, словно воду из-под крана. Ласло запрокинул голову, упиваясь зрелищем всплывавшей в небе огромной жемчужины утра.

— Зыбкое счастье? — спросил Кароль.

— Зыбкое счастье, — согласился Ласло, стирая текущие по щекам слезы и чувствуя себя донельзя глупо.

— Когда-то, — сказал Кароль, — я мог запросто обойтись без сна. «Белая ночь» была для меня обычным делом, но сейчас…

Они нехотя распрощались. Загрохотала, опускаясь, шторка витрины «Лё Робинэ». Курт с Ласло казались последними людьми в городе, кто еще не вернулся в свое жилище.

— Домой? — спросил Курт. И, видя, что Ласло заколебался, добавил: — Давай вернемся, перекусим, отдохнем, и часа через три-четыре позвоним им. Если они гуляли всю ночь, то вряд ли обрадуются, если мы их разбудим.

«Ситроен» — вожделенный фиолетово-серебристый «ДС23 Паллас» Ласло — стоял перед charcuterie[75] на бульваре Вольтера, Ласло сел за руль, и они поехали на юг, мимо Июльской колонны и через реку, где под мостами прятались последние синюшные ночные тени.

Дома они выпили свежеприготовленного кофе и вдоволь посмеялись, строя догадки — чем абсурднее, тем лучше, — как провели эту ночь Гарбары. Потом Ласло пошел в спальню, скинул одежду, надел банный халат (летом эту роль выполняла японская юката[76]) и направился под душ. Едва он успел хорошенько намылить голову, как в дверь заглянул Курт. Ласло вытряс из ушей

---

[75] Примечания: 75
Мясная лавка, где продают только свинину (фр.).

[76] Примечания: 76
Свободная рубашка.

пену и выключил воду.

— Что случилось?

— Лоранс. На автоответчике. По-моему, тебе стоит послушать.

Завернувшись в полотенце, Ласло поспешил в кабинет и, капая на паркет, принялся ждать, пока Курт перемотает кассету. Сообщение было искаженным и практически неразборчивым, но это не мешало расслышать отчаяние в ее голосе. Ее словно уносило прочь бурным течением, не давая закончить фразу. Что-то случилось или должно было вот-вот случиться (наверняка сказать было нельзя). Что-то действительно очень плохое.

— Во сколько она звонила?

Курт посмотрел сначала на экран на телефоне. Потом на свои часы.

— Больше часа назад. Что будешь делать?

— Попытайся им дозвониться. Пойду оденусь.

В ванной он смыл с себя остатки шампуня и оделся в ту же прокуренную одежду, которая была на нем в «Лё Робинэ». Через пять минут Ласло вернулся в кабинет.

— Ничего?

— Ничего. Даже автоответчик отключили.

— Ладно. Поехали.

Они спустились по лестнице, не став дожи-

даться неспешного лифта, и молча поехали по замусоренным улицам, рассекая воздух длинным капотом машины, и, когда они выехали на пустынную Бомарше, стрелка спидометра качалась на шестидесяти. Каким благодушным казался город! По улицам брели первые прохожие, вышедшие купить газету или выгулять пса. Уборщики в зеленых комбинезонах мыли тротуары из шлангов и открывали стоки; серебристые ручейки неспешно журчали вокруг колес припаркованных у стоков машин. В голове не укладывалось, что в такой час могло произойти что-то из ряда вон выходящее, и когда, останавливаясь на улице Дегерри, Ласло не увидел ни полицейского фургона, ни кареты «скорой помощи», он принялся убеждать себя, что звонок всего лишь последствие очередной драки и повздорившие супруги сейчас наверху, отсыпаются, храпя, как пара великанов.

Он оставил машину у церкви, перешел на другую сторону и набрал код на внешней двери. Внутренний двор был тщательно вымыт и дышал прохладой. Консьержки не будет еще час или два. На гвоздике на двери привратницкой висела

аккуратная маленькая табличка *«fermé»*[77].

Они нашли Лоранс в полумраке лестничной площадки четвертого этажа. С ней были две соседки, хмурые седовласые женщины в тапочках и ночных кофтах. Ласло смутно узнал одну из них. Мадам Бассуль. Блюман. Что-то вроде этого.

— Где ты был? — набросилась на него Лоранс. Она наотмашь ударила его ладонью и повисла у него на шее.

— Франклин наверху? — спросил он.

— У него пистолет, месье, — сказала женщина, которую узнал Ласло. — Вот такой… — Она показала руками, какого размера был пистолет. — Мы хотели вызвать полицию, но мадам строго-настрого запретила.

— Он целился в меня, — сказала Лоранс, содрогаясь от этого воспоминания. — Мне пришлось убежать. Он сошел с ума. Совершенно сошел с ума.

Она была близка к обмороку. Ласло погладил ее по голове.

— Ты же знаешь, он бы никогда не выстрелил.

Она вырвалась из его объятий.

— Ты считаешь, что я выдумываю? — Ее голос

---

[77] Примечания: 77
Закрыто (фр.).

перешел в рыдание. — Он выстрелит в себя, Ласло. Я все время жду этого звука. Я этого не вынесу!

Женщины кинулись к ней, чтобы поддержать, но, когда они обступили ее, словно верные слуги, она взглянула на Ласло, и от этого внезапного пронзительного взгляда волосы у него на затылке зашевелились, потому что это был взгляд женщины с картины, невесты в платье из розовых бутонов.

— Я все еще люблю его, — прошептала она.

— Мы все его любим, — сказал Ласло. — Я пойду наверх и приведу его в чувство.

Он уже повернулся к лестнице, но Курт схватил его за руку. Ласло осторожно высвободился.

— Я не собираюсь лезть на рожон, — сказал он. — Но в самом деле, кто еще сможет это сделать?

Он пошел наверх по широкой деревянной лестнице, остро чувствуя на спине их взгляды. Он казался себе посмешищем, как Джордж Оруэлл, идущий на слона[78], с той разницей, что он вряд ли мог вернуться назад и заявить, что передумал. Ему придется поверить в себя. Он совсем не устал. А если он останется здесь, а Франклин в это время

---

[78] Примечания: 78
Имеется в виду рассказ Дж. Оруэлла «Убийство слона» (1936).

вышибет себе мозги? Нет. Этого нельзя допустить. Ему придется пойти туда. Войти внутрь.

Дверь квартиры была полуоткрыта, и он заколебался, постоял с минуту на пороге, гадая, не следует ли ему заявить о своем присутствии. Он заглянул за дверь. В коридоре все горел свет, и он заметил на плитках пола замшевый жакет Лоранс, который она, должно быть, выронила, совершая побег. Тихо ступая, он прошел мимо пустой кухни (в тишине слышалось тиканье старых настенных часов) и дальше по коридору к двери в студию и приложил ухо к ее деревянной поверхности. Поначалу, как сильно он ни прислушивался, он не мог разобрать ничего, кроме стука пульсирующей в висках крови и отдаленного уличного гула. Но потом, совсем рядом — ближе! ближе! — он услышал приглушенный стон половиц и представил с потрясшей его самого четкостью Франклина Уайли на расстоянии вытянутой руки от себя, по другую сторону двери, его дикий взгляд, зажатый в кулаке маленький пистолет со вздернутым дулом, напряженное ожидание — когда же дверь наконец откроется.

Ласло перевел дух. Было бы разумнее сейчас испугаться, но он чувствовал только волнение, отчаянное желание не упустить момент. Он под-

нял руку к медной рукоятке, и стоило его пальцам коснуться ее, как, словно послание из далекого детства, в его памяти всплыло имя капитана английской сборной на футбольном матче на стадионе Уэмбли. Билли Райт! Он чуть не рассмеялся во весь голос такому невообразимому совпадению, но оно воодушевило его, и он бодро улыбнулся своей тени на лаке дверной панели. Три вздоха, подумал он. Только три вздоха. Потом я войду туда и спасу своего друга.